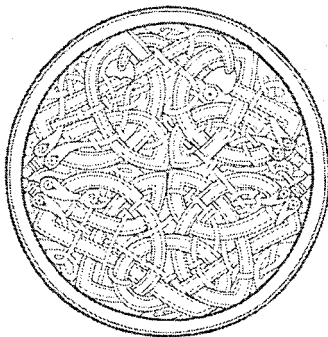


PHILOLOGICA SCANDINAVICA

Сборник статей
к 100-летию
со дня рождения
М. И. Стеблин-Каменского



Филологический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург 2003

ББК 81.2
Ф54

*Издание осуществлено при поддержке
Генеральных Консульств Королевства Дании, Королевства
Норвегии и Королевства Швеции в Санкт-Петербурге*

Ф54 Philologica Scandinavica: Сборник статей / Отв. ред. Б. С. Жаров. — СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2003. — 250 с.

ISBN 5-8465-0173-7

Сборник научных работ посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного филолога доктора филологических наук профессора Михаила Ивановича Стеблин-Каменского (1903–1981).

В сборник включены исследования российских и зарубежных авторов, посвященные общему языкознанию, истории германских языков, фонетике, грамматике и лексике скандинавских языков, древней и современной литературе скандинавских стран, мифологии.

Для специалистов по общему и германскому языкознанию, скандинавистов, аспирантов и студентов-филологов.

ББК 81.2

ISBN 5-8465-0173-7

© Коллектив авторов, 2003
© Б. С. Жаров, сост., 2003
© Филологический факультет СПбГУ, 2003
© С. В. Лебединский, оформление, 2003



Б. С. Жаров (Санкт-Петербург)

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

Исполнилось 100 лет со дня рождения всемирно известного ученого Михаила Ивановича Стеблин-Каменского, патриарха отечественной школы скандинавистики, доктора филологических наук, профессора, почетного доктора двух зарубежных университетов: Стокгольмского в Швеции (1969) и Рейкьявического в Исландии (1971).

М. И. Стеблин-Каменский родился 11 сентября 1903 г. в Санкт-Петербурге. В 1927 г. он закончил курсы английского языка и начал преподавать его в Политехническом институте, а также заниматься составлением словарей. В предисловии к англо-русскому словарю В. К. Мюллера и С. К. Боянуса, изданному в 1931 г., он упоминается как один из работавших над этим словарем. Затем Михаил Иванович закончил экстерном филологический факультет Ленинградского университета по специальности «Английский язык».

Перед войной М. И. Стеблин-Каменский был принят в аспирантуру Института русской литературы Академии наук (Пушкинский дом). Весь период блокады он провел в Ленинграде. В архиве ученого сохранилась справка из жилконторы, подтверждающая, что он жив. В составе специального подразделения Михаил Иванович охранял бесценные сокровища Пушкинского дома и одновременно, в самую суровую блокадную зиму 1941–1942 гг., писал кандидатскую диссертацию, посвященную древнеанглийскому поэтическому стилю.

Филологический факультет Ленинградского университета был эвакуирован частично в Саратов, частично в Ташкент, где и состоялась защита кандидатской диссертации М. И. Стеблин-Каменского. Диссертант на защите не присутствовал. Это допускалось для лиц, находившихся на фронтах войны, а блокированный Ленинград приравнивался к фронту. Интересы диссертанта представлял В. Ф. Шишмарев. Очевидцы защиты рассказывали, что в тот момент, когда слово по процедуре должны были предоставить диссертанту, в зале погас свет. «Ну, вот, это значит, что Михаил Иванович здесь», — сказал кто-то из присутствовавших.

Изучая древнеанглийскую поэзию, М. И. Стеблин-Каменский заинтересовался древнескандинавской поэзией, затем прозой, а позже и языком стран Скандинавии, и этот интерес никогда больше не покидал его. В 1945 г. он стал докторантом филологического факультета Ленинградского университета, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с факультетом и университетом.

В 1948 г. он защитил докторскую диссертацию, посвященную поэзии скальдов, и стал сначала доцентом, а затем и профессором на скандинавском отделении. В 1950 г. он был назначен заведующим кафедрой германской филологии, которая в то время включала немецкое и скандинавское отделения. В 1955 г. к этой кафедре была присоединена кафедра английской филологии. В 1958 г. произошла очередная реорганизация, в результате которой, впервые в отечественной высшей школе, возникла кафедра скандинавской филологии. Именно М. И. Стеблин-Каменский был инициатором создания этой кафедры и ее бессменным руководителем следующие двадцать лет.

Преподавание шведского языка в университете — также впервые в стране — началось раньше, еще в 1935 г., затем в 1945 г. было введено изучение норвежского, в 1947 г. — датского языков. Но надо признать, что это было скорее изучение практического языка соответствующей страны. Благодаря деятельности М. И. Стеблин-Каменского неизмеримо возрос теоретический уровень преподавания всех предметов в области скандинавистики. Кафедра скандинавской филологии превратилась в один из крупнейших европейских центров не только по уровню преподавания, но и по глубине изучения скандинавских языков, а также культуры стран Скандинавии.

В 1972 г. по инициативе и под руководством М. И. Стеблин-Каменского на кафедре открылось также нидерландское отделение (нидерландский язык не принадлежит к числу скандинавских).

Несколько поколений студентов слушали лекции М. И. Стеблин-Каменского, участвовали в работе его семинаров, посещали практические занятия, работали над курсовыми и дипломными сочинениями. Несколько десятков людей под его руководством защитили кандидатские диссертации, некоторые из них впоследствии стали докторами наук. Он был мудрым руководителем преподавательского коллектива. До сих пор на кафедре в сложных случаях преподаватели говорят: «Что сказал бы в такой ситуации Михаил Иванович?» и поступают соответствующим образом.

М. И. Стеблин-Каменский много и плодотворно работал в различных областях филологии. Два длительных периода он одновременно с работой в университете был также научным сотрудником Ленинградского отделения Института языкознания Академии наук. Скончался М. И. Стеблин-Каменский 17 сентября 1981 г.

Научное наследие М. И. Стеблин-Каменского велико по объему и многообразно по содержанию. Выдающийся лингвист, он опубликовал многочисленные работы по скандинавскому языкознанию, в том

числе книги «История скандинавских языков» (М.; Л., 1953), «Древнеисландский язык» (М., 1955), «Грамматика норвежского языка» (М.; Л., 1957). Они до сих пор востребованы читателями, совсем недавно вышли переиздания двух последних книг. Следует отметить, что эти работы интересны не только скандинавистам.

Одним из первых среди отечественных филологов М. И. Стеблин-Каменский обратился к изучению проблем фонологии на материале истории скандинавских языков, опубликовал многочисленные статьи, впоследствии собранные в книге «Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков» (Л., 1966).

Человек острого ума, он умел увидеть даже, казалось бы, хорошо изученные вопросы с неожиданной, новой стороны и на конкретном материале поставить проблемы, интересные филологам разных специальностей. Итогом его общелингвистических размышлений стала книга «Спорное в языкознании» (Л., 1974).

Широко известны замечательные исследования по средневековой литературе и культуре: «Культура Исландии» (Л., 1967), «Мир саги» (Л., 1971), «Миф» (Л., 1976), «Историческая поэтика» (Л., 1978), «Древнескандинавская литература» (Л., 1979) и посмертно изданная работа «Становление литературы» (в книге «Мир саги. Становление литературы». Л., 1984). Переводы этих книг выпущены в Дании, Исландии, Норвегии, США, Чехословакии, Эстонии и Японии.

Благодаря неутомимой деятельности М. И. Стеблин-Каменского российская читающая публика познакомилась с крупнейшими памятниками древнеисландской литературы: крупнейшими родовыми сагами, поэзией скальдов, «Старшей Эддой», «Младшей Эддой», королевскими сагами («Круг земной» Снорри Стурлуссона). Все эти издания выходили по его инициативе, под его редакцией, с его статьями и комментариями и во многих случаях с его переводами.

М. И. Стеблин-Каменский опубликовал в общей сложности около полутора сотен работ, написанных просто, живо и остроумно. Полностью сохраняя новаторское значение для науки, они в то же время открывали людям, далеким от науки, увлекательный мир культуры других стран и эпох. Совсем недавно филологический факультет Санкт-Петербургского университета издал огромный том важнейших работ М. И. Стеблин-Каменского.

Выдающийся ученый, блестящий лектор и мудрый наставник начинающих исследователей, неутомимый популяризатор древнескандинавской литературы, он был исключительно яркой и разносторонне талантливой личностью.



Хельги Харальдссон (Осло)

ВЕЧЕРА НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ

«Всегда, когда я слышу имя Сталина, я вспоминаю про апельсины. И наоборот». Так выразился Михаил Иванович Стеблин-Каменский в один из субботних вечеров 1967–1970 гг. Субботние вечера у Михаила Ивановича стали незабываемым событием во время моей аспирантуры в Ленинграде, городе, при строительстве которого Петр Первый пожертвовал десятками тысяч человеческих жизней, прорубая окно в Европу. Бесспорно, самое дорогое окно в истории человечества.

Михаил Иванович иронически посмотрел на меня поверх коньячной рюмочки. Я явно не понимал этой связи между деспотом и цитрусовыми.

— Дело в том, — сказал он на идиоматическом исландском языке, — что для меня самым вкусным деликатесом всегда были апельсины. Когда Сталин пришел к власти, апельсины исчезли и не появлялись до тех пор, пока он не ушел из мира сего.

Субботние встречи у Михаила Ивановича были для меня настоящим откровением. Он с большим удовольствием практиковался в разговорном исландском. Обычно Михаил Иванович заранее готовил какую-нибудь тему для разговора. В частности, он рассказал мне о своем знакомстве с отдельными союзными республиками Советского Союза, об их истории, быте и культуре. Это было лучшее введение в страноведение в моей жизни. Однако самое сильное впечатление на меня произвели его рассказы о блокаде Ленинграда, которую он сам пережил. Много лет спустя эти ужасы ожили в моей памяти, когда я читал рассказ «Дракон», найденный и опубликованный после его смерти.

Михаил Иванович был необычайно разносторонним филологом. Его пронзительный критический ум был в равной степени занят современной фонологией и скандинавской средневековой балладой. Но самым дорогим для него были исландские саги. В его книге «Мир саги» приведен исчерпывающий список всех научных работ об ис-

ландских сагах. Он очень любил и ценил традиционную исландскую поэзию. Из исландских поэтов XX в. он выше всех ставил Йоуна Хельгасона.

Как-то я продекламировал несколько сочных строф тогдашнего президента Исландии, с которым Михаил Иванович был лично знаком. Он помолчал, а потом сказал:

— Я знал, что исландцы великий культурный народ, но что они настолько культурны, этого я не знал.

И попросил продолжить.

В предисловии к рассказу «Дракон» Д. С. Лихачев пишет, что автор не был послушным слугой власти имущих. Против воли начальства он отказался от престижного для советской науки приглашения читать лекции в Оксфордском университете из-за проходившей тогда «тресковой войны» англичан против Исландии. Когда один его коллега и бывший студент эмигрировал в США, Михаил Иванович отказался подписать заявление с осуждением этого поступка, хотя, если бы он и сделал это, никто бы его не попрекнул: все знали, каким образом появляются такие «протесты». И «аппарат» не забыл об этом «неповиновении».

Благодаря инициативе Сигурдур Хафстада, первого секретаря исландского посольства в Москве, Михаил Иванович в 1971 г. стал почетным доктором Исландского университета. В связи с этим его пригласили в Исландию. В Москве он долго ждал разрешения на выезд, но никак не мог добиться вразумительного ответа от «аппарата». Наконец, его друг в посольстве Исландии позвонил в министерство и спросил, почему Стеблин-Каменский до сих пор не получил разрешения на выезд. Ему ответили, что профессор слишком занят своей научной работой и поэтому не может выезжать за границу. Исландский чиновник обратился с жалобой в МИД, и в конце концов разрешение на выезд было дано. Тогдашний министр культуры Исландии Гильви Т. Гисласон создал Михаилу Ивановичу благоприятные условия для приятного и полезного пребывания в стране осенью 1971 г. Это была его последняя поездка в Исландию.

Михаил Иванович был глубоко признателен своему другу за решительное вмешательство, но сказал в шутку: «Я не удивлюсь, если на днях на мою голову свалится кирпич».

Когда Исландское общество дружбы с СССР (сокращенно МИР) отмечало юбилей, Михаил Иванович, разумеется, считался первым кандидатом в почетные гости. Он получил приглашение, поехал в Москву, чтобы там дожидаться отъезда. Время шло, но никаких известий о поездке в Исландию не было. Наконец, терпение у Михаила Ивановича лопнуло и он, вместо того чтобы ждать с покорностью, общепринятой в таких случаях, решил сам выяснить, в чем же дело. Вскоре он узнал, что советская делегация на юбилей МИРа уже отправилась...

Как видно из вышесказанного, нелегко было оставаться честным гуманитарием в «безапелляционный» период. В связи с этим Михаил Иванович рассказал мне, между прочим, следующее.

В последние годы правления Сталина какой-то историк подверг суровой критике трактат Михаила Ивановича о развитии норвежского языка, в частности его утверждение, что норвежский язык давно распадается на диалекты, которые постепенно отдаляются друг от друга. «Это, — отметил историк, — противоречит диалектическому анализу развития языков гениального вождя». У Михаила Ивановича оставался только один выход: публично раскаяться. Он написал статью, где признался в своем заблуждении, но сумел сделать это таким образом, что историк стал всеобщим посмешищем.

Приведенный случай наводит на мысль о несимпатичной склонности некоторых западных ученых вменять советским ученым в вину те ограничения, которые им создавала политическая ситуация на их родине и которые неизбежно отражались в их работах. На языке боксеров это называется «ударом ниже пояса». Пример — довольно сомнительное предисловие к английскому переводу работы Михаила Ивановича «Миф» (*Steblin-Kamenskij M. I. Myth. Ann Arbor Introduction by Sir Eddmund Leach. Ann Arbor, 1982*).

Чаще, однако, речь шла всего лишь о естественном непонимании западными учеными советской действительности. Так, в книге «Мир саги» Михаил Иванович искусно разоблачал догмы и злоупотребление властью, характерные для советского режима, и делал он это на примере развития церкви и государственной власти в Средние века. Ни один мыслящий советский гражданин не мог не понять, что имеет в виду Михаил Иванович, и многие удивлялись тому, каким образом книге удалось пройти цензуру. А на деле цензуре не к чему было придираться. Такой розыгрыш цензуры стал настоящим искусством в странах Восточной Европы в доперестроечный период как в художественной, так и в научной литературе. Так вот, один прекрасный этнограф в рецензии на «Мир саги» встал на защиту церкви, упрекая Михаила Ивановича, в частности, в непонимании того, что норвежский король Магнус Добрый был подлинным христианским гуманистом!

Михаил Иванович очень любил и досконально знал исландский язык, исландскую культуру и историю. Его знания и оригинальный исследовательский подход поражали.

Исландцы, которые имели счастье познакомиться с этим харизматическим человеком, свято хранят память о Михаиле Ивановиче Стеблин-Каменском — искреннем друге их страны.



В. П. Берков (Санкт-Петербург)

БЕЛОЕ ПЯТНО СКАНДИНАВИСТИКИ

(Фарерские острова)

В мире немного людей, имеющих представление об интереснейшем мире — миниатюрных Фарерских («Овечьих») островах, затерявшихся в Атлантическом океане примерно на равном расстоянии от Шотландии, Норвегии и Исландии. И хотя на этих островах говорят на совершенно самостоятельном скандинавском языке — фарерском, даже для большинства скандинавистов они *terra incognita*.

Автору этих строк посчастливилось побывать — очень недолго — на Фарерах, и своеобразный мир островов произвел на него такое сильное впечатление, что он счел нужным рассказать об этом крохотном районе Большой Скандинавии.

Создавая Фарерские острова, Творец, похоже, не рассчитывал, что на них когда-нибудь будут жить люди. Во всяком случае, ни молочных рек, ни кисельных берегов там нет.

Всего насчитывается два десятка Фарерских островов, а заселены из них 17. Общая их площадь очень мала — чуть меньше 1400 км². От крайней северной точки островов до самой южной всего-навсего 113 км, а с запада на восток и того меньше — 75 км. Из любого места до океана не более 5 км. Средняя высота над уровнем моря 300 м, высшая точка — гора Слэттаратиндур — 882 м.

Климат — типичный морской: средняя температура в июле всего 11°, а в январе +3° С — благодаря Гольфстриму здесь значительно теплее, чем в других местах, расположенных на этой же широте. Море никогда не замерзает, и даже внутренние части фьордов покрываются льдом лишь в особенно холодные зимы. До 280 дней в году — осадки, а выпадает их 1500 мм (для сравнения — почти в два раза больше, чем в С.-Петербурге). Снег бывает, но держится, как правило, лишь несколько дней.

Ветер дует здесь постоянно и порой достигает такой силы, что срывает крыши с домов, опрокидывает машины и лодки, катит валуны и сдувает людей в море.

То и дело острова окутываются густыми туманами.

Море часто и подолгу штормит. В былые дни, случалось, переправятся люди на лодке на соседний остров и застрянут там из-за бушующего моря на несколько дней, а то и недель.

Такие прибои, как на Фарерских островах, мало где можно увидеть.

В туристских проспектах на английском языке Фарерские острова из-за непредсказуемости погоды называют «The Islands of May-be» — «Островами Может Быть». Погода меняется много раз на день. Только что светило яркое солнце, но вот уже хлещет ливень. На одном берегу острова густая пелена тумана, другой залит солнцем. Фарерцы сами говорят, что в один день здесь бывают все времена года.

Значительную часть территории островов занимают горы, и жить людям не слишком просторно. Горы порой так круто обрываются к морю, что между скальным отвесом и водой нет даже узенькой полоски земли. К некоторым хуторам люди веками карабкались от причалов по крутейшим горным тропам.

Естественных лесов нет. Но есть болота.

В этом климате и на этих почвах вырастают только кормовые культуры да ячмень и картофель. Но травы вдоволь, и овцы пасутся круглый год.

За исключением небольшого угольного месторождения, полезных ископаемых на островах нет.

Лишь недавно между некоторыми островами появились мосты или насыпные дороги. С остальными связь, как и в древности, возможна только по воде — в наши дни паромами. В последние годы, правда, еще и вертолетом.

До ближайшей страны несколько сотен километров.

И живут на забытых Богом Фарерских островах 45 тысяч человек.

Как же случилось, что люди поселились на этой не слишком привлекательной земле и живут здесь уже без малого двенадцать веков?

Тысячелетиями Фарерские острова вообще не были заселены. Лишь с середины VII в. кое-где по берегам стали селиться ирландские отшельники-монахи, обретавшие здесь желанное уединение для молитв.

Но вот настала эпоха викингов. Викинги, как известно, занимались не только разбоем и торговлей, они также осваивали новые земли и селились на них. В начале IX в. выходцы из Норвегии высадились на Фарерских островах.

С самого начала основным занятием населения было овцеводство, отсюда и название островов — «Овечьи». Однако площадь пастбищ была (да и остается) ограниченной. Число жителей мало-помалу росло, и появилась необходимость регулировать поголовье овец. «Овечья грамота» 1298 г. определила границы пастбищ и установила предельное количество овец, которых можно держать на островах, —

70 тысяч. Характерно, что это ограничение соблюдается по сей день, вот уже более семи веков. В наше время фарерцы сами ввозят эту свою любимую баранину: более 70 тысяч овец островам не прокормить без ущерба для природы. Зато эрозии почвы, этого бича многих стран, где развито овцеводство, на островах нет.

До сих пор овец забивают в определенное время, осенью. Так получилось, что автор этих строк читал лекцию в Фарерском университете (об университете речь впереди) как раз в день массового забоя овец. Накануне один филолог, главный редактор лингвистического журнала на фарерском языке (есть здесь и такой научный орган; с 1991 г. вышло более 20 номеров), высказал опасение, что может не попасть на лекцию, так как будет резать овец. Однако, видимо, приналег, потому что на лекцию пришел.

Шерсть и вязаные изделия веками были важнейшей статьей экспорта островов.

Другим промыслом фарерцев испокон веку было рыболовство. Еще совсем недавно лов велся в открытых лодках с четырьмя или восемью гребцами. Сколько рыбаков нашло свою смерть в холодных водах Атлантического океана, не знает никто. (До самого недавнего времени — пока на островах не появились плавательные бассейны¹ — фарерцы не умели плавать: слишком холодна вода в океане. Поэтому если лодка переворачивалась, то обычно все гибли.) Широкие масштабы рыболовство приобрело лишь в XIX в. В наши дни фарерцы экспортируют рыбу — особенно мороженую, а также выведенного в садках лосося. Рыболовство и рыбопереработка стали ведущей отраслью фарерской экономики.

В описаниях Фарерских островов непременно рассказывается о специфическом местном промысле — охоте на гринду. Не будем отступать от этой традиции.

Гринда — это вид дельфина (фарерцы называют ее китом), который водится в Северной Атлантике. Отдельные экземпляры достигают восьми метров в длину и весят до двух тонн. Стада гринды, насчитывающие более сотни особей, регулярно заходят в фарерские фьорды.

Мясо гринды считается на Фарерских островах ценным пищевым продуктом. Долгое время оно было важным элементом питания фарерцев. Его ели в свежем виде, соленым или сушеным. Вообще до недавнего времени небогатые фарерцы питались в основном мясом и салом гринды, рыбой, засоленными или вареными морскими птицами (о них чуть позже) и ячменной кашей. Жили при таком рационе долго.

Проходит охота на гринду так.

Первый, увидевший стадо, обычно случайно, сразу же сообщает об этом соседям, тем другим и т. д. Известие о гринде — «гриндабоð» (grindaboð)² — мгновенно разносится по округе, и все устремляются к месту нахождения стада. Среди множества лодок выделяется несколько с фарерским флагом: это лодки руководителей охоты, изби-

раемых из числа особенно опытных промысловиков. Каждый из них по окончании охоты получит по целой гринде. А первый, кто заметил стадо, награждается головой самого крупного животного.

Главная задача — загнать стадо на мелкое место, где животных можно перебить. Народ опытный, руководителей охоты все понимают с полуслова, действуют слаженно и четко. Гринду пугают — забрасывают камнями, и стадо наконец оказывается на мелководье. Лодки образуют двойную цепь в сотне-другой метров от берега.

Раздается команда: «Стинджи нюу!» (А теперь колите!), и начинается охота — умерщвление десятков животных. Стадо охватывает паника, некоторые гринды, обезумев от ужаса, устремляются к берегу. Охотники сначала бьют их гарпунами, потом выпрыгивают из лодок и, стоя в резиновых сапогах в гуще стада, наносят животным быстрый удар ножом в позвоночник в области затылка. Вода во фьорде окрашивается в темно-красный цвет. Зрелище, мягко говоря, впечатляющее.

Тела забитых гринд зацепляют специальными крюками и вытягивают на берег. Затем охотники проходят вдоль лежащих туш, вспарывают им брюхо, извлекают внутренности, вырезая из них печень и почки: это у фарерцев особое лакомство и каждый участник охоты может получить свою долю.

Теперь мужчины, участвовавшие в охоте и насквозь промокшие в холодной воде, исполняют «танец гринды». Наблюдавшие за ними на берегу женщины и дети расходятся по домам. Женщины начинают готовить еду.

А на берегу приступают к замеру туш. Два человека измеряют каждую из них с помощью деревянного шеста и таким способом определяют ее массу в «шиннах» (примерно 10 килограммов): иначе вес огромной гринды не установить. Затем на каждой туше вырезают номер и вес.

Тем временем руководители охоты начинают подготовку к распределению добычи. По незыблемым древним фарерским правилам, действующим до сих пор, каждый житель острова (или островов, если забой проходил в проливе) получает свою долю; при этом не важно, участвовал ли он лично в охоте или нет. Мясо получают все, включая грудных младенцев, — несколько тысяч человек. Какое-то количество туш отдается в качестве компенсации тем, кому гринды повредили лодку или кто потерял орудие лова. Выделяется мясо и «неизвестным людям» — посторонним, оказавшимся в этот момент на берегу.

Такое распределение, своего рода первобытный коммунизм, свидетельствует о том, как были развиты в древнем обществе чувство социальной справедливости и забота о каждом его члене.

Ежегодно на Фарерских островах забивается в среднем 800–900 гринд. Правда, бывали и «безгриндные годы». Всего за последние лет триста добыто около четверти миллиона гринд.

Нигде, кроме Фарер, охота на гринду не ведется.

Признаюсь откровенно, что за время моего короткого пребывания на Фарерских островах самому мне охоту на гринду видеть не довелось. Написанное выше составлено на основании нескольких чужих описаний (кстати, совпадавших практически во всех деталях). Ничего своего я, естественно, не добавлял. Когда первый вариант очерка был написан, я попросил знакомого фарерца, хорошо владеющего русским языком, просмотреть его, дабы свести к минимуму количество «развесистой клюквы». Джонни Томсен очень внимательно прочитал очерк и сделал ряд ценных замечаний, которые я полностью учел безо всяких возражений. Пользуюсь случаем, чтобы выразить ему сердечную благодарность.

Что касается его подробных комментариев к моему пассажиру об охоте на гринду, то они настолько интересны и поучительны, что я позволю себе привести их полностью:

Твое описание охоты на гринду больше не соответствует действительности. Копья или гарпуны, о которых ты пишешь, были запрещены лет двадцать назад. В то время когда еще пользовались гарпунами, охота на гринду, если животных не удавалось загнать на берег (мы, фарерцы, говорим, что они «вышли на берег»), действительно была делом жестоким и кровавым. Теперь же гринду разрешается убивать только ножом. Идеальная ситуация — это когда стадо «выходит на берег». Тогда сотню гринд приканчивают за несколько минут. Допускаю, что иностранцам зрелище представляется «жутким». Однако это объясняется отчасти тем, что городские жители подзабыли, как выглядит забой скота и что курица, которую они едят, тоже когда-то была живой, а отчасти тем, что гринда очень крупное животное и из нее вытекает много крови. Но если свинью забивать в ванне, то крови тоже будет достаточно.

К сожалению, должен тебя разочаровать. Рассказ об идущем из глубины веков справедливом распределении гринд — миф. Но это миф, который сами фарерцы любят рассказывать и в который сами верят. В действительности же распределение мяса и сала гринды до 30-х гг. XIX в. было в высшей степени несправедливым. Львиная доля отходила крестьянам, обладавшим правом пользования тем участком берега, где стадо было забито, и датской короне, так что на долю простых людей приходились лишь остатки. «Примитивно-коммунистическое» распределение было введено королевским указом где-то в 1830-е гг.

Поедание печени и почек гринды, увы, отошло в область преданий. Загрязнение окружающей среды затронуло и гринду: в ее печени и почках теперь так много ртути и прочей пакости, что есть их категорически не рекомендуется. Да и в мясе гринды, а в особенности в сале, нынче содержится ртуть, так что употреблять их советуют не чаще, чем один раз в месяц. А беременным вообще не следует есть сало гринды...

Следует описать еще одно занятие фарерцев, тоже насчитывающее не один век. На островах водятся миллионы птиц — крачек, чаек, тупиков, кайр, гагарок, буревестников, куликов-сорок, кроншнепов, поморников, золотистых ржанок и др. Гнездятся многие из них на уступах отвесных скальных стен, порой высотой в несколько сотен метров. На этих птичьих базарах фарерцы веками ловят птиц (прежде всего тупиков и кайр), собирают яйца и пух.

Делается это следующим образом. Сборщик-ловец (а иногда и сборщица!) обвязывается толстой веревкой, точнее канатом, и 4—5 крепких мужиков вытравливают этот канат, спуская сборщика по отвесу. В давние времена использовались, естественно, не современные легкие альпинистские веревки, а тяжеленные канаты. Тот, кто ловит птиц особым сачком (ручка у него 3—4 метра) или собирает яйца и пух, должен быть недюжинным скалолазом. Складываются трофеи в специальный четырехугольный деревянный короб за спиной; широкая тесьма от него надевается на лоб. Птицелов должен не бояться высоты, быть сильным и ловким и, конечно, обладать особыми навыками и знаниями.

К птичьим базарам можно подобраться и снизу, но чаще спускаются на веревке. Оба способа одинаково рискованны, и множеству людей этот промысел стоил жизни. Основная опасность — камни, сбиваемые веревкой или падающие сами по себе.

Спустившись на подходящий уступ, ловец-сборщик освобождается от веревки (!), закрепляет ее за выступ и остается, таким образом, на скальной полке над пропастью безо всякой страховки. Орудуя тяжелым сачком, он ловит пролетающих птиц, собирает яйца и пух. Утверждают, что опытному ловцу удастся поймать за день до тысячи (!) птиц. Под скальной стеной часто находится лодка, и добытых птиц просто сбрасывают в море. Если лодки нет, ловца-сборщика и трофеи вытаскивают наверх.

Некоторые птицы — чайки, крачки, клуши — нападают на человека, защищая яйца и птенцов.

Случается, что ловец срывается. Это верная гибель.

Но даже при благоприятном раскладе работа на скальной стене очень тяжела и малоприятна. К середине дня скала сильно нагревается, и человек страдает от невыносимой жары. Ноги скользят в толстом слое пахучих экскрементов. Птичьи паразиты с удовольствием перебираются с хозяина на перемазанного пометом человека.

Птичье мясо и яйца испокон веку разнообразили фарерский стол, а пух использовался в хозяйстве.

Сейчас птичий промысел постепенно отходит в прошлое, но полностью не прекратился. Профессор Йоухан Хендрик Винтер Поульсен, один из ведущих лингвистов Фарерских островов, подробно рассказывал мне, как в молодости занимался этим небезопасным делом.

Фарерцев всегда было очень мало. В самом начале XIX в. их насчитывалось всего пять с небольшим тысяч. Но уже через сто лет население островов почти утроилось, а за XX в. еще раз утроилось.

Основная часть — приблизительно две трети — фарерцев живет примерно в 80 небольших селениях, рассеянных по островам. Немало и совсем крошечных, где проживает несколько десятков человек. А на острове Кольгур живет всего одна семья. Самый крупный населенный пункт — это, разумеется, столица Торсхавн (в фарерском

произношении Тбушхаун) с ее 15 500 жителей. На втором месте Клаксвуйк (4500 человек).

* * *

Итак, фарерцев насчитывается 45 тысяч человек и живут они на площади в 1400 км². Плотность населения составляет 32 человека на квадратный километр, однако это, как в очень многих странах, только в среднем. Места, где люди не живут и, видимо, никогда жить не смогут, — крутые горы, части островов без прибрежной полосы, каменистые пустоши, болота и т. д., составляют львиную долю территории.

За пределами архипелага проживает примерно 5 000 фарерцев.

Административно Фарерские острова входят в состав Дании, но с 1948 г. пользуются очень широкой автономией.

Уже упоминалось, что Фарерские острова были заселены в первой половине IX в. выходцами из Норвегии. Язык современных фарерцев — это результат развития древненорвежского, точнее древнескандинавского (в ту пору все скандинавы говорили еще на одном языке), языка в условиях изоляции. За 12 веков язык существенно изменился, и теперь фарерский — совершенно самостоятельный скандинавский язык, непонятный ни норвежцам, ни датчанам, ни шведам. Исландцы, ближайšie соседи фарерцев, устную фарерскую речь понимают неважно или вовсе не понимают, равно как и фарерцы — исландскую.

Жители больших стран редко задумываются над некоторыми проблемами малых народов.

Несколько примеров. Если в России средний тираж понравившегося читателям романа, скажем, 200 тысяч, то, учитывая, что фарерцев меньше, чем россиян, примерно в три тысячи раз, на Фарерах подобный роман следовало было бы издать тиражом в... 66 экземпляров. Российскому тиражу газеты в 300 тысяч на Фарерских островах пропорционально должен был бы соответствовать тираж в 100 экземпляров. Нет необходимости говорить о том, как сложно и дорого организовать телевидение для 45 тысяч человек, к тому же живущих на 17 островах, чаще всего в крохотных поселках под горами, препятствующими распространению радиоволн.

Между тем приведенные выше гипотетические цифры тиражей совсем не соответствуют реальности. В столице издается пять газет. Самая крупная — «Диммалаттинг» («Рассвет») — выходит пять раз в неделю, и тираж у нее 11 тысяч (!); вторая по распространенности газета «Сосиалурин» (ставшее официальным народное название, которое можно перевести примерно как «Социал») тоже выходит пять раз в неделю тиражом 7 тысяч экземпляров. Стало быть, почти каждая фарерская семья выписывает обе эти газеты. А кроме них издаются и «Оджатуйинди» («Островные вести»), и еще две газеты поменьше плюс две местные.

Регулярные радиопередачи ведутся уже без малого полвека — с 1957 г. Вещание — десять часов в сутки — только по-фарерски.

Государственное телевидение («Шоунварп Фёръя», Телевидение Фарерских островов) существует с 1984 г. Передачи идут шесть дней в неделю.

Фарерцы очень много читают.

До сравнительно недавнего времени художественная литература на фарерском языке была представлена очень скромным числом авторов. Показательно, что самые значительные фарерские писатели писали на языке метрополии — по-датски. Так, по-датски написаны замечательный роман Эргена-Франца Якобсена (1900–1938) «Бáрбара» (опубликован в 1939 г.; недавно он был превосходно экранизирован) и широко известные романы Виллиама Хайнесена (1900–1991), лучшие из которых («Черный котел», «Пропавшие музыканты») переведены на многие языки, в том числе и на русский. Вместе с тем не менее показательно, что нынешние писатели пишут по-фарерски, хотя нетрудно владеть датским: все фарерцы двуязычны. Это, как нетрудно понять, вопрос принципа. В частности, виднейший современный писатель Энс Паули Хайнесен, племянник Виллиама Хайнесена, пишет по-фарерски³.

Появилась даже своя фарерская детективная литература. На фарерский язык переведены важнейшие произведения мировой литературы, например «Илиада», «Калевала», произведения Шекспира, Вольтера, Достоевского, некоторых современных авторов, например Камю и Ануя. В год сейчас выпускается более ста (!) названий книг на фарерском языке (в 1990 г. — 161 название). Показательно, что переведены и написанные по-датски произведения Э.-Ф. Якобсена и В. Хайнесена.

Всего на фарерском языке издано более 4000 названий книг, из них 75% после 1975 г.

Письменная литературная традиция на фарерском языке совсем молода: первый роман — «Вавилонская башня» Расмуса Расмуссена⁴, писавшего под псевдонимом Рейин уй Луи, вышел в 1909 г., меньше века назад.

Зато богатая устная фарерская литературная традиция, напротив, восходит к Средним векам. Это специфическая форма народного творчества, народная баллада («квеайи» по-фарерски), жанр до сих пор крайне популярный на островах. До наших дней дошло огромное количество баллад — записано 70 тысяч стихотворных строк. И это при том, что, несомненно, многое утрачено.

Фарерская народная баллада — синтетический вид искусства, в котором объединены три элемента: стихи, музыка и танец. Исполнение фарерских баллад выглядит следующим образом.

Выходит вперед запевала (ши́пари) и поет первую строфу баллады. Его берет за руку один из участников танца, того — следующий

и т. д. Поначалу они образуют цепь и двигаются боком, потом круг замыкается и получается танцующий хоровод. Или два хоровода — один внутри другого. Припев поют все танцующие. Обычно они одеты в национальные костюмы.

Никакого музыкального сопровождения не бывает.

Некоторые баллады состоят из сотен строф.

Запевала одновременно и хормейстер, и балетмейстер. От его искусства зависит темпераментность и проникновенность исполнения баллады участниками. Искусный запевала помнит огромное количество баллад. Помимо прекрасной памяти и отменного музыкального слуха он должен обладать чистым, громким голосом и чувством ритма. К тому же запевале необходимо быть человеком физически крепким: нагрузка на него огромная.

Танец и пение составляют единое гармоническое целое, участники соперещивают содержание. Рассказывают, что при исполнении баллад с трагическим содержанием, бывало, слезы катились по лицам как исполнителей, так и зрителей.

Ранее неукоснительно соблюдалось следующее правило: одна баллада могла исполняться только один раз в течение года. В этом был свой резон: сохранялось богатство репертуара. Но было и другое следствие: знание текстов не передавалось другим, запевала как бы оставался обладателем и хранителем текста. С одной стороны, при редком исполнении баллада сохраняла свою свежесть и притягательность. С другой — нежелание авторов передавать текст кому-либо приводило к тому, что с их смертью некоторые баллады навсегда утрачивались.

При всей популярности баллад в наши дни народ знает их хуже, и случается, что одна и та же баллада исполняется несколько раз в год.

Жанр фарерской баллады возник, как уже было сказано, еще в Средние века. Полагают, что она зародилась в XIV столетии, а расцвета достигла в XVI–XVII вв. Записывать же баллады стали много позже, начиная с 1770-х гг. (по этим записям гениальный датский языковед Расмус Раск изучал фарерский язык).

Тематика и источники баллад весьма разнообразны. Есть баллады на сюжеты древнескандинавской мифологии, большой цикл основан на сказаниях о Сигурде (по-фарерски «Шуурур»). Многие баллады пересказывают отдельные эпизоды из саг — родовых и королевских. Есть целый цикл о Карле Великом, в частности баллада о битве Роланда в Ронсевальском ущелье. Много баллад с романтическим сюжетом. Сюжеты большого числа баллад взяты из скандинавских волшебных сказок, в них есть великаны, тролли, прекрасные девы, рыцари и т. п. Есть баллады и на евангельские сюжеты — о деве Марии и Христе, о святом Николае и др.

Основное время исполнения «балладных танцев» — между вторым днем Рождества (26 декабря) и Великим постом. Обычно танцы устраиваются в помещении. Желательно, чтобы оно было просторно,

но потолок не должен быть слишком высоким, иначе пение будет недостаточно хорошо слышно. В новое время стали строить специальные дома для балладных танцев.

Особый праздник — День Святого Олафа (по-фарерски Оуласёка, «кnochное бдение в память об Олафе», норвежском короле Олафе Святом, павшем в сражении в 1030 г.). Празднование длится два дня — 28–29 июля. День 29 июля — национальный праздник Фарерских островов, в этот день открывается лёгтинг, фарерский парламент (существует со времен заселения). На Оуласёку в Торсхавн съезжается народ со всех островов. В эти дни танцы устраиваются на открытом воздухе.

Празднование Оуласёки открывается в два часа дня. Часом позже начинаются соревнования гребцов на старинных открытых фарерских лодках — копиях лодок эпохи викингов. Балладные танцы длятся всю ночь, с 11 часов вечера и до 4 часов утра. На следующий день, после церковного хода, открытия лёгтинга и различных спортивных мероприятий, танцы возобновляются и заканчиваются лишь утром, нередко часов около шести. Такое исполнение баллад в настоящее время из всех скандинавских народов есть только у фарерцев.

Фарерский язык занимает среди 11 живых германских языков последнее место по количеству говорящих на нем.

Как уже отмечалось, первопоселенцы говорили на древненорвежском языке. Постепенно он изменялся, отдалялся от исходной формы. В первой половине XI в. Фарерские острова подпадают под власть Норвегии, а в XIV в. вместе с Норвегией — под власть Дании. С этого времени датский язык становится на островах языком администрации, а в результате Реформации начиная с 1536 г. — и языком религии. Иными словами, фарерский язык с конца XV в. существовал только как язык устного общения. По этой причине мало известно о том, как он развивался в течение нескольких столетий. Когда в последней трети XVIII в. ученые стали записывать образцы народной речи и баллады, они пользовались каждый своей системой записи, своей транскрипцией. Говоря иначе, фарерской орфографии как таковой не существовало.

Она появилась лишь в 1846 г. Создателем ее стал молодой фарерский теолог В. У. Хаммерсхаймб. В основу орфографии он положил (древне)исландское (оно же древненорвежское) правописание, т. е. его орфография в значительной мере основывалась на историческом принципе — на том, какой вид слова имели много веков назад. Хаммерсхаймб даже ввел одну букву (ð), которая вообще не имеет в фарерском никакого звукового соответствия. Эта орфография используется и по сей день.

Орфография Хаммерсхаймба, таким образом, весьма неточно передает реальное звучание слов². Даже самим фарерцам отнюдь не просто овладеть этими очень сложными правилами правописания.

Впрочем, у этой орфографии есть две положительные стороны. Хотя фарерцев совсем немного, в их языке имеется ряд диалектных различий. Кроме того, при склонении и спряжении звуковой состав фарерских слов порой существенно изменяется (т. е. у фарерского языка, выражаясь научно, очень сложная морфонология), а неточное хаммерсхаймбовское написание показывает связь разных форм.

Благодаря тому что орфография Хаммерсхаймба основана на (древне)исландской, исландцы относительно легко читают по-фарерски, а фарерцы — по-исландски, хотя, как было сказано, устную речь друг друга понимают плохо или вообще не понимают.

Фарерский язык очень интересен.

Весьма своеобразна его фонетика: в ней нет некоторых общераспространенных фонем, но, напротив, есть ряд звуков, отсутствующих в других скандинавских языках. Так, в исконных фарерских (т. е. не заимствованных из датского) словах нет фонемы /a:/, вместо нее выступает дифтонг /ea/, ср. *maður* /meavur/ «человек». Характерно следующее соотношение: если гласный по условиям окружения должен быть долгим, то он имеет одно качество, при сокращении (например, при склонении или спряжении) — другое. Добавляющиеся к этому живые чередования делают некоторые парадигмы весьма причудливыми, ср. им. п. прилагательного «низкий»: ед. ч. м. р. *lágur* [lɔavur], ж. р. *lág* [lɔa], ср. р. *lágt* [lɔkt], мн. ч. соответственно: *lágir* [lɔajir], *lágur* [lɔavar], *lág* [lɔa]. Ср. далее *fólk* [fœlk] «народ» (глухое l) — *fólkið* [fœlçi] то же с опред. артиклем (глухое палатализованное l), *sjógvur* [šɛgvur] «море» — *sjóvar* [šɔuvar] то же в род. п. ед. ч. Есть в фарерском чуждая другим скандинавским языкам аффриката *ǰ* и др.

По богатству морфологии фарерский язык занимает среди скандинавских второе место — после исландского.

У существительного три грамматических рода, четыре падежа и много типов склонения. Впрочем, на фоне скандинавских языков падежная система своеобразна: употребительны именительный, дательный и винительный, тогда как родительный характерен только для письменного стиля; любопытно при этом, что определяющее существительное может употребляться как постпозитивно (как в исландском), так и препозитивно (как в прочих скандинавских языках).

Глагол изменяется по лицам (только в ед. ч.) и числам.

Характерно, что названия десятков заимствованы из датского: 50 — *halvtrýss*, 60 — *trýss*, 70 — *halvfjerds* и т. д.

Главная проблема современного фарерского языка лежит в области лексики. Он получил статус официального лишь в 1948 г. До этого таким статусом обладал, как мы знаем, датский. До сих пор на старшей ступени обучения используются датские учебники. Неудивительно, что для многих современных понятий в фарерском языке просто не было и нет обозначений. В этих случаях прибегали (и прибегают) к данизму, датским словам.

Многие фарерские филологи выступают за очищение родного языка от данизмов. Звучит лозунг «за чистоту родного языка», конечно, красиво и патриотично. Какова же действительность?

Дело в том, что во многих случаях датское название (разумеется, слегка измененное в соответствии с фарерским произношением и фарерской грамматикой) для рядового жителя островов вполне естественно и привычно. Более того, ему нередко просто неизвестно или даже непонятно иное — фарерское — обозначение. Это можно проиллюстрировать одним курьезным примером. Автору данного очерка несколько лет назад попался на глаза томик избранных сочинений Ленина в переводе на фарерский. Переводчик старательно использовал фарерские слова (видимо, им самим придуманные) для обозначения таких понятий, как «империализм», «эксплуатация», «производственные отношения», «диктатура пролетариата» и т. п. Однако, отдавая себе отчет в том, что эти новые термины рядовому фарерцу, скорее всего, будут непонятны, он поместил в конце книжки список этих терминов с датскими (!) переводами.

Создавая новые слова, фарерцы широко используют богатый опыт исландцев, давно и успешно охраняющих свой язык от иноязычного влияния. Кое-кто даже считает, что исландское влияние чрезмерно.

Недавно фарерские филологи издали первый в истории островов толковый словарь. Это очень солидный (без малого 1500 страниц) и хороший словарь. Свою задачу составители видели, естественно, в первую очередь в том, чтобы описать богатый словарный состав фарерского языка, но также и в том, чтобы предложить ряд новых слов, призванных заменить распространенные данизмы. Некоторые из этих новых слов ранее вообще никогда не употреблялись. Правда, как отметил один рецензент, авторы чересчур увлеклись такими новыми словами.

Рецензент этот заслуживает небольшого рассказа. Мой добрый знакомый Джонни Томсен (он уже упоминался выше) превосходно знает русский язык: он учился в Советском Союзе и к тому же женат на русской. Томсен составил очень хороший краткий русско-фарерский словарь (сейчас он его расширяет) и работает над фарерско-русским. Служит он в Фарерском пароходстве.

Рецензия, о которой идет речь, написана им по-русски и опубликована в России. Смысл ее таков. Существуют два варианта фарерского языка: неофициальный (Томсен называет его устным) и официальный (письменный и зачитывание текстов, например, на радио и телевидении). В устном варианте множество данизмов, тогда как в официальном их стараются избегать. По мнению Томсена, в названном толковом словаре единицы второго варианта, порой просто неупотребительные, следовало бы каким-то образом отграничить от единиц обычного разговорного языка.

Фарерцы целеустремленно создают свою собственную терминологию. Так, в недавно выпущенной брошюре «Некоторые слова

по ЭВМ» (кстати, это второе издание) предложено около 800 слов и словосочетаний.

Создание новых слов — занятие непростое. Слово, которому предстоит либо стать обозначением понятия, до того не имевшего наименования, либо прийти на смену иноязычному, уже прижившемуся в языке, должно быть и понятным, и естественным, и кратким, и благозвучным.

Расскажем об одном таком создателе новых слов. Он уже упоминался выше, но в совершенно другой связи — в рассказе о спуске по скальным стенам к местам гнездовой птиц. Профессор Йоухан Хендрик Винтер Поульсен, главный редактор упомянутого толкового словаря, живет в крохотном селеньце Чирчубёвур (некогда религиозном и культурном центре островов). Это в 14 километрах от Торсхавна, и профессор ездит в университет по горной дороге на велосипеде. По пути он, по его рассказам, крутя педали, придумывает новые фарерские слова — для новых понятий или для старых, но обозначаемых по-датски. Вдоль дороги лежит множество больших камней, и, по словам профессора, он помнит, у какого камня какое новое слово его осенило.

Разумеется, фарерские филологи заняты не только придумыванием новых слов. Старинный, вековой уклад жизни стремительно меняется, и то, что еще несколько десятилетий было живо, уходит, становится достоянием истории. Все это необходимо зафиксировать сегодня, ибо завтра уже может оказаться поздно. Одной из таких уходящих в прошлое сторон фарерской жизни является спуск к местам гнездовой птиц. Для четкой и безопасной работы на скальных стенах высотой в несколько сот метров надо было в мельчайших деталях знать эти стены, отчего у элементов их были свои названия. Авинд Вёйе, декан факультета фарерской филологии университета, показывал, как ведется работа по установлению этих названий. На больших листах в красках изображены такие скальные стены — птичьи базары, и на основании опроса знающих людей на рисунки наносятся названия деталей микрорельефа — полок, трещин, выступов, уступов, расселин и т. д.

Как известно, количество языков на земле неуклонно сокращается. В первую очередь, естественно, исчезают языки малых народов. В мрачных прогнозах на сей счет нет недостатка. Так, по одному из них к середине XXI столетия мертвыми станет половина всех языков, на которых сейчас говорят на земном шаре. Немало языков уже безвозвратно ушло в прошлое.

Но, как мы видим, такие предсказания не учитывают одного фактора, который в наше время становится все более существенным. Этот фактор — сознательное стремление народа сохранить и развить свой родной язык.

Конечно, судьба языков малочисленных народов драматична. Самой историей они обречены на двуязычие. Когда небольшой народ

проживает на территории страны с иным государственным языком, знание этого основного языка является необходимым условием социального прогресса как всего этого народа, так и отдельных его представителей. Саами, живущий на севере Норвегии, но не владеющий норвежским языком, увы, не станет ни врачом, ни инженером. То же относится и к странам с единственным национальным языком, но малонаселенным, например Исландии. Исландцу, не знающему ни одного иностранного языка (впрочем, едва ли такие есть), не стать ни архитектором, ни геологом.

Пример Фарерских островов в отношении языка очень поучителен. За исторически короткий срок он развился из языка устного, бытового общения в литературный язык, успешно обслуживающий все сферы современного развитого общества.

Заслуживает рассказа уже неоднократно упоминавшийся Фарерский университет. Официальное его название — Центр научных знаний Фарерских островов. Он был основан в 1965 г. и первоначально состоял только из одного факультета — фарерской филологии. Спустя семь лет был открыт естественно-научный факультет. В 1978 г. к этим двум факультетам добавился геологический, который с 1986 г. входил в историко-социологический факультет. В настоящее время геологическая специализация закрыта.

Университет, разумеется, невелик. В нем всего 15 штатных преподавателей и примерно 70 студентов, т. е. по величине он сопоставим с кафедрой среднего европейского университета. Но следует иметь в виду, что большая часть молодых фарерцев, желающих получить высшее образование, учится в университетах Дании и других стран. Фарерским островам с их немногочисленным населением просто не под силу организовать преподавание по тем специальностям, потребность в которых невысока.

Университет — не только учебное заведение, но и исследовательский центр.

В Торсхавне есть несколько музеев. Прямо напротив университета находится Естественно-исторический музей. Очень хорошее представление о жизни на Фарерских островах на протяжении веков дает Исторический музей. В Художественном музее, красиво расположенном в городском парке, собраны произведения старинного и современного фарерского изобразительного искусства, в частности работы самого известного художника островов С. Й. Мичинеса (1906–1979). Есть и художественные галереи.

За пределами столицы находится около десятка небольших музеев. Часть из них — старинные крестьянские дворы. Эти старинные постройки тщательно сохраняются. У них своеобразный вид. Как правило, это одноэтажные дома с просмоленными и потому черными стенами. На крыше растет трава. Таких домов немало и в самом Торсхавне.

Естественно, есть в столице и Национальная библиотека. Она размещается в красивом ультрасовременном здании.

Особо надо упомянуть Северный Дом — центр скандинавской культуры. Здесь проводятся различные мероприятия — выступления приезжих деятелей культуры, выставки и др. Здание это считается шедевром современной архитектуры.

* * *

Первое впечатление от Фарерских островов самое благоприятное. Красивая нетронутая природа. Изумрудно-зеленые склоны там и сям прорезаны синими нитями ручьев. Все, что сотворено руками человека, новое, современное: добротные свежеекрашенные дома, превосходные дороги, туннели⁶, мосты. Современные магазины, гостиницы. Старинные здания отлично отреставрированы. Нарядные поселки с яркими — красными, зелеными — крышами. Напрашивается естественный вывод об экономическом процветании и благополучии.

К сожалению, это не вполне соответствует действительности.

Уже говорилось, что веками основной отраслью фарерской экономики было овцеводство. Но с середины XIX в. главным в жизни островов шаг за шагом становится рыболовство. Постепенно создается большой рыболовецкий флот, и как следствие — усиленно развиваются рыбообрабатывающая промышленность и судостроение. В 1970-е и 1980-е гг. конъюнктура в этом секторе экономики была на редкость благоприятной. Особенно удачен был для островов 1987 г. с рекордным уловом в 390 000 тонн. Фарерцы вкладывают огромные деньги в строительство новых судов, новых дорог, новых жилищ, туннелей и т. д.

Но вскоре Фортуна отворачивается от островитян. Цены на рыбу на мировом рынке падают, права Фарерских островов на лов в чужих территориальных водах значительно урезаются, уловы резко падают⁷. Острова с их однобокой экономикой, ориентированной почти исключительно на рыболовство и рыбообработку (рыба и рыбопродукты составляют 99% экспорта), охватывает жесточайший кризис. Жертвой его становятся не только рыбаки, но и рабочие, занятые в рыбообрабатывающей промышленности, судостроении и строительстве. Одно за другим следуют банкротства. Безработица принимает катастрофические размеры. Наступает экономический коллапс. Около 10% (!) фарерцев эмигрируют, в основном в Данию.

Не стоит задаваться извечным вопросом «Кто виноват?» Многие фарерцы возлагают вину на Датский Банк. Экономисты других стран, да и немало фарерцев считают, что островитяне виноваты сами, вложив колоссальные средства в очень дорогой рыболовецкий флот, неоправданно большой и слишком современный, и в потребление.

Понемногу фарерцы оправляются от кризиса конца 80-х — начала 90-х гг.

Как уже говорилось, Фарерские острова, оставаясь в составе Дании, пользуются с 1948 г. очень широкой автономией. Самоуправле-

ние касается прежде всего внутренней политики, но и во внешнеполитических вопросах, затрагивающих интересы Фарер, острова оказывают значительное влияние на официальную датскую политику. По проблемам, относящимся только к Фарерским островам (т. е. не касающимся самой Дании), они имеют право вести прямые переговоры с другими странами. Самостоятельность фарерской политики проявилась, в частности, в том, что Дания вступила в ЕС, а Фарерские острова в него не вошли. У островов собственный флаг (красный крест в синем окаймлении на белом фоне), фарерский язык — основной. Острова являются членом Северного совета. У них свои банкноты (собственно говоря, это датские банкноты с фарерским текстом; впрочем, датские тоже могут использоваться без ограничений), однако мелочь (монеты) — датская.

Большие надежды возлагаются на то, что у берегов Фарерских островов — маленькой страны с большими возможностями — будут обнаружены запасы нефти.

* * *

Виллиам Хайнесен однажды назвал Фарерские острова песчинкой в бальном зале. И действительно, в богатом и многокрасочном зале Европы Фареры — лишь едва заметная частичка. Но этот крохотный мирок населен народом, который вызывает глубокое уважение.

В залах хотя и небольшого, но превосходного Исторического музея показано, в каких тяжелых условиях веками жил этот маленький народ, и нельзя не восхищаться тем колоссальным рывком, который сделали островитяне за последние десятилетия.

Им есть чем гордиться.

Несмотря на трудную, порой драматическую историю, они сохранились как народ, как целое, сберегли свою уникальную культуру, старинные народные традиции, умело сочетая их в последнее время с новейшими достижениями цивилизации⁸, сумели создать полноценный современный литературный язык.

На долю фарерского народа выпало немало испытаний, но он переносил удары судьбы со спокойным достоинством и мужеством. Чтобы жить на этих островах — скудных, открытых всем ветрам, окруженных холодным и своенравным океаном, в неблагоприятном сыром климате, требовались тяжелый повседневный труд, сплошь и рядом сопряженный с риском для жизни, смелость и твердость духа.

Малочисленность народа позволяла сильным государствам чувствовать себя хозяевами на островах. Фареры всегда зависели от внешней торговли. А она-то как раз была многие века полностью в руках иноземных купцов, которые нещадно грабили островитян — скупали у них по дешевке шерсть и втридорога продавали им жизненно необходимые товары. Особенно тяжелым был период этой торговой монополии в XVII в.

Запоминается в этом музее фотография фарерских рыбаков. Открытая лодка со сравнительно невысокими бортами. Крепкие мужчины в высоких шерстяных шапках (в них клали табак и пр. — это было самое сухое место, одежда промокала насквозь). Хороший шторм, лодка перевернется, и рыбаки, не умеющие плавать, пойдут на дно.

Символическая картина. Представляется, что так же под дамковым мечом истории веками жили фарерцы. Истории не стоило бы больших усилий стереть с лица земли этот крохотный народ.

Фарерские острова — это яркий и своеобразный мир не только многих поколений тружеников, достойно живших в труднейших природных и исторических условиях. Это также мир интереснейшей самобытной культуры, любовно сохраняемой много веков. Мир языка, возрожденного для новой полнокровной жизни.

В скором времени будет решаться важнейший вопрос для Фарерских островов — стать ли им самостоятельным государством или продолжать оставаться в составе Дании. Не исключено, что в недалеком будущем острова станут новым государством на политической карте мира.

Фарерская история приближается к переломному моменту.

Как бы там ни было, верится, что история вознаградит фарерцев за их многовековой труд.

¹ Характерный штрих современности: на островке Хестур (Лошадь) площадью 6 км² живет всего 49 человек, но есть плавательный бассейн.

² В фарерском языке даже существует поговорка: весть разнеслась по всей стране как «гриндабо».

³ Любопытный штрих. Енс Паули Хайнесен — поклонник творчества Исаака Бабеля. Они с женой даже специально ездили в Одессу и бродили по Молдаванке.

⁴ Читатель, наверное, уже обратил внимание на то, что большинство фарерских фамилий оканчиваются на *-сен*. Этот элемент характерен для датских фамилий, и то, что многие фарерцы носят самые распространенные датские фамилии (Хансен, Якобсен, Томсен, Поульсен, Расмуссен и т. д.), — результат датского владычества.

⁵ Всего два примера. Звучанию [туй] «время» соответствует написание *tíð*. Одинаково звучащие слова «погода», «дорога» и «ткань» [вегур] пишутся в соответствии с древним произношением — *veður, vegur и vevur*.

⁶ Один из этих туннелей имеет в длину более трех километров, 4 — более двух, 5 — более одного километра. Сеть великолепных дорог имеет общую протяженность более 600 километров. Практически в любой из поселков Фарерских островов сейчас можно попасть на машине, автобусе, пароме или вертолете. На изолированных островах или в селениях без дорог проживает менее 1% фарерцев.

⁷ В 1985 г. фарерцы выловили 86 тысяч тонн трески, а в 1995 г. — всего 10 тысяч тонн.

⁸ Говорят, что фарерцы одной ногой стоят в эпохе викингов, другой — в XXI в.



Н. Ю. Гвоздецкая (Иваново)

**ПРОЛЕГОМЕНЫ
К ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ
СЕМАНТИКИ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО
ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА ***

История семантического описания древнеанглийского поэтического слова выявила продуктивность как «системоцентрического», так и «антропоцентрического» взгляда на проблему. Ономаσιологический подход стремился к детальному описанию денотативного компонента значения, в то время как теория лексико-семантического поля направляла усилия лингвистов на осмысление сигнификативного компонента и выявление его этнокультурной специфики. Оба эти направления исследований породили множество добротного выполненного диссертаций и монографий, систематизирующих большой материал. Однако их цель и методика налагали на исследователей некоторые (не всегда осознаваемые ими) ограничения, которые суживали горизонт исследования. Почти исключительно диахроническая направленность историко-семасиологических исследований заставляла лингвистов уделять больше внимания видам и факторам семантических изменений, нежели собственно семантическому описанию и анализу сопоставляемых фактов синхронии. В исторической семасиологии, как и в других областях лингвистики, явно сказался тот перевес «языка» над «речью», который приводил к пренебрежению речевой деятельностью и ее произведениями (текстами).

Семантическая специфика древнеанглийского поэтического слова была впервые осознана в работах тех ученых, которые так или иначе разделяли концепцию языка как «духа народа» (В. фон Гумбольдт) и стремились через изучение семантики решить культурологические проблемы. Однако здесь особенности семантики поэтиче-

* Исследование выполнено при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 01-06-80341).

ской лексики нередко напрямую связывались со «специфически древнеанглийской структурой сознания» и тем самым тоже фактически отрывались от среды своего существования — конкретных памятников. Положение усугублялось тем, что само семантическое описание было нацелено преимущественно на реконструкцию древнейшего этимологического значения корня, семантика же отдельного словоупотребления казалась ясной из контекста и рассматривалась как средство, а не цель реконструкции. Сам факт зримого присутствия слова в расшифрованном (так сказать, «читабельном») тексте создавал иллюзию его «понятности»: доступность слова для толкования оценивалась как легкость толкования.

Попытки «перетолкования» отдельных словоупотреблений в памятниках предпринимались нередко лишь с целью обнаружить в древнеанглийских словах значения их отдаленных этимологических параллелей. При подобном подходе привлекались одни элементы контекстуального окружения слова и игнорировались другие. Против подобных «перетолкований» справедливо восстал Х. Шабрам в своей знаменитой статье «Этимология и контекстуальный анализ в древнеанглийской семантике»¹. Однако конфликт между «этимологами» и «контекстологами» разрешается ученым далеко не в лучшую сторону: отказ от сравнительно-исторической перспективы слова лишает исследователя возможности увидеть в семантическом описании «динамику синхронии», а узко понимаемый контекстуальный анализ обедняет реконструируемое значение.

Разрешение этого конфликта возможно лишь при правильном понимании роли «этимологического» и «контекстологического» методов в толковании слов. Этимологические параллели очерчивают семантические потенции слова, актуальность которых для памятника должна проверяться контекстуальным методом. Но понимать этот метод следует гораздо шире, нежели изучение непосредственного вербального окружения слова, описываемой ситуации или культурно-исторического фона, — главнейшим является контекст памятника, т. е. все категории художественного текста, которые влияют на формирование и актуализацию лексико-семантических тождеств и различий в нем.

Для теоретического осмысления поставленной проблемы чрезвычайно важной представляется эволюционная теория М. И. Стеблин-Каменского, которая дала новый взгляд на древнегерманскую литературу как на архаическую стадию в развитии авторского самосознания².

Природа древнеанглийского поэтического слова определяется характером литературного сознания эпохи — «неосознанным авторством», обусловившим и архаический характер аллитерационного стихосложения. Как справедливо полагает О. А. Смирницкая, отсюда вытекает особая организация древнегерманского поэтического языка, в основе которой абсолютизация принципа мотивированно-

сти языкового знака³. Думается, что та же абсолютизация влечет за собой усиление и другого принципа построения знаковых систем — принципа асимметричного дуализма, который обнаруживается в особом характере древнеанглийской поэтической синонимии и многозначности. Центральными проблемами семантического описания древнеанглийского поэтического слова являются *дифференциальный характер синонимии и интегральный характер многозначности* в их зависимости от специфических условий проявления в эпическом тексте⁴.

Цель поэтической синонимии в древнегерманской аллитерационной поэзии — не в умножении звуковых оболочек для единого содержания, но в его детальной смысловой дифференциации, ибо в силу мотивированности языкового знака всякое различие звучаний должно быть функционально оправдано различием значений. Развитая синонимика древнеанглийского поэтического словаря не может быть вполне объяснена ни с точки зрения ее историко-типологических корней (т. е. как отражение архаического мышления, бедного общими понятиями), ни с точки зрения чисто прагматических установок стихосложения — «потребностей аллитерации» (как полагали Ф. Магун и его последователи⁵). Синонимические ряды получают оправдание как организованные стихом микросистемы, сложившиеся в процессе формирования формульных (устойчивых) словосочетаний⁶. До сих пор не было предложено, однако, удовлетворительного семантического истолкования функциональной дифференциации синонимов в древнеанглийском поэтическом тексте.

По нашему мнению, связь семантической дифференциации синонимов с формульностью как основополагающим признаком эпического творчества свидетельствует о нарративной природе передаваемой ими эстетической информации, поскольку сами формульные словосочетания являются минимальными семанτικο-нарративными единицами текста. И если эта информация в самом деле представляет собой «функцию от дистрибуции» синонимов, то она должна обнаруживаться не только через метрическую «табель о рангах» (закрепленность синонимов за «сильными» или «слабыми» аллитерирующими вершинами стиха), но и на всех уровнях синтаксико-нарративного контекста памятника.

Мотивированность языкового знака в аллитерационном стихе требует также оправдания тождества звучания тождеством значений. Поэтому цель поэтической многозначности должна состоять не только в объединении под одной «крышей» разных референтов (слабое воспоминание о подобии которых сохраняется лишь в историческом акте именованья), но и в осознании и актуализации их общего семантического основания, их «исконного сродства» (в действительности или сознании). Тождество звуковой оболочки многозначного поэтизма (не в меньшей степени, чем звуковое подобие аллитериру-

ющих слов) служит в первую очередь отождествлению планов содержания. Вот почему сам термин «многозначность» не до конца удовлетворяет исследователей древнегерманской поэтической лексики и не прекращаются попытки заменить его каким-то другим, подчеркивающим сходство объединяемых лексемой смыслов, а не их различие — «широкозначность», «диффузность» и т. п.

Многозначность древнеанглийского поэтического слова не может трактоваться лишь как этнокультурный компонент семантики⁷ или как следствие невысокого уровня абстрагирующего мышления⁸, но требует учета способа существования слова в тексте. Именно так подходит к вопросу о многозначности «субстантивного эпитета» М. И. Стеблин-Каменский⁹. Указывая на способность предметного существительного получать в роли эпитета значение качественного прилагательного («подобно тому как *heogu* — „меч“ — в атрибутивном употреблении означает не „мечевой“, а „жестокий“, „ужасный“, „свирепый“, ... так и *gar* — „копье“ — означает не „копейный“, а „воинственный“, „доблестный“») ¹⁰, М. И. Стеблин-Каменский трактует эту многозначность как реликт первобытно-образного мышления, но вместе с тем защищает тезис о функциональной перестройке языковых архаизмов по мере их превращения в средства художественного отображения действительности. При таком понимании слово как элемент лексической системы оказывается органически слитым со словом как элементом поэтической речи (так, повтор лексем подразумевает эпическую вариацию как свойство поэтического синтаксиса). Многозначность древнеанглийского поэтического слова, образцом которого выступает в данном случае субстантивный эпитет, — проявление основных свойств аллитерационной поэзии в целом.

Этот широкий взгляд на многозначность эпического слова нашел дальнейшее развитие в концепции О. А. Смирницкой, которая отмечает тесную связь лексической многозначности с внутренней семантической изменчивостью устно-эпического текста при каждом новом воспроизведении. При этом «наслоения смыслов возникают в первую очередь в ключевых строках и строфах, наиболее важных для интерпретации всей песни»¹¹, а на лексическом уровне семантическая диффузность обнаруживает себя как «особый сплав различных, подчас приходящих в столкновение друг с другом смыслов»¹². Многозначность эпического слова оказывается оборотной стороной «текучести» эпического текста, т. е. его неосознанного переосмысления, его способности реагировать на сдвиги в мировосприятии поэта и аудитории — способности, которая сохраняется и в эпоху появления письменности после принятия христианства.

Подобная постановка проблемы требует более детального теоретического осмысления как характера взаимоотношений значения слова и контекста в древнеанглийском поэтическом памятнике, так и самой идеи иерархии контекстов в нем. Принципиальными представляются следующие соображения.

В древнеанглийских поэтических произведениях слово теснее связано с контекстом своего употребления, нежели в языке общенародном, в силу более тесных взаимоотношений поэтического языка и поэтической речи или меньшей их расчлененности. Отсюда следует ослабление (или даже снятие) некоторых дихотомий, значимых для общенародного языка.

1. Ослабление дихотомии «свободное vs. связанное значение». В функционально нагруженных участках древнеанглийского поэтического словаря (лексики, обозначающей «ключевые» эпические концепты) всякое значение оказывается в той или иной мере не «свободным», а «фразеологически связанным» в силу своей обусловленности формульной поэтической фразеологией, которая и выступает в этом случае как единственный способ существования лексической семантики.

2. Ослабление дихотомии «контекстуальное vs. системное значение». Контекстуальные «оттенки» семантики эпического слова, в силу самой своей природы ориентированного на традицию, укладываются в очерченные канонами пределы системных значимостей, а контекстуальные «отклонения» оказываются допустимыми лишь в той мере, в какой они откладываются на парадигматической оси поэтического языка как результат развития (неосознанного переосмысления) самой традиции.

3. Снятие дихотомии «коннотативное vs. денотативно-сигнификативное значение». Коннотативная сфера оказывается более весомой и менее обособленной в семантическом пространстве древнеанглийского поэтического слова. И не только потому, что эпическое слово обладает повышенной оценочностью, эмоциональностью и экспрессивностью в силу особого ценностного статуса изображаемой действительности. Поэтическая лексика, внедряясь в центральные темы эпической поэзии, формирует сильное концептуально-ассоциативное поле, способное заслонить исходные значения соответствующих слов. Полисемантизм такого рода предполагает сосуществование «первичного» и «вторичного» значений на совершенно иных основаниях, нежели в слове общенародного языка: контекст употребления подобных слов направлен не на различение отдельных смыслов, а скорее на оправдание их интеграции в эпическом повествовании.

Отношения между разными уровнями контекста, равно как и самый характер и число уровней, определяются в древнеанглийском поэтическом тексте особенностями художественного сознания эпохи. И если древнегерманский аллитерационный стих не может трактоваться как внешняя форма, данная во владение поэту, то и контекст аллитерационного стиха оказывается неотчлененным от более глубоких уровней, составленных из двусторонних (знаковых) единиц языка, т. е. синтаксического и нарративного контекста. Но отсюда следует также, что и синтаксический контекст не может рассматриваться безотносительно единиц аллитерационного стихосложения. «Слышимыми» и «значимыми» являются в древнеанглийском поэтическом тексте лишь те лексико-грамматические зависимости, которые укладываются в рамки поэтической строки (краткой или долгой).

Низшим видом синтаксического контекста, в котором формируется и актуализуется семантика древнеанглийского поэтического слова,

выступает краткая строка (КС) как минимальная единица эпического текста, сохраняющая основные признаки эпического повествования (нерасчлененность сочинения и воспроизведения). Границы кратких строк совпадают с границами ритмико-синтаксических формул, представляющих собой первичные номинативные «ячейки», внутри которых складывается семантическая специфика отдельных лексем. Изучение формульной сочетаемости древнеанглийского поэтического слова в пределах КС — это первое условие моделирования вербального концепта как компонента героической картины мира, разворачивающейся в эпическом повествовании.

Вторым уровнем синтаксического контекста, на котором слово может получать дополнительный смысл, выступает долгая строка (ДС) как совокупность двух неравнозначных нарративных единств — КС1 и КС2. Семантическая интерпретация формулы зависит от ее принадлежности к той или иной части ДС, чем определяется ее элементарная нарративная функция.

Иначе говоря, рассматриваемая «изнутри» («снизу») как минимальная содержательная единица текста КС предстает только как ритмико-синтаксическая формула, как элемент поэтической фразеологии (словаря как инвентаря единиц номинации). Если же посмотреть на нее «извне» («сверху»), с точки зрения движения повествования, КС оказывается специализированным членом наррации (КС1 или КС2), участвующим в построении более крупного текстуального единства (долгой строки) и выполняющим собственную семантическую функцию.

С точки зрения номинации долгая строка — это сумма двух КС, или последовательность равноценных формульных синтагм (Ф + Ф); с точки зрения наррации ДС — это сочленение двух неравноценных текстуальных единиц (КС1 + КС2), имеющих разную значимость для эпического повествования. Рассматриваемая как единица наррации (т. е. один из компонентов ДС), сама формула приобретает дополнительный смысл в тексте и обнаруживает далее органическую связь с художественным единством памятника.

Слово как член КС несет семантические отзвуки формульной системы (языковой парадигмы), включающей данное словосочетание, и остается в первую очередь единицей номинации. Слово как член ДС служит семантическим отголоском поэтического высказывания (речевого произведения) и обретает новую семантическую ценность как единица наррации по преимуществу. Таким образом, КС и ДС — это разноуровневые единицы синтаксического контекста, каждая из которых актуализует свой собственный, отдельный пласт в семантике древнеанглийского поэтического слова. Аллитерация как звуковой повтор внутри ДС связует и эмфатически выделяет то, что уже отчасти связано и выделено через дифференциацию КС1 и КС2.

Структурно-смысловый блок, или период (в иной терминологии — сверхфразовое единство), представляет собой третий, высший уро-

вень синтаксического контекста и вместе с тем — низшую единицу в композиционной организации памятника. Изучение семантической роли слова в составе формульных систем требует выхода за пределы собственно синтаксического контекста и обращения к жанрово-композиционным особенностям памятника, которые проливают новый свет на семантику формульных словосочетаний и их компонентов.

Представление об архаическом характере германского аллитерационного стиха, вытекающее из архаического характера авторского самосознания, позволяет дать новую трактовку семантическим взаимоотношениям древнеанглийских поэтических синонимов. Аллитерационный стих нивелирует денотативные различия близких по смыслу лексем, сложившиеся за пределами поэтического корпуса, и уравнивает их как средства воспроизводства героических ценностей. Вместе с тем поэтические синонимы получают в эпическом тексте новые коннотативные смыслы, приоритетные для эпической картины мира. Средством выражения этой новой эстетической информации служит метрическая дистрибуция синонимов, которая коренится в формульных основаниях поэтической речи.

Семантическая дифференциация синонимов, которая маркирует их метрической дифференциацией, отражает не столько саму по себе парадигму эпических ценностей, сколько синтагматическое построение текста, его нарративные стратегии. Распределение синонимов по акцентным вершинам обусловлено не их исконной лексической семантикой, а той семантической ролью, которую они способны сыграть в эпическом повествовании. Формально эта роль проявляется в закрепляемых за ними семантико-синтаксических функциях в составе краткой строки. Корреляции лексем с той или иной акцентной вершиной в долгой строке оказываются опосредованными ее корреляциями с тем или иным типом синтаксических конструкций в краткой строке.

Так, стратегии построения эпического повествования не дают оснований для разграничения значений имен с точки зрения материальных деталей жизненного уклада. Жилище в германском эпосе мыслится прежде всего не как сооружение, но как пространство жизненного обитания и оплот в борьбе. Эпическое повествование снимает оппозицию «род» — «вид» («жилище» — «дворец») в наименованиях *sele* и *heall*, синонимизируя их в значении «крепости (защиты)». Если смысл «крепость (защита)» способствует их интеграции с другими локативами, то семантическая оппозиция «предмет — сцена» служит их функциональной дифференциации в тексте. Реальность данной оппозиции как категории поэтического текста обнаруживается как в специализации указанных лексем на определенных синтаксических ролях, так и в закреплении этих ролей за определенными типами акцентных вершин в стихе. *Sele* — это *предмет* эпического повествования, *heall* — его *сцена*. *Sele* является необходимым и самостоятельным членом поэтического высказыва-

ния (субъектом и объектом глагольных словосочетаний), heall — его факультативным, подчиненным элементом (приименным предложным локативом). Sele — участник эпического действия, heall — его место (фон). «Предмет» повествования выводится стихом на более «сильные» вершины, а «фон» оттесняется на более «слабые»¹³.

Изучение распределения синонимических наименований моря по акцентным вершинам и синтаксическим конструкциям позволяет уточнить понятие семантической роли и проследить механизм отбора на нее отдельной лексемы. Как показывает материал «Беовульфа», лексема отбирается на «роль» в соответствии с возможностями своего семантического потенциала, но подвергается при этом ряду «запретов», связанных со стратегиями эпического повествования. Один и тот же концептуальный смысл получает разное преломление в наррации. Так, сема «активности», наличествующая у ряда слов в силу исходных значений (flod «поток», brim «прибой»), holm «бурное море», uð «волна»), по-разному осмысляется в эпической картине мира, что предопределяет их разное использование в номинативных структурах текста. Brim — это своенравная стихия, способная успокаиваться без вмешательства со стороны; flod — агрессивная, неуправляемая, безжалостная сила (эта трактовка поддерживается ассоциациями с библейским Потопом); holm бросает творческий вызов герою и приглашает к схватке, в которой он может потерпеть поражение, но может и доказать свое превосходство; uð никогда не ставится в центр рассказа и легко поддается внешнему воздействию. Соответственно flod и brim чаще претендуют на роль субъекта предикативной синтагмы, holm предпочитает роль объекта, а uð занимает главенствующее положение лишь в именных перифразах, в сфере раскрытия образа (в предикативных структурах «волна» обнаруживает склонность уходить на периферию высказывания, прятаться среди «декораций» эпической сцены). В этом нам видится цельность и обобщенность эпической картины мира, где повествователь не может занять позицию постороннего наблюдателя и «подсмотреть» детали, по своему желанию увидеть их крупным планом¹⁴.

Семантическая мотивированность древнеанглийского аллитерационного стихосложения обнаруживается не только на уровне *слова* (дифференциация лексико-грамматических разрядов и синонимических рядов в отношении к акцентным вершинам стиха, устойчивые аллитерационные лексические коллокации), но и на уровне смысловой организации *текста*. Изучение языкового наполнения «левой» и «правой» части долгой строки (КС1 и КС2) выявляет их семантическую специализацию. Деление долгой строки на две краткие имеет целью разделить в рассказе два разных смысловых пласта: КС1 — сфера идентификации, синтеза, образного фиксирования предметов и явлений; КС2 — сфера предикации, анализа, линейно-логического развертывания мысли. В формально-синтаксическом плане это отражается в тяготении финитных форм глагола к КС2, а образных именных пери-

фраз к КС1, ср.: ...byman hringdon, // guðsearo gumena; / garas stodon, // sætanna searo / samod ætgædere, // æscholt ufangræg (328–330) «...кольчуги звенели, // боевые доспехи мужей; / копья стояли, // моряков напряжение, / все вместе, // ясеневое дерево блестящее». (Здесь и далее все примеры взяты из «Беовульфа»¹⁵.) Перевод принадлежит автору статьи. Цифры в круглых скобках означают номера строк.

Семантической дифференциации КС1 и КС2 в плане глубинного синтаксиса наррации соответствует их акцентная дифференциация в плане предпочтения аллитерационных схем (только «ах» в КС2 и любая из трех возможных — «ах», «аа», «ха» — в КС1), ср. wuldres Wealdend / woroldare forgeaf (17) «славы Владыка / мирской успех даровал» и swa hune Geata bearn / godne ne tealde (2184) «что его, геатов потомка, / годным не считали». Причем акцентная «свобода» обнаруживается в сфере «синтеза» (т. е. в более цельных номинативных единицах, например приведенных именных перифразах wuldres Wealdend и Geata bearn), а акцентная «заданность» — в сфере «анализа» (глагольных сочетаниях). Таким образом, семантическая специализация КС не вытекает из свойств конкретного языкового материала, она должна трактоваться как отражение антиномических взаимоотношений слова и фразы, свойственных двучленному сложному имени (канонической модели КС) и воспроизводящих игру *созидания* и *данности*, так сказать, «соприродной» самому эпическому творчеству.

Нарративно-семантическая дифференциация кратких строк служит условием формирования долгой строки как отдельной структурной единицы стиха и поэтического синтаксиса. Средством обеспечения семантической связности соседних долгих строк выступает *эпическая вариация*, которая поддерживает внутреннюю семантическую цельность периода (иначе — сверхфразового единства, СФЕ) — минимального компонента композиции, связанного с эпическим *мотивом* как единицей содержательного уровня памятника. Изучение строения СФЕ в древнеанглийском поэтическом тексте по-новому освещает семантические особенности сложных номинативных единиц и закономерности их появления в тексте.

Эпическая вариация не сводима ни к повторной номинации предмета, ни к риторическому украшению стиля, она должна рассматриваться как способ создания особых структур в рассказе, основанных на дублировании синтаксических позиций предшествующего высказывания. Эти структуры завершают, обобщают, суммируют предшествующие им предикативные структуры — полноправные предложения. Их повторяемость в тексте не оставляет сомнения в том, что перед нами элемент поэтической формы, а не случайное соединение слов в краткой строке, ср.: Ðæt aefera wæs / æfter cenned, // geong in geardum (12–13) «У него наследник / после родился // юный в доме»; ...monig oft gesæt // rice to rune (171–172) «...многие часто усаживались, // знатные на совет»; ...streamas wundon, // sund wið sande (212–213) «...волны бились, море о песок»; hæfdon swurd nacod /

þa wit on sund reon, // heard on handa (539–540) «имели меч обнаженный, / когда мы в море плыли, // твердый в руке».

Эпическая вариация превращает динамику рассказа в статику картины и требует формирования сложных номинативных единиц, насыщенных коннотациями. Она связана с качественно иным восприятием времени (прошедшего и настоящего) в эпическом сознании. В высказывании-рассказе в КС2 («правая часть» долгой строки) содержится личная форма глагола и сообщаемый факт помещается во временную цепочку событий. Высказывание-образ в КС1 («левая часть» долгой строки) как бы фиксирует вневременной «слепок» с того же факта, выявляя его вечные идеальные черты. Словосочетание в КС1 объединяет обычно слова, принадлежащие одной тематической группе и гармонирующие друг с другом в эпической картине мира. Создаваемый ими образ напоминает образы гномических стихов, рисующих законы мироустройства: море должно вечно биться о сушу, юному наследнику подобает жить в родном доме, знатным людям надлежит собирать на совет, твердому мечу — пребывать в чьей-то крепкой руке, и т. д.

Построение древнеанглийского поэтического высказывания отчасти напоминает технику ткачества: рассказ, как утёк, ложится на основу, которая создает *фон* для дальнейшего рассказа. Движущееся повествование непрерывно сгущается, кристаллизуется в отмеченных двойной аллитерацией формульных именных сочетаниях, и последующий рассказ воспринимается именно на фоне этих сгущений.

Формульные словосочетания выступают как семантически и эстетически значимый компонент текста, не связанный исключительно с потребностями устной импровизации. Формула (система производимых по определенной модели словосочетаний) предстает как гибкое и подвижное знаковое образование, способное к варьированию в плане содержания и выражения. Сравните характеристику Гренделя с помощью вариантов единой формульной системы, фиксирующих кульминационные моменты его «биографии»: 1) при своем первом появлении в рассказе Грендель выступает как *feond on helle* (101) «враг в преисподней» (происхождение — так сказать, «выходец из преисподней»); 2) после победы над ним героя — как *feond on feþe* (970) «враг на пешем ходу» (спасающийся бегством, потерпевший поражение); 3) в рассказе героя о своей победе — как *feond on frætwum* (962) «враг во всей красе» (убитый и распростертый).

Устойчивость формульной системы принадлежит семантико-нарративному плану текста, а не абстрактной синтаксической «схеме» или «концепту», чем обеспечивается ее неосознанное переосмысление при переходе к новым культурным ценностям. Процесс перестройки художественного сознания после христианизации предстает как «растяжение» известных истин через варьирование формульных словосочетаний. В тексте формула приобретает вторичные функции, которые работают на раскрытие его эстетического предмета. Так,

сочетание *beornas on blancum* (856) «мужи на конях» применительно к датским воеводам указывает на привычное для знатных мужей положение, но его формульный вариант *eorlum on ende* (2021) «эрлам с краю» (буквально «в конце») сообщает рассказу Беовульфа о последнем пире у Хродгара зловещие ассоциации, предрекая потомкам Хродгара истребление (в том же рассказе появляется и предание об Ингельде, которому суждено возобновить войну с данами). Любопытно, что еще более близкий в звуковом и семантическом плане вариант той же формулы *eorlas on elne* (2816) «эрлы в силе» звучит далее иронической антитезой к словам умирающего Беовульфа о том, что все его племя «смела судьба» (*wyrd forsweor*): даже обладание героическими качествами (*ellen* «отвага, сила, подвиг») не спасает воина от участи любого смертного. Многозначность одного из компонентов словосочетания способна объединять два пласта в художественном замысле поэмы (героический и христианский): так, Гренделя настигает *swylt æfter synnum* «смерть после злодеяния» (совершенного убийства); вместе с тем та же фраза может быть истолкована как «смерть за грехи» (*synn* «распря, грех»).

В связи с этим можно утверждать, что ценность композита (и прежде всего композита с «субстантивным эпитетом») для древнеанглийского поэтического сообщения заключается, по-видимому, в том, что он способен выполнять текстообразующие функции. Древнеанглийский поэтический композит — это свернутое высказывание как способ хранения информации при передаче традиции. Будучи именем, он называет и отождествляет. Как сложное имя, он содержит в себе зародыш рассказа. Он приглашает к разворачиванию в сообщении и одновременно может выступать средством запечатления рассказа в образе. Объединяя две стороны эпического творчества (воспроизведение и сочинение), композит используется в тексте как арена взаимопревращений номинации и предикации, чем и объясняется его семантическая специфика.

Не случайно уже в первых трех строках «Беовульфа» присутствуют три именных композита, чередующихся с глагольными сочетаниями: *Hwæt, we Gar-Dena / in geardagum // ðeodcyniga / ðrum gefrunon, // hu þa æfelingas / ellen fremedon* (1–3). Здесь каждая из трех долгих строк представляет содержательное единство, которое отчасти дублируется и отчасти развивается в следующей строке: герои выведены на авансцену истории («Что ж, мы копьё-данов / в давние дни»), включены в традицию эпического рассказа («племя-конунгов / славу узнали», представлены как действующие лица повествования («как те витязи / подвиги совершали»). Эпитеты *gar* «копьё» и *ðeod* «племя» намекают на те признаки героев, которые далее в явном виде выражаются в глагольных объектах (именах со значением «слава, сила, подвиги») и разворачиваются в реальные предикаты текста. Эпический поэт переходит от имени к высказыванию через актуализацию ассоциативного поля имени, знаком которого выступает субстантивный эпитет.

Так, поэт рассказывает о посещении Гренделем дворца Хеорот, опираясь на композиты: *scaedu-genga* «во-тьме-ходящий» приходит ночью (703), *sup(или man)-scafa* «зло-вредитель» собирается заманить во тьму кого-либо из воинов (707, 712), *bealo-hydig* «зло-замышляющий» врывается разъяренным (723), *ellor-gast* «дух-изгнанник», потерпев поражение, отправляется в дальний путь (807). Последовательная смена имен в тексте одновременно и движет вперед сюжет, и отражает разные стороны образа чудовища, причем имя и глагол оказываются как бы взаимобратимыми: тем, чем герой стал (и это воплощено в его имени), он беспрерывно снова и снова становится в повествовании и таковым остается в памяти читателя. Подобная трактовка композита позволяет объяснить некоторые специфические словоупотребления в «Беовульфе»: так, композит *hrof-sele* (1515) бессмыслен с точки зрения уточнения разновидностей дворца (всякий дворец имеет крышу и дает кров). Однако композит получает смысл при развертывании его в высказывание: опасный поток не мог повредить Беовульфу потому, что дворец дал ему кров, защиту (*for hrof-sele* «из-за крова-дворца», т. е. «потому что дворец дал ему кров»).

Формирование семантики эпического слова протекло в тесной связи с номинативно-нарративными решениями поколений поэтов. Семантическая интерпретация древнеанглийского поэтического слова требует выявления художественно-смысловых стратегий в развитии повествования (в плане макро- и микрокомпозиции текста), ибо сама семантика этого слова нарративна по преимуществу.

Подведем итоги. Ключом к пониманию семантической специфики древнеанглийского поэтического слова является *специфическая организация знаковых систем поэтического языка*. Ее наиболее яркой особенностью выступают гипертрофия и особый характер асимметричного дуализма как основной черты языкового знака (синонимии и многозначности). Традиционно эти особенности относились к области стиля, их связывали с потребностями аллитерации и внешними риторическими приемами наррации. На самом деле связь их с наррацией лежит глубже, нежели ее поверхностная (звуковая и формальная) организация, оказываясь производной от смысловых стратегий повествования.

В организации древнеанглийского поэтического текста как связанного повествования на заданную тему принимают участие разнородные структуры: 1) фонеморфологическая организация поэтической строки; 2) семантико-синтаксическая организация высказывания; 3) жанрово-композиционная организация текста. Все три вида зависимости имеют нарративную природу и могут рассматриваться как взаимосвязанные параметры участия слова в развитии повествования.

Взаимобусловленность лексической семантики и семантики наррации обнаруживается уже на самом первом, фонеморфологическом уровне текста и создается посредством ранжирования слов

по акцентной и звуковой выделенности корневых морфем с учетом их статуса (лексико-грамматического в языке и концептуального в картине мира). Семантические корни аллитерации не позволяют трактовать эту обусловленность в чисто фонетическом плане: одно лишь сходство звучания оказывается недостаточным для участия лексем в аллитерационных коллокациях; столь же недостаточной оказывается для сопряжения слов в пределах краткой строки (минимальной единицы аллитерационного стиха) и реальная близость референтов. Так, «дворец» как компонент эпической наррации отторгает от себя эпитет *heah* «высокий» в том случае, если обозначается лексемой *heall*, и, напротив, допускает этот эпитет при обозначении лексемой *sele*.

Акцентное ранжирование слов стихом в значительной мере определяется их семантической ролью в повествовании, что проявляется в способности принимать ту или иную синтаксическую функцию в составе минимальной единицы повествования — краткой строки. Иерархизация лексем аллитерационным стихом выступает лишь наиболее очевидным, «приметным» маркером зависимости слова от поэтологических структур текста. Корни ее следует искать на более «глубоких» уровнях поэтического текста, в первую очередь — на уровне лексико-синтаксической организации высказывания в его соотносительности со смысловым устройством долгой и краткой строк как компонентов поэтической наррации.

Путь к постижению сопряжения слов стихом лежит не через изучение их фонетического или референциального «средства», но через выявление той дополнительной «эстетической информации», которая и обусловила закрепление данной лексемы в поэтическом словаре (независимо от степени ее архаичности и возможности употребления также в прозе). Природа данной эстетической информации, тесно связанной с механизмом аллитерационного стихосложения, обусловила потребность в богатой синонимике, отчего на фонеморфологическом уровне анализа в центре внимания исследователя оказывается проблема синонимии. При этом обнаруживается, что в пределах данного уровня проблема не может найти своего окончательного разрешения: решение вопроса о семантической дифференциации синонимов требует выхода на следующий, синтаксический, уровень — уровень организации высказывания, которое базировалось на устойчивых (формульных) словосочетаниях. Именно они, формируя поэтическую строку, выступали как минимальные «операциональные» единицы в процессе стихотворчества и влияли на развитие самого аллитерационного стиха. Вместе с тем в тексте формулы не только оказываются удобными номинативными «заготовками» для наррации, но и обнаруживают свой творческий потенциал.

Семантическая роль слова в повествовании оказывается теснейшим образом связанной со стратегиями наррации в древнеанглийском поэтическом творчестве. Эти стратегии имеют свои основания как в те-

матике памятников, так и в типе художественного сознания эпохи. Древнеанглийская поэзия представляет собой по преимуществу художественную форму осознания истории. Эта тематическая особенность определяет отношение к описываемым событиям: они рисуются одновременно как развивающиеся во времени и как принадлежащие безвозвратно ушедшему героическому прошлому, застывшему в идеальных статических образах. Отсюда смысловая специализация разных типов кратких строк (проявляющаяся в их заполнении разными лексико-синтаксическими структурами), равно как и развитие приема «эпической вариации», посредством которой *сказываемое* (означиваемое предикативными конструкциями с личной формой глагола) превращается в *сказанное* (означенное сложным именем).

Взаимодействие лексической семантики и структурно-семантической организации повествования обнаруживается прежде всего в столь известном стилистическом приеме, как эпическая вариация. Подобная постановка вопроса выдвигает на передний план такой важный компонент словаря, как поэтические композиты. Их семантическое толкование требует учета текстообразующей функции, которая проявляется в способности к выражению фразовой предикации и номинации. Их специфика — способность выступать «свернутыми» аналогами высказываний — коренится не только в отношении к эпическому прошлому, но и в неосознанном характере литературного творчества.

Автор, который не является до конца автором создаваемого произведения, но добросовестно воспроизводит традицию, ощущая себя лишь звеном в цепи поколений сказителей или писцов, стремится опереться в своем творчестве на некие готовые номинативные единицы, которые, однако, он волен отчасти трансформировать, не нарушая их тождества самим себе. Историческая жизнь формульных единиц поэтической речи (композитов или словосочетаний) напоминает историческую жизнь слов как вообще единиц языка: каждое новое воспроизведение, сопровождаясь содержательно-формальным варьированием, не нарушает их актуального тождества самим себе, однако постепенное накопление изменений ведет к их неосознанному переосмыслению.

Устойчивость и вариативность как две необходимые и взаимосвязанные стороны древнеанглийской поэтической номинации (как в синтагматике, так и в парадигматике) вытекают, таким образом, из архаического типа авторского самосознания, первоначально связанного с устной импровизацией текста, но в силу ориентации на традицию (а не на новаторство, как в поэзии нового времени) сохранившегося и в эпоху возникновения письменности. Следует подчеркнуть, что ориентация на традицию не смогла воспрепятствовать применению аллитерационного стихосложения для передачи новых христианских сюжетов именно в силу приспособленности его основных номинативных единиц (формульных систем) к варьированию. Вместе с тем именно устойчивость этих систем обусловила оригиналь-

ную «германскую» (героическую) трактовку библейских тем в древнеанглийских поэтических памятниках.

В конечном итоге подобная взаимозависимость слова и текста способствует не только лучшей сохранности последнего в условиях нерасчлененности сочинения и воспроизведения, но и лучшей сохранности исконной поэтической традиции в условиях смены духовных ценностей (христианизации), т. е. ее более гибкому приспособлению к новой культурной парадигме. Древнеанглийское поэтическое слово отражает и концентрирует в себе традиционные ценности эпического мира и наиболее типические черты эпического повествования. В руках искусного поэта оно оказывается также лабильным инструментом введения в текст нового художественного замысла, даже если этот замысел и не представляет собой заранее сформулированной и осознанно проводимой установки.

¹ *Schabram H.* Etymologie und Kontextanalyse in der altenglischen Semantik // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*. 1970. Bd. 84, № 1. S. 233–253.

² *Стеблин-Каменский М. И.* Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.

³ *Смирницкая О. А.* Стих и язык древнегерманской поэзии: В 2 т. М., 1994. С. 427.

⁴ *Гвоздецкая Н. Ю.* О природе древнеанглийского поэтического слова (Эпическое слово на стыке культурных парадигм) // *Вестник Ивановского государственного университета. Серия филология*. Иваново, 2000. Вып. 1. С. 74–78.

⁵ *Magoun F. P.* The Oral-Formulaic Character of Anglo-Saxon Narrative Poetry // *Speculum*. 1953. Vol. 28. P. 446–467.

⁶ *Смирницкая О. А.* Указ. соч. С. 227–274.

⁷ *Leisi E.* Aufschlussreiche altenglische Wortinhalte // *Sprache — Schlüssel zur Welt*. Düsseldorf, 1959. S. 309–317; *Schücking L. L.* Untersuchungen zur Bedeutungslehre der angelsächsischen Dichtersprache. Heidelberg, 1915.

⁸ *Феоктистова Н. В.* Формирование семантической структуры отвлеченного имени (на материале древнеанглийского языка). Л., 1984.

⁹ *Стеблин-Каменский М. И.* Субстантивный эпитет в древнеанглийской поэзии (К вопросу о развитии древнеанглийского поэтического стиля) // *Стеблин-Каменский М. И.* Историческая поэтика. Л., 1978. С. 4–39.

¹⁰ Там же. С. 33.

¹¹ *Смирницкая О. А.* О многозначности эпического текста // *Эпос Северной Европы: Пути эволюции*. М., 1989. С. 158–162.

¹² Там же.

¹³ *Гвоздецкая Н. Ю.* Язык и стиль древнеанглийской поэзии (проблемы поэтической номинации). Иваново, 1995; *Gvozdetckaja N. Ju.* *Sele and heall: a semantic study of Old English poetic synonymics* // *Berkovsbyk. To honour of Professor Valery Berkov*. М., 1996. P. 99–105.

¹⁴ *Гвоздецкая Н. Ю.* Язык и стиль древнеанглийской поэзии. С. 118–134.

¹⁵ *Beowulf* / Ed. M. Swanton. Manchester, 1978. Repr. 1990.



Е. А. Гуревич (Москва)

«ПРЯДЬ О ТОРСТЕЙНЕ МОРОЗ-ПО-КОЖЕ»: ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТА И ЖАНРА

Хорошо известно, что в основе фабулы «прядей об исландцах», действие которых происходит в Норвегии, как правило, лежит конфликт между главным героем и его могущественным антагонистом — конунгом или замещающим его знатым человеком. Джозеф Харрис¹ называет этот центральный элемент композиции прядей *Отчуждением* (Alienation) и утверждает, что, как и последующее *Примирение* (Reconciliation), он может быть обнаружен во всех прядях об исландцах на чужбине — так называемых *útanferðar þættir* («прядях о поездках из страны»). Вместе эти структурные элементы составляют ядро пряди, образуя пару, по значимости подобную той, которая была выделена В. Я. Проппом для сказки, где базовые функции VIII. *Вредительство* / VIIIa. *Недостача* и XIX. *Ликвидация беды или недостачи* присутствуют во всех без исключения волшебных сказках².

Оставляя в стороне вопрос о том, насколько точно подобные категории характеризуют взаимоотношения главных персонажей этих рассказов, приходится заметить, что предложенная Харрисом схема строения центральной части повествования прядей (*Отчуждение* / *Примирение*) носит слишком общий характер, чтобы ее можно было применять в качестве действенного инструмента исследования. Спору нет: попытка выделения даже самой общей структурной схемы, лежащей в основании всех без исключения произведений данного типа, несомненно, оправдана, поскольку только таким образом и удастся очертить границы довольно значительной группы рассказов (*útanferðar þættir*), в композиции которых наблюдается определенное сходство. Однако полученная в результате подобной процедуры универсальная схема совершенно недостаточна для того, чтобы, применяя ее, анализировать входящие в эту группу тексты. Так, очевидно, что с ее помощью невозможно выявить — если только они не бросаются в глаза — ни наличествующие в этих текстах общие мо-

дели, ни совпадающие мотивы, ни повторяющиеся детали — словом, ничего из тех разнообразных и разноплановых типов связей, которые объединяют далеко не все, но лишь отдельные входящие сюда истории.

Между тем у нас имеются все основания предполагать присутствие в прядях и таких «неуниверсальных» схождения, способных пролить свет на специфику строения и жанра этих рассказов. Например, обращает на себя внимание тот факт, что от способа инициации конфликта главных персонажей во многом зависит и весь дальнейший ход повествования. Те или иные стандартные проступки протагонистов-исландцев (или, если отчуждение провоцируется другой стороной, — недружественные действия их могущественных оппонентов) обыкновенно влекут за собой известные сюжетные последствия, тем самым предопределяя и прочие структурные особенности рассказа. Уже из этого можно заключить, что «пряди о поездках из страны» не представляют собой вполне монолитной группы. При ближайшем рассмотрении выясняется, что они распадаются на ряд подвидов, каждый из которых демонстрирует присущие лишь ему черты. Об особенностях преломления одного из таких структурных типов в конкретном произведении и пойдет речь в дальнейшем.

«Прядь о Торстейне Мороз-по-Коже» (*Þorsteins þáttur skelks*)³ принадлежит к весьма небольшой группе историй, в которых «отчуждение» между исландцем и правителем Норвегии возникает вследствие нарушения протагонистом королевского запрета. Среди характерных примет рассказов этого типа — христианская тематика и то, что в каждом из них имеет место встреча героя со сверхъестественным. Кроме того, у прядей этого типа наблюдается сходная композиция. Их общая структурная особенность — «рамочная» конструкция, в которой отчет об испытаниях, выпавших на долю героя в результате того, что он посмел ослушаться государя, неизменно представляет собой автономное, «вложенное» повествование, а рассказ, посвященный взаимоотношениям исландца с конунгом, — его обрамление.

К числу непрременных «параметров» обрамленного эпизода можно отнести следующие: а) место действия, отличное от того, где разворачиваются события главного рассказа (так, в другом произведении этой группы, «Пряди об Эгиле сыне Халля с Побережья»⁴, это — Гаутланд, тогда как основное действие происходит в Норвегии и Дании; в «Пряди о Торстейне Любопытном»⁵ — некие неведомые земли, в которые герой отправляется из Норвегии и из которых он затем возвращается восвояси; в «Пряди о Торстейне Мороз-по-Коже», где перемещения центрального персонажа ограничены пределами усадьбы, это — отхожее место vs. жилище норвежского бонда); б) состав персонажей, целиком или частично несовпадающий с тем, с которым герой взаимодействует в главном рассказе (в только что упомянутой «Пряди об Эгиле» это — ярл Вальгаут и его приближенные; в истории Торстейна Любопытного — отшельник и змей — страж

золотой роши; в пряди о Торстейне — черт); в) враждебный характер взаимодействия по крайней мере с частью персонажей обрамленного эпизода: в каждой из названных здесь историй жизнь героя подвергается опасности; г) поведение исландца и поступки, которые он совершает в рамках «обрамленного» эпизода, неизбежно приводят к благотворной перемене в его судьбе, так что по возвращении наградой ему становится расположение или даже особая милость государя.

В остальном же «Прядь о Торстейне Мороз-по-Коже» демонстрирует ряд особенностей, заставляющих более пристально исследовать ее жанровый «контекст».

Прежде всего мы не найдем здесь обычной для подобных рассказов схемы развертывания действия: *нарушение запрета* → *конфликт* → *выполнение трудного задания* → *разрешение конфликта*. События в этой пряди развиваются по несколько иному сценарию. Нарушение героем королевского запрета влечет за собой немедленное воздаяние — протагонист-исландец попадает в опасную ситуацию, из которой ему удастся выйти невредимым исключительно благодаря собственной смекалке и храбрости: именно эти качества позволяют ему добиться своевременного спасительного вмешательства христианского короля, помогающего ему избежать гибели. Они же дают герою возможность заслужить расположение этого правителя — несмотря на проявленное исландцем своеволие, конунг, оценив по достоинству его бесстрашие, находчивость и веру, охотно прощает нарушителя и делает его своим дружинником. Проступок главного персонажа имеет, таким образом, не вполне «программируемые» последствия: вместо традиционного конфликта исландца с государем, искупительного испытания, через которое проходит герой, и его конечного примирения с правителем он влечет за собой немедленную расплату за содеянное (по сути дела то же испытание) и избавление, которое приносит герою вмешательство конунга.

Напомним содержание пряди. Исландец по имени Торстейн был в числе тех, кто сопровождал Олава Трюггвасона в его поездке по пирам. Остановившись в одной усадьбе, конунг перед отходом ко сну распорядился, чтобы ночью никто из его людей не смел выходить один в отхожее место. В нарушение королевского запрета Торстейн, пробудившись среди ночи, решает не тревожить крепко спящего соседа и отправляется в нужное место без сопровождения. Тут-то и выясняется, что конунг не зря предостерегал своих воинов. В отхожем месте исландец встречается с чертом — неким Торкелем Тошним, павшим в легендарной «битве народов» вместе с датским конунгом Харальдом Бозубом (таким образом, *rúki* — «черт» по происхождению оказывается курганным жителем, в связи с чем в тексте пряди различные наименования нечистого — *rúki*, *dólgri*, *fjándi*, *skelmir*, *drysjildjöfull* — чередуются со словом, обозначающим привидение или «живого мертвеца» — *draugr*)⁶. Вступив в беседу с вы-

ходцем из преисподней, исландец, дабы протянуть время, расспрашивает его, кто из ее обитателей лучше всех, а кто, напротив, хуже всех переносит адские муки. Оказывается, что наибольшее мужество проявляет величайший из скандинавских героев — Сигурд Убийца Дракона Фафнира, а всех малодушнее ведет себя датский витязь Старкад Старый, чьи несмолкаемые вопли не дают покоя бесам.

Между тем из текста пряди остается не до конца понятным, на какое наказание обречен на том свете Сигурд Убийца Дракона Фафнира: нельзя даже исключить, что в единственный сохранившийся список этого рассказа в «Книге с Плоского Острова» (*Flateyarþók*) вкралась ошибка. Торстейн спрашивает у черта, какую муку терпит Сигурд, и слышит в ответ, что тот «топит пылающую жаром печь» (*Hann kyndir ofn brennanda*). Исландцу это наказание представляется не таким уж суровым, однако посланец ада с ним не соглашается: «*Ekki þykir mér það svo mikil þísl, segir Þorsteinn. 'Eigi er það þó', kvað þúki, 'því að hann er sjálfur kyndarinn'. 'Mikið er það þá', kvað Þorsteinn*»⁷. («„Мне это не кажется слишком большой мукой“, — говорит Торстейн. „И все же это не так, — сказал черт, — потому что истопник — это он сам“. „Тогда это немало“, — сказал Торстейн».) Остается неясным, почему черт считает наказание топящего печь Сигурда весьма суровым, главное же: совершенно непонятно, почему аргумент, приведенный посланцем ада («потому что истопник — это он сам»), оказался достаточным для того, чтобы легко переубедить собеседника и заставить последнего сразу изменить свое мнение о тяжести загробной муки Сигурда.

Дабы прояснить текст и устранить очевидную неувязку, М. И. Стеблин-Каменский, переводчик пряди на русский язык, несколько отступает от оригинала: «„Ну это уж не такая мука“, — говорит Торстейн. „Да, конечно, — сказал черт. — Ведь он сам топит“. „Все же это большое дело“, — сказал Торстейн...»⁸ Вследствие внесенной поправки (черт, как видим, уже не разубеждает исландца, но, напротив, соглашается с ним!) у читателя складывается твердое впечатление, что загробные страдания Сигурда несравненно легче участи другого героя — Старкада.

Подобная интерпретация, казалось бы, находит надежную опору во всем, что нам известно о личных качествах, традиционно приписываемых каждому из этих героев древности. В отличие от безупречного нравственно и физически, идеального богатыря, каким неизменно изображается Сигурд, чей светлый образ ничуть не померк, даже будучи поставлен рядом с героями «нового времени» — христианскими конунгами-миссионерами (о чем, например, свидетельствует помещенная в том же собрании королевских саг, что и рассказ о Торстейне, «Прядь о Норна-Гесте»), предатель и злодей Старкад, ведущий свой род от великанов, и сам — безобразный клыкастый великан, представлялся фигурой мрачной и способной внушать отвращение и ненависть. Поэтому кажется естественным, что и в аду,

на который оба этих героя были обречены как язычники, им могла быть уготована разная участь. Ведь преступления Сигурда исчерпывались тем, что он не был христианином, следовательно, и расплата его могла быть не столь суровой, как кара Старкада, которому вдобавок приходилось держать ответ за свои дурные дела. Поскольку же Торстейна в первую очередь интересовал вопрос, «кто лучше всех» и «кто хуже всех терпит адскую муку», то опять-таки совершенно естественно, что Сигурд и в этом должен был одержать верх над Старкадом, подобно тому как в другой истории («Прядь о Норна-Гесте») он одним своим видом обратил его в позорное бегство и затем, догнав, выбил его страшные клыки⁹.

Возможно, однако, и весьма отличное прочтение этого неясного места, которого, в частности, придерживаются переводчики «Пряди о Торстейне Мороз-по-Коже» на другие языки. Так, согласно новейшему и самому полному англоязычному переводу прядей и «саг об исландцах», Сигурд вынужден исполнять роль не только «истопника», но еще и «топлива» для разжигаемой им печи, иными словами, оказывается обреченным на то, чтобы сжигать в ней самого себя. Это позволяет объяснить тяжесть страданий, выпавших на долю героя, и соответственно подчеркнуть проявляемую им стойкость (ср.: «‘What kind of torment does he suffer?’ ‘He kindles the oven,’ answered the ghost. ‘That doesn’t strike me as much of a torment,’ said Thorstein. ‘Oh yes it is,’ replied the demon, ‘for he is also the kindling!’ ‘There is something in that then,’ Thorstein said»). Перевод А. Максвелла)¹⁰. Аналогичную интерпретацию этот обмен репликами получает и в переводе пряди на датский язык: «Hvad pines han med?» «Han fyger i en brændende ovn», sagde genfærdet. «Det forekommer mig ikke at være en særlig stor pine», siger Thorstein. «Det er det nu alligevel», sagde djævelen, «for han er selv brændet», «Så er den stor», sagde Thorstein...»¹¹ Подобная интерпретация предполагает конъектуру и базируется на допущении, что переписчик по ошибке употребил неверное слово. Что же касается самого этого слова, то исландское *kundarinn* «тот, кто зажигает», существительное мужского рода в определенной форме с суффиксом *nomen agentis* -ari, заведомо не допускает никакого иного толкования. И тем не менее только произведенная в процитированных переводах замена субъекта действия объектом способна, во-первых, устранить отмеченные несообразности в диалоге, а во-вторых, что самое существенное, восстановить утраченный параллелизм двух рядов высказываний, относящихся к обсуждаемым персонажами пряди эпическим героям. В самом деле: подобно тому, как Торстейн, до тех пор пока он не получает дополнительные разъяснения от черта, в силу неполноты первоначального сообщения, сделанного его собеседником, не способен верно оценить наказание Сигурда, он по той же причине ошибается и насчет тяжести страданий Старкада (ср. диалог, посвященный этому герою: «„Какую же это муку он так плохо терпит? Ведь он всегда был здо-

ровущий, как рассказывают“. — „Он весь по циклолотки в огне“. — „Ну это не такая уж великая мука, — сказал Торстейн, — для такого героя, как он“. — „Не скажи, — отвечало привидение. — Ведь у него торчат из огня одни ступни“. — „Да, это великая мука“, — сказал Торстейн...») ¹². Как видим, при условии внесенного исправления ситуация и в том, и в другом случае получает поистине анекдотическое разрешение (забегая вперед, заметим, что жанр, к которому более всего тяготеет центральный эпизод пряди, — встреча исландца с чертом, это анекдот): и там, и там положение исправляет неожиданная и яркая деталь, придающая совершенно иной смысл предшествующей реплике оппонента.

Узнав, что ад постоянно оглашается отчаянными воплями Старкада, Торстейн (как он затем объяснит свое поведение Олаву Трюгтвасону) в расчете на то, что крики нечистого заставят конунга пробудиться и поспешить ему на помощь, просит черта «повопить, как он». Бесенок соглашается и, побуждаемый исландцем, издает ему в угоду три пронзительных вопля, один ужаснее другого, причем с каждым разом пересаживается поближе к Торстейну с явным намерением утащить его в преисподнюю. От последнего, самого страшного, вопля нашему герою «стало невмоготу», и он упал без чувств, однако в тот же момент зазвонил колокол, при звуке которого черт провалился сквозь пол, так что еще «долго был слышен гул от него внизу в земле». Утром в ответ на недовольный вопрос Олава, не выходил ли кто ночью один в отхожее место, Торстейн повинился в том, что нарушил его волю. У конунга это не вызвало гнева: его поступок не причинил «большого вреда», однако он подтвердил правоту тех, кто говорит, что исландцы «очень строптивы». Тогда Торстейн поведал о том, что с ним произошло. Он утверждал, что не испугался криков, которые издавал нечистый, поскольку ему вообще неизвестно, что такое страх, однако все же признался, что от последнего вопля черта у него пробежал мороз по коже (*skelkr*). Отсюда — прозвище, данное ему конунгом.

Принадлежность рассматриваемой истории к «прядям о поездках из страны» не требует доказательств — заезжий исландец, с честью выдержав выпавшее на его долю нелегкое испытание и перехитрив самого черта, завоевывает уважение конунга и становится его приближенным (как явствует из заключения, Торстейн после этого случая навсегда остался с Олавом Трюгтвасоном и погиб на Великом Змее вместе с другими его воинами). Перед нами — один из многочисленных рассказов, прославляющих бесстрашие и находчивость исландцев, сумевших своими силами добиться высокого положения в Норвегии.

Тем не менее сказанное не мешает одновременно видеть в «Пряди о Торстейне Мороз-по-Коже» христианскую легенду о чудесном спасении героя конунгом-миссионером ¹³. И хотя, казалось бы, Олав Трюгтвасон не совершает в этом рассказе ничего из ряда вон выходящего, кроме того, что он предвидит возможность встречи с нечис-

той силой, подстерегающей его людей в отхожем месте, во всяком случае — ничего такого, что требовало бы именно его вмешательства (ударить в церковный колокол, чтобы прогнать беса, мог, разумеется, кто угодно, вовсе не обязательно король-креститель, окруженный в глазах исландцев ореолом святости), Торстейн был обязан своим избавлением исключительно ему¹⁴. Ведь при всей эффективности «самозащиты», выстроенной героем пряди, хитрости, к которым он прибегал, общаясь с чертом, были направлены лишь на то, чтобы протянуть время и разбудить конунга, — исландец от начала и до конца связывал свое спасение только с той помощью, которая должна была прийти от Олава. И его упования не были напрасны: помощь действительно подоспела, причем в тот самый момент, когда черт, приблизившись, наконец, к своей жертве, уже готов был схватить ее и утащить в ад. В этом своем качестве — легенды о чудесном спасении или содействии, оказанном герою святым государем, — «Прядь о Торстейне Мороз-по-Коже» может быть поставлена в один ряд с другими рассказами христианского содержания, в том числе и с теми, в которых, как и в нашей истории, повествуется о последствиях нарушенного героем-исландцем королевского запрета.

Впрочем, явно недостаточно связывать прядь о Торстейне лишь с этой традицией. Подобно тому как христианские представления о загробном мире сливаются или причудливо переплетаются в ней с языческой верой в живых мертвецов (как уже отмечалось, посланцем ада, бесом здесь оказывается выходец из «мира людей» — павший в битве воин!), рассказ об общении исландца с чертом не может рассматриваться отдельно от других образцов несомненно исконного и, по всей видимости, весьма старинного жанра — неоднократно описываемых в древнеисландской литературе словесных поединков героев со сверхъестественными существами. Тем более что и в этих столкновениях (вспомним, например, эддические состязания в мудрости или не раз изображаемые встречи с великанами, в ходе которых происходил обмен поэтическими «выпадами»)¹⁵, и в пряди о Торстейне в разговоре-поединке с представителем мира иного на карту была поставлена жизнь одного из его участников. Среди известных произведений этого типа можно найти и такие, в которых словесное состязание противников также принимает форму выпрашивания оппонента, причем расспросы преследуют те же самые цели, что и в рассматриваемой истории, — перехитрить собеседника и протянуть время до определенного момента, обеспечив тем самым поражение врага и собственную победу. В эддических «Речах Альвиса» Тор, вынуждая явившегося за его дочерью карлика сообщать ему сведения о том, как что зовется в «разных мирах», намеренно доводит разговор до рассвета, когда застигнутый лучами солнца непрощенный ночной гость из «подземелья» превращается в камень¹⁶. Беседе нашего героя с чертом сопровождают, таким образом, не только отблески адского пламени и устрашающие звуки преисподней, но и

не менее мрачные реминисценции отчетов о других приключениях подобного рода, инициаторами которых также были незваные выходцы из иных «пределов», с той лишь разницей, что они имели место задолго до *sipaskipti* («смены обычаев») — принятия христианства.

Между тем выше был назван еще один жанр, к которому анализируемая история может быть отнесена ничуть не с меньшим основанием. Этот жанр — анекдот. Уже приходилось упоминать о характерном именно для анекдота строении диалогов главных действующих лиц, обсуждающих адские муки грешников — героев скандинавской древности. Однако анекдотическое решение, по-видимому, получает и вся ситуация столкновения Торстейна с чертом. И не только потому, что герою удается без особого труда перехитрить нечистого. Как ни трудно проникнуть в то, что представлялось «комическим» или «трагикомическим» в далекой от нас культурной традиции, особа и поведение явившегося исландцу беса, как предполагается, изображены в пряди не без юмора¹⁷. Начать с того, что несомненно снижен самый образ собеседника исландца. Визитером из преисподней оказывается, собственно, не черт, но *drysilðjöfull* «ничтожный дьяволенок» (как он сам аттестует себя и подобных себе служителей ада!), *fjandi jafnlíttill* «маленький бесенок», *eigi meiri rúki* «чертенюк» (каким он видится герою рассказа). Поступки и повадки этого «мелкого беса», вероятно, также были способны вызывать не только страх, но и смех, например то, с какой готовностью он всякий раз спешил удовлетворить любопытство своей предполагаемой жертвы и в ответ на просьбу Торстейна «немного повить, как Старкад» послушно и со старанием завывал, широко разевая пасть и выкатывая глаза от натуги. Придавать комизм рассказу должно было, кроме того, и место, где произошло явление беса, и, наконец, то обстоятельство, что обратный путь в ад нечистый был вынужден проделать прямоком через яму с нечистотами, в которую он провалился сквозь пол нужника с первыми звуками колокола. Снижение образа черта и вообще смеховая трактовка ужасного с целью сделать его переносимым, как известно, характерны для всей средневековой литературы¹⁸.

Надо полагать, что из взаимодействия этих трех, в самых общих чертах обрисованных здесь жанровых источников и возник тот не имеющий аналогий «сплав», который заставляет видеть в «Пряди о Торстейне Мороз-по-Коже» произведение, не исчерпывающееся его принадлежностью к рассказам, прославляющим храбрых и находчивых исландцев, вступающих в столкновение с правителями Норвегии.

¹ Harris J. C. Genre and Narrative Structure in Some *Íslendinga Þættir* // Scandinavian Studies. 1972. Vol. 44. P. 7.

² *Pronn B. Я.* Морфология сказки. Изд. 2-е. М., 1969. С. 26, 33–38, 51–52.

³ *Þorsteins þáttur skelks* // *Íslendinga sögur og þættir*. I–III / Ed. Bragi Halldórsson et al. (Svart á hvítu). Reykjavík, 1987. III. Bls. 2291–2293.

⁴ *Egils þáttur Síðu-Hallssonar* // *Íslendinga sögur og þættir*. III. Bls. 2108–2114.

- ⁵ Þorsteins þáttur forvitna // Íslendinga sögur og þættir. III. Bls. 2284–2285.
- ⁶ О смешении языческих и христианских представлений о загробном мире в этой пряди см.: Гуревич А. Я. «Прядь о Торстейне Мороз-по-коже», загробный мир и исландский юмор // Скандинавский сборник. Таллин, 1979. Т. XXIV. С. 125–131.
- ⁷ Íslendinga sögur og þættir. III. Bls. 2291.
- ⁸ Исландские саги / Под ред. О. А. Смирницкой. СПб., 1999. Т. II. С. 459.
- ⁹ Norma-Gests þáttur // Fornaldar sögur norðurlanda / Ed. Guðni Jónsson. Akureyri, 1954. Bd. I. Bls. 321–324.
- ¹⁰ The Complete Sagas of Icelanders / Ed. Viðar Hreinsson et al. Reykjavik, 1995. Vol. I. P. 395.
- ¹¹ Tyve Totter fra sagaerne om de norske konger / Oversættelser, indledning og noter M. L. Rønsholdt. København, 1986. S. 47.
- ¹² Исландские саги. Т. II. С. 459.
- ¹³ Ср.: Lindow J. Þorsteins þáttur skelks and verisimilitude of supernatural experience in saga literature // Structure and Meaning in Old Norse Literature. New Approaches to Textual Analysis and Literary Criticism / Ed. J. Lindow, L. Lönnroth, G. W. Weber. Odense, 1986. P. 264–280; Rowe E. A. Cultural Paternity in the Flateyjarbók Óláfs saga Tryggvasonar // Alvissmál. 1998. Nr. 8. S. 3–28.
- ¹⁴ Ср.: Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 126. В противоположность высказанной здесь точке зрения автор статьи придерживается того мнения, что данная прядь — «это рассказ не о том, “как король прогнал черта”, а о том, “как Торстейн перехитрил черта и не испугался его”». Как я пытаюсь показать, одно не исключало другого.
- ¹⁵ Об одном из таких столкновений — разговоре великанши с Браги — см.: Гуревич Е. А., Матюшина И. Г. Поэзия скальдов. М., 2000. С. 45–49.
- ¹⁶ О «Речах Альвиса» см.: Klingenberg H. Alvissmál: Das Lied vom überweisen Zwerg // Germanisch-romanische Monatsschrift. 1967. Bd. 17. N 2. S. 113–142.
- ¹⁷ См.: Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 129–131. Дж. Харрис называет эту прядь «фарсом»; см.: Harris J. Theme and Genre in Some Íslendinga Þættir // Scandinavian Studies. 1976. Vol. 48. P. 14.
- ¹⁸ Гуревич А. Я. Указ. соч.; Он же. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. Гл. VI.



О. С. Ермакова (Санкт-Петербург)

«САГА О СВЕРРИРЕ»
И ТРИЛОГИЯ КОРЕ ХОЛТА «КОРОЛЬ»:
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Коре Холт — имя, которое сейчас уже почти забыто в Норвегии, однако в 60–70-е гг. XX в. он был одним из наиболее известных писателей. За свою жизнь (1917–1997) он написал более 40 романов, несколько пьес, выпустил сборник стихотворений. Критики высказывали разные мнения по поводу того, какой из романов писателя был центральным в его творчестве, однако сам Коре Холт во всех интервью без колебаний называл трилогию «Король» самым значимым своим произведением.

Исторические романы «Человек с далеких островов», «Изгой» и «Властитель и ром», объединенные под общим названием «Король», были опубликованы в период с 1965 по 1969 г. Действие происходит в Норвегии во второй половине XII в., а в центре повествования стоит король Сверрир — одна из наиболее ярких и загадочных личностей в истории Норвегии. Он появился на политической арене в разгар гражданских войн. Одной из причин раздоров было то, что вплоть до 1163 г. в Норвегии не было закона о престолонаследии и заявить право на корону мог любой незаконнорожденный сын короля. В середине XII в. власть в стране захватил ярл Эрлинг Кривой, провозгласив королем Магнуса. Права Магнуса на престол были весьма сомнительны, поскольку он был лишь сыном дочери короля, и в стране стали вспыхивать очаги сопротивления, тем более что ярл правил достаточно жестоко, любыми средствами устраняя всех возможных претендентов на престол. Наиболее активной силой сопротивления стала небольшая группа изгоев, выходцев из низов, презрительно названная «биркебейнерами» («берестяниками»). В противостоянии с силами ярла Эрлинга они терпели одно поражение за другим. И в момент, когда казалось, что восстание окончательно подавлено, во главе биркебейнеров встал Свер-

рир, священник с Фарерских островов, провозгласивший себя сыном короля Сигурда. После долгой и кровавой войны благодаря своему таланту военачальника, политика и, собственно говоря, невероятной удаче Сверрир был коронован. Он сумел продержаться на престоле 25 лет, невзирая на нелюбовь народа и сопротивление церкви, и после его внезапной смерти в 1202 г. на престол взошел его сын Хокон. В европейской истории встречается не так много случаев, когда мятежники из низов одерживают верх над военными силами знати, когда самозванец, человек ниоткуда, становится родоначальником новой королевской династии.

Как уже говорилось, в истории короля Сверрира много загадок. Был ли он действительно сыном короля? В чем была причина его блистательных побед? Историки по-разному отвечают на спорные вопросы. Коре Холт дает свою трактовку событий и разворачивает перед читателем широкую картину норвежского средневековья, где фигуры реальных исторических личностей выписаны так же живо, как и множество вымышленных героев. Не претендуя, конечно, на абсолютную истину, он, однако, не раз отвечает журналистам: «Так могло быть». Примечательно, что хотя многие специалисты пытались предъявить писателю претензии в недостаточном знании материала, ни один не смог выдвинуть каких-либо серьезных возражений. Как говорил сам автор, он изучил практически все существующие источники, повествующие об эпохе и личности короля Сверрира. Однако главным текстом, к которому обращается автор, является, без сомнения, «Сага о Сверрире», составленная в XII в. исландским монахом Карлом Йоунссоном.

Использование материала древнеисландских саг в историческом романе не является редкостью в норвежской литературе. Более того, саги во многом повлияли на развитие национальной литературы Норвегии, и в частности на формирование жанра исторического романа, при этом авторы не только обращались к сюжетам, но и использовали стилистические особенности саг. Однако когда не существует прямой цитации или стилистического подражания, бывает довольно трудно определить тип взаимосвязи саги и романа: является ли эта связь чисто когнитивной или мы имеем дело с интертекстуальностью. Истоки этой проблемы кроются в особенностях жанра саги: в течение многих лет историки спорили, являются ли события, описанные в сагах, исторически достоверными или это не что иное, как художественный вымысел. М. И. Стеблин-Каменский отмечал, что большинство придерживались крайних точек зрения: саги объявлялись либо абсолютной правдой, либо абсолютным вымыслом. Сам Михаил Иванович, говоря о соотношении правды и вымысла в родовых сагах, предложил термин «синкретическая правда», «художественный вымысел, осознававшийся как правда в собственном смысле слова»¹. Пересказывая или переписывая родовую сагу, автор добавлял некоторые красочные подробности, вкла-

дывал в уста персонажей свои реплики, при этом вовсе не считая, что он искажает истину. Это безусловно так, когда речь идет о родовых сагах. Что касается другой группы, «королевских саг», к которым относится и «Сага о Сверрире», здесь ситуация несколько иная. Исследователям, как правило, известно, кто является автором той или иной королевской саги; кроме того, составляя сагу о королях прошлого, автор невольно должен был производить некий отбор фактов, т. е. задействовать свое творческое начало. Таким образом, королевские саги ближе и к историографии, и к авторской литературе в современном понимании этого слова. Следует, однако, отметить, что, составляя королевские саги, авторы стремились к объективности и излагали правду так, как они ее видели.

«Сага о Сверрире» стоит особняком в группе королевских саг. В первых, речь здесь идет не о событиях, ставших историей: часть саги составлена при жизни короля, часть — сразу после его смерти. Вторых, и этот факт очень важен, король сам участвовал в процессе создания саги. В прологе прямо говорится: «Начало повести списано с той книги, которую писал аббат Карл сын Йона, а сам Сверрир конунг говорил ему, что писать»². Таким образом, совершенно ясно, что по крайней мере в первой части саги излагаются не объективные факты, а та искаженная правда, которая была выгодна королю.

Именно эта особенность саги была активно задействована Холтом при написании его романов. Связь романа и саги в данном случае в высшей степени необычна для норвежской исторической прозы: это дискуссия, спор с изложенным в саге. Подобный тип интертекстуальной связи Жерар Женетт определил термином «метатекстуальность» — «комментирующая и часто критическая ссылка на свой предтекст»³. Повествование не является постмодернистским «текстом о тексте», и данную дискуссию с сагой нельзя назвать основной задачей автора, однако Холт то и дело возвращается к противопоставлению «правды о короле» и написанной «саги о короле». Рассказчик в трилогии — это близкий друг и советник короля Сверрира, бывший его спутником на всем пути от Фарерских островов к престолу Норвегии. Ученый монах, принявший постриг одновременно со Сверриром, Аудун хотел в свое время написать правдивую сагу о короле, но тот не позволил ему, так как Сверриру нужна была сага, прославляющая и оправдывающая его деяния. Жаркий спор между ними подробно описан в третьей части трилогии. Теперь, после смерти короля, Аудун сидит на хуторе в Рафнаберге и рассказывает свою ненаписанную сагу о короле его дочери Кристин. Во вступлении к своему рассказу Аудун говорит: «Сага аббата Карла — неправда, это ложь, это рассказ самого конунга о своей жизни. Это голос моего покойного друга, но голос этот служит лжи. Я знаю, что в моем повествовании не будет пустой недоговоренности, какая есть в саге аббата Карла, вот кто был мастер напыщенно излагать ложь»⁴.

Диалоги между Аудуном и Кристин, события, происходящие после смерти короля, служат рамочной конструкцией для повествования, и, таким образом, действие происходит в двух плоскостях: в прошлом, события в котором постоянно перекликаются с описанным в саге, и настоящим, существующим вне саги, иначе мы можем это назвать «саговыми событиями» и «историческими событиями». В романе скрыта еще третья плоскость — связь с будущим. В определенный момент повествования соотношение «то, что было написано» и «то, что происходило на самом деле», существующее внутри текста, оказывается недостаточным и добавляется третье звено: связь рассказчика и автора. Таким образом, художественное пространство выходит за рамки текста и апеллирует к реальной жизни. Следует отметить, что рассказчик является вымышленным персонажем и не имеет ничего общего с автором. Их объединяет в первую очередь место действия: Коре Холт большую часть своей жизни прожил в Рафнаберге, и там же была написана трилогия. Связующая нить между Аудуном и Коре Холтом появляется в третьей книге: после того, как Сверрир запретил Аудуну писать сагу, Аудун говорит в беседе с епископом: «Я знаю, господин мой епископ, что когда однажды моя душа пролетит по царству мертвых в поисках последнего покоя, мой жаркий дух проникнет в какого-нибудь скальда, который еще будет жить на нашей темной земле. Тогда то, что я видел и слышал, то, что помнит мое сердце и ведает моя мысль, перейдет в него. Тогда он напишет свою правдивую сагу о Сверрире, короле Норвегии»⁵. Таким образом, автор трилогии претендует на роль некоего медиума, связующего звена между своим персонажем, рассказчиком из прошлого и современным читателем. Выстраивание трех хронотопов, связанных между собой, — саги в историческом художественном тексте, самого текста и внехудожественной реальности, — на временной оси соответствующих прошлому, настоящему и будущему, наблюдается также в другом романе-саге Коре Холта «Тризна по женщине» и является характерным для творчества этого автора.

Обратимся к сопоставлению текста саги и трилогии. Коре Холт не подражает саговому стилю, не использует он также цитат из саги. Единственной очевидной аллюзией является заголовок первой части трилогии, позже часто повторяющийся в качестве эпитета: «Человек с далеких островов», «Mannen fra utskjæret». Это выражение взято из речи Сверрира перед биркебейнерами, когда он отказывался возглавить их войско: «Да и я, человек, выросший на острове, далеком от других стран, неспособен на большие дела». В переводах саги и на букмол, и на нюнорск использовано одно и то же слово «utskjær»: «jeg er en mann som har vokset opp i et utskjær» («alen som eg er paa eit utskjer langt ifraa andre land»).

Соотнося текст саги и романа, мы можем условно выделить в саге четыре типа повествования: факты жизни короля, не подтвержден-

ные другими историческими источниками, — в первую очередь рассказ о его рождении и детстве; факты, исторически подтвержденные, — повествования о походах короля, его соратниках, битвах и правлении; сны Сверрира и речи Сверрира, которых в саге немало.

Все факты, подтвержденные исторически, в трилогии сохранены и дополнены подробностями. Здесь прослеживается основная концепция восприятия саг Коре Холтом: он стремится восполнить скудное повествование саги, избегающее описания эмоций и внутренних побуждений героев, за краткими фразами увидеть живых людей, с их страстями и переживаниями.

Что касается речей Сверрира, приведенных в саге, ни одна из них не цитируется в романе. Возьмем, к примеру, уже упоминавшуюся здесь речь Сверрира к биркебейнерам. Сага рассказывает о том, как биркебейнеры после своего поражения обратились к Сверриру с просьбой возглавить их войско. Сверрир отказался и вместо этого посоветовал им обратиться к шведскому ярлу Биргиру, женатому на дочери короля Сигурда, с просьбой дать одного из сыновей им в вожди. Биргир отказал им в просьбе и указал на Сверрира как на наилучшего для них вождя. В романе нет ни слова о том, чтобы Сверрир советовал биркебейнерам выбрать другого вождя. По-видимому, автор посчитал, что данный эпизод в саге сочинен для того, чтобы показать, что Сверрира поддерживали в законности его притязаний знатные люди. В трилогии Сверрир действительно колеблется, но после долгих раздумий принимает решение биться за престол: «Теперь я знаю свой долг и свой путь, я иду с вами. Сегодня я ваш предводитель, завтра я ваш конунг. Я, Сверрир, объявляю себя конунгом или смерть!»⁶ Также и в других эпизодах автор выбирает не пышные фразы, приведенные в саге, а слова, как ему кажется, наиболее естественные в описываемой ситуации и наиболее подходящие для того, чтобы воодушевить людей.

Сны Сверрира и факты его детства приводятся в саге в виде повествования. Коре Холт выбрал другой путь: все изложенное в этих заведомо неправдоподобных эпизодах он вкладывает в уста главного героя. Это опять же выглядит естественным, если вспомнить фразу Аудуна: «Сага аббата Карла — ... это рассказ самого конунга о своей жизни. Это голос моего покойного друга...» Все эти факты подтверждают право Сверрира на престол, как кровное, так и дарованное ему Богом (в снах к нему приходят ветхозаветный пророк Самуил и святой Улав, говоря ему, что он рожден царствовать). По логике романа, Сверрир сначала убеждает своих сторонников в своем праве, рассказывая им о снах и сочиняя истории о своем детстве, а затем приказывает написать это в саге. Предоставляя Сверриру возможность в художественном тексте самому рассказывать о том, что написано в саге, рассказчик предлагает свою версию событий, очевидцем которых он якобы был. В скобках следует отметить, что постоянно противопоставляя «правду» художественного текста и «не-

правду» саги, автор ведет с читателем некую игру. Даже если мы предположим, что рассказчик существовал на самом деле, надо принять во внимание, что Аудун — человек, непосредственно участвовавший во всех описываемых им событиях на определенной стороне и имеющий свои взгляды. «Правда», рассказанная им, — это точка зрения человека пристрастного, и на протяжении рассказа он, собственно говоря, и не скрывает своих эмоций по отношению к тому или иному событию. Поэтому не правы те историки, которые предьявляли Холту претензии по поводу того, что король Магнус или ярл Эрлинг изображены им чересчур негативно. Это естественно, ведь рассказ ведется от лица заклятого врага ярла Эрлинга, немало пострадавшего от него.

Здесь уже говорилось о том, что в процессе работы над трилогией Холт подробно изучал исторические источники и прочел множество трудов ученых на данную тему. Но существует одна историографическая работа, к которой Холт обращался скорее не как к источнику, а как к тексту, причем связь между этой работой и трилогией может быть также охарактеризована как метатекстуальная. Речь идет о книге английского историка Гэторна-Харди «Король-самозванец. Сверре, король Норвегии», вышедшей в Норвегии в 1956 г. Эта книга отличается от канонических историографических штудий живым языком и яркостью изображаемых картин. Сам автор признается в предисловии: «Основной трудностью было мое убеждение, что если мы хотим показать истинный образ этого замечательного человека, мы должны дополнить традиционные методы исторического исследования разумной долей воображения»⁷. Как и Холт, Гэторн-Харди апеллирует прежде всего к саге и возражает ей. Он высказывает свои сомнения по поводу тех или иных событий, задает вопросы, но очень часто за отсутствием достоверных фактов не может ответить на них. Это делает Холт в своем романе, пользуясь привилегией писателя восполнять своим воображением то, что неизвестно науке истории. Эта примечательная связь (сага — научный труд — роман) особенно ярко просматривается в изложении фактов рождения и юности Сверрира и строится следующим образом: сага сообщает некоторые факты, историк подвергает их сомнению или отрицает как ложные, романист находит некий компромисс между сагой и научным трудом.

Итак, сага утверждает, что Сверрир был сыном короля Сигурда, но не знал об этом, куда мать его не отправилась в паломничество в Рим, где она исповедовалась перед папой, который наказал ей открыть правду сыну. Вернувшись домой, она рассказала все Сверриру, и тот отправился в Норвегию. Гэторн-Харди не соглашается с изложенными фактами. Во-первых, в отличие от норвежских историков, таких как Кут или Поске, он не считает Сверрира сыном короля. Проведя скрупулезные расчеты, он утверждает, что на момент зачатия Сверрира королю Сигурду было около 12 лет, так что отцовство

было физически невозможно. Кроме того, говорит автор, Сверрир сам не считал себя сыном короля, поскольку ни разу не пытался доказать свои права на престол при помощи «Божьего суда», или ордалии (обряд, при котором утверждающий что-либо и желающий доказать свою правоту должен был пронести раскаленное железо в голых руках; если через три дня после этого руки заживали, считалось, что правота его была подтверждена Господом; в сагах описывается много случаев, когда претендент на престол доказывал таким образом свое право). Во-вторых, утверждает Гэторн-Харди, представить себе, чтобы мать Сверрира, одинокая, слабая женщина, пустилась в путь через всю Европу, где ситуация в те времена была очень беспокойной, очень трудно; представить себе, что папа лично исповедовал простую крестьянку из далекой Норвегии, просто невозможно.

Теперь посмотрим, как Холт разрешает вопросы об отце Сверрира и о путешествии его матери в Рим. В том, что касается первого вопроса, Холт находит простое и остроумное решение: мать Сверрира не знает точно, кто его отец; когда-то, озлившись на мужа, который был не в состоянии исполнить свои супружеские обязанности, она ушла в дом терпимости в Бергьюне (Бергене), где провела три ночи; одним из тех, кто приходил к ней, был король Сигурд; он мог быть отцом Сверрира, но мог и не быть им. Подобная трактовка объясняет, почему Сверрир никогда не пытался доказать свои права «Божьим судом»; она же дает возможность проанализировать возникшую нравственную дилемму Сверрира: он не знает, имеет ли он право на власть, но он знает, что он достаточно сильный человек, чтобы власть завоевать и удерживать. Именно поэтому он так часто апеллирует к своему праву, дарованному небом (отсюда описание его снов). Далее, Холт, по-видимому, согласен, что мать Сверрира не могла совершить поездку в Рим. В романе он предлагает такой вариант развития событий: перед смертью она рассказывает сыну, что ей приснился сон о том, что она была в Риме и говорила с папой. По его велению, данному ей во сне, она и рассказывает сыну тайну его рождения. Но позже, в речи к своим соратникам, Сверрир говорит об этой поездке как о чем-то реально произошедшем: «Она долго скрывала от меня ... все, что ей было сказано, когда она была в Ромаборге и исповедалась там самому папе»⁸.

Можно приводить много примеров подобных вопросов ученого и ответов писателя, но они не настолько показательны и очевидны, как эти два эпизода.

Интертекстуальное поле в романе, конечно, не исчерпывается описанной связью саги и романа. В своей трактовке проблемы власти автор апеллирует и к Бьернсону, и к Ибсену, которые поднимали этот вопрос в своих исторических драмах. Существуют также другие, менее явные интертекстуальные связи. Однако в целом можно сказать, что трилогия Коре Холта «Король» является одним из наи-

более интересных примеров рецепции древнеисландских саг в норвежском историческом романе.

¹ *Стеблин-Каменский М. И.* Древнескандинавская литература. М., 1979. С. 99.

² Сага о Сверрире. М., 1988. С. 7.

³ Цит. по: *Фатеева Н. А.* Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи // Известия РАН. Сер. литературы и языка. М., 1998. Т. 57, № 5. С. 26.

⁴ *Холт К.* Конунг / Пер. Л. Горлиной. М., 1996. С. 12–13.

⁵ *Holt K.* Hersker og trett. Oslo, 1971. S. 205.

⁶ *Холт К.* Указ. соч. С. 242.

⁷ *Gathorn-Hardy G. M.* A Royal Impostor: King Sverre of Norway. Oslo, 1956. S. 1.

⁸ *Холт К.* Указ. соч. С. 240.



Б. С. Жаров (Санкт-Петербург)

САГА О ЛЮДЯХ ИЗ КРЕСТОВОГО РУЧЬЯ

В сознании средневекового исландца не было деления на рассказ о прошлом, отвечающий требованиям, которые предъявляются к истории как науке, и рассказ о прошлом, отвечающий требованиям, которые предъявляются к художественной литературе. Рассказ о прошлом был поэтому, так сказать, «праисторией».

М. И. Стеблин-Каменский

Речь в этих заметках, навеянных чтением замечательных работ М. И. Стеблин-Каменского¹, пойдет не о какой-то малоизвестной или тем более вновь обнаруженной исландской родовой саге. Сага — понятие вполне современное, прежде всего в том смысле, в каком Джон Голсуорси назвал свой многотомный роман «Сагой о Форсайтах». Однако произведение, на котором мы решили остановиться, имеет не меньше прав называться сагой и в том смысле, в котором оно фигурирует в истории скандинавской литературы. Это телевизионный фильм «Матадор» (реж. — Э. Баллинг). Действие фильма происходит в г. Корсбэк.

Крестовый Ручей в русском переводе или по-датски Корсбэк — это название датского города средних для этой страны размеров. В этом городе на протяжении двух десятилетий происходят события, очень важные для истории целой страны, а возможно — и многих стран Европы, но поданы они через историю жизни отдельных людей. Вымышленные судьбы в вымышленном городе, и в то же время это подлинная история нескольких поколений реальных людей. Разве это не сага?

С появлением радио, а позже и телевидения возникли два жанра, которые объединили достоинства прозы и драматургии, т. е. литературы, с одной стороны, и театра — с другой, а именно радиопьеса и телевизионная пьеса, причем последняя, вобрав в себя многие элементы кинофильма, плавно переросла в телефильм.

Еще в середине 20-х гг. XX в. по радио наряду с новостями и концертами звучали первые спектакли. Сначала это, естественно, были театральные пьесы или инсценировки прозаических произведений. Однако вскоре писатели обнаружили преимущества радио и стали писать пьесы специально для него.

В Дании это увлечение очень быстро стало весьма популярным. С большим интересом радиопьесы создавал известный прозаик и драматург Ханс Кристиан Браннер («Сто крон», «Ночной дождь» и др.). Мастер прозы сатирического направления Карл Эрик Сойя, написавший для театра сатирическую комедию «Паразиты», для радиотеатра создал, среди многих других, изящную комедию «Вояж гнева». Прозаик и драматург Кнуд Сёндербю, драматург Эрнст Бруун Ольсен и многие другие написали немало пьес для датского радио. Лайф Пандуро, ставший позже знаменитым благодаря телевизионным пьесам, начинал свою драматургическую деятельность с радиотеатра. Еще совсем недавно драматурги и прозаики создавали радиопьесы (например, Астрид Сольбак — «Следы на песке», 1981). Радиоспектакли, как отмечают исследователи, занимали заметное место в жизни датчан, в особенности тех, кто жил на разбросанных по стране изолированных хуторах. Пользовались популярностью и радиопьесы с продолжением, так сказать многосерийные, правда, в основном детективного толка².

Еще более важным для людей в XX в. стало телевидение. Естественно, что любой спектакль и кинофильм могут быть показаны по телевидению, но и то и другое теряют что-то при показе на маленьком экране. Поэтому прошло не так много времени, как появились и особые телевизионные спектакли, а затем фильмы. Именно Дания продемонстрировала ряд крупных достижений в этой области. Яркой страницей в развитии жанра телефильмов были в 70-е гг. многочисленные спектакли (еще не совсем фильмы) по телевизионным пьесам корифея этого жанра Лайфа Пандуро. Очевидцы единодушно утверждают, что во время показа их по телевидению улицы страны как будто вымиралы. О всеобщем одобрении этих произведений телезрителями говорить не приходится, скорее можно говорить о жарких спорах, которые они вызывали. Пьесы были лишь констатацией проблем, касавшихся внутреннего мира датчанина того времени. Но то, что эти пьесы затрагивали нечто центральное в жизни датчан, совершенно несомненно³. Телевизионные пьесы писали и другие авторы (например, Астрид Сольбак — «Мир, который бледнеет», 1984).

Следующим шагом стало создание циклов из телефильмов, объединенных общими героями, но имеющих разные сюжеты⁴. Наиболее удачными считаются вышедшие в 1970–1977 гг. 84 фильма комедийного плана под общим названием «Дом в Кристиансхауне» режиссера Эрика Баллинга по сценариям многих авторов, в том числе и названных выше. Каждый фильм рассказывал о каком-то эпизо-

де из жизни некоторых обитателей одного многоэтажного дома в своеобразном районе Копенгагена под названием «Кристианова гавань». Кое-какие эпизоды из сериала вошли позже в фильм для показа в кинотеатрах «Скандал в старом городе», шедший в российском прокате в 70-е гг. Серия фильмов «Дом в Кристиансхауне» была калейдоскопом, в котором отразились многие черточки жизни современной Дании, но они не отличались особой глубиной. Эти фильмы можно рассматривать как своеобразную «пробу пера» перед съемками сериала, ставшего лучшей работой кинематографистов на телевидении Дании.

Этой жемчужиной датского телевизионного кино является 24-серийный (более 27 часов непрерывного показа) фильм «Матадор» (1978–1982) того же режиссера Эрика Баллинга. Он рассказывает о жизни сравнительно небольшого датского городка с 1927 по 1945 г. Автор замысла всего сериала и сценариев многих серий известный журналист и писатель Лисе Нёргор говорила, что прототипом Корсбэка в фильме послужил ее родной город и что в несколько измененном виде там отражены события, которые проходили у нее на глазах на протяжении длительного времени.

Драматические события в фильме, в котором снимались самые лучшие датские актеры, происходят в жизни нескольких групп людей. Первый круг — коммивояжер Мадс Андерсен-Скьерн (артист Йорген Буххой), его близкие и друзья. В начале первой серии Мадс приезжает в Корсбэк со своим пятилетним сыном практически без денег, а позже благодаря уму и предприимчивости становится крупным предпринимателем, финансовым «матадором» Мадсом Скьерном («Андерсен» из фамилии выбрасывается как уж слишком простонародное). По приезде он знакомится с торговцем поросятами Олафом Ларсеном (Бустер Ларсен), его женой Катриной (Лили Броберг) и дочерью Ингеборг (Гита Нёрбу), оставшейся с ребенком после распавшегося брака.

Второй круг — люди очень состоятельные: директор банка Ханс-Кристиан Варнес (Хольгер Йуль Хансен), его жена Мод (Малене Шварц), ее незамужняя сестра Элизабет Фриз (Хелле Виркнер). В их доме работает прислуга: кухарка — уже немолодая Лаура (Эллин Раймер) и горничная — юная Агнесс (Кирстен Олесен), показанные с большой теплотой.

Среди постоянных героев зритель встречает двух дам-аристократок: почти столетнюю госпожу Фернандо Мёге (Карен Берг) и ее уже пожилую, но все еще инфантильную дочь Миссе Мёге (Карин Неллемосе). Мы видим также пожилого хозяина мануфактурного магазина Альберта Арнесена (Пребен Март), весьма незадачливого коммерсанта, имеющего много проблем как в коммерческой деятельности, так и в личной жизни с молодой легкомысленной женой Вики (Соня Оппенхаген). В его магазине работает приказчик Шванн (Артур Йенсен). В привокзальном ресторанчике бывает железнодорожный рабочий Лауритц Йенсен (Курт Раун), придерживающийся ле-

вых взглядов. Жизнь этих и многих других людей на протяжении 18 богатых событиями лет со всеми завихрениями и хитросплетениями протекает на глазах у зрителей.

Добротная драматическая основа, великолепно показанный исторический фон были теми составляющими, которые определили ошеломляющий успех фильма. Его снимали много лет, выпускали на экран по несколько серий, и с каждым новым показом он все больше завоевывал сердца датских зрителей.

Фильм этот не просто снят в Дании, он очень «датский» по самой своей сути, в нем концентрированно отражены все составляющие того, что в последнее время все чаще датчане называют, за неимением другого, странным словом *danskhed* («датскость»). В нем замечательно многообразно и глубоко показаны мысли и поступки, обычаи и нравы датчан, так что в известном смысле этот фильм можно назвать «энциклопедией датской жизни» двух десятилетий, а в чем-то и целого столетия.

Почему правомерно сопоставлять это киноповествование с исландскими родовыми сагами? Попробуем разобраться.

Название вымышленного города — Корсбэк, в переводе на русский — «Крестовый ручей». Родной город Лисе Нёргор — это хорошо известный всем датчанам Роскилле с огромным средневековым собором, в котором находятся захоронения датских королей. Рассмотрим этимологию названия *Roskilde*. Второй элемент прозрачен — *kilde* «источник, ключ». История первого элемента более запутанная: родительный падеж от мужского имени *Rō*, древнедатское *Rōi*, древнескандинавское *Hrōi*, еще более раннее *Hrōdwēr*, которое состоит из двух частей, первая: *hrōðr* «слава, прославленный», еще более раннее *hrōf* «победоносный» и вторая: *-wihaR* «богатырь»⁵. Итак, «прославленный (или победоносный) богатырь», а это, в сущности, очень близко к суперсовременному «матадор» или «финансовый матадор»! В городе с таким названием Лисе Нёргор провела значительную часть жизни. Автору статьи неизвестно, повлияло ли это обстоятельство на выбор ею именно такого главного героя, но можно смело утверждать, что связь между значениями названий вымышленного и реального города существует.

Телевизионный фильм «Матадор» — это огромное по своему объему повествование, огромное как по количеству вовлеченных лиц (крупным планом показаны более ста), так и по временному охвату, что вполне сопоставимо с родовыми сагами. При этом четко очерчен круг главных действующих лиц с точным указанием степеней родства и взаимоотношений, все второстепенные персонажи интересуют авторов только постольку, поскольку они связаны с главными.

В родовых сагах, как писал М. И. Стеблин-Каменский, жизнь «главного героя всегда изображается как звено в цепи поколений того рода, к которому они принадлежат»⁶. В фильме такими «родами» являются, с одной стороны, круг Мадса Скъерна и Олафа Ларсена,

и с другой — круг Ханса-Кристиана Варнеса с родственниками и слугами. За те практически два десятилетия, которые проходят на глазах зрителя, в действие включаются подрастающие и новые представители того и другого рода.

«Объединяющим стержнем в родовой саге очень часто является родовая распря»⁷. Одним из главных мотивов повествования в фильме также является мотив распри во взаимоотношениях семейств, включающий как финансовые, так и сословные и личностные причины. До кровавых сцен, во всяком случае что касается взаимоотношений между родами, дело не доходит — все-таки эпоха другая, но совершенно очевидно, что распри благополучно сохранились и процветают даже в XX в. Привязанность к роду оказывается сильнее, чем любовь, что зритель видит на примере драматических поворотов во взаимоотношениях Элизабет Фриз из семейства Варнесов и Кристиана, брата Мадса Скьерна.

Как и в сагах, в телевизионном фильме наблюдается «исключительная сдержанность тона или объективность повествования»⁸. Тональность повествования всегда ровная, и самые трагические, и обыденные сцены предстают перед зрителем без комментариев. Рассказчик как бы не понимает степени важности происходящего в отличие от автора и зрителя.

При этом очень детально описываются обстоятельства, при которых происходит действие, фигурирует множество самых тонких подробностей. Можно даже сказать, что описание дотошное: то время, когда происходило действие, представлено настолько точно, что возникает впечатление, что все это тогда же и снималось на киноплёнку или же записывалось на магнитофон. Но при этом чувство меры никогда не покидает авторов фильма, в центре событий всегда сами судьбы людей, а не эти детали быта, они всегда фон, хотя и тщательно выписанный. Детали упоминаются потому, что они в тот момент наличествовали. Так же обстоит дело и в сагах.

Исторический фон в фильме тоже существует и иногда выступает на первый план, становясь совершенно равноправным участником событий. Этим повествование выгодно отличается от некоторых других современных фильмов, например латиноамериканских «мыльных опер», лишенных даже намеков на реальную общественно-политическую ситуацию. В датском же фильме ярко отражены глобальные события, как то: кризис конца 20-х гг., начало Второй мировой войны, начало оккупации Дании Германией в 1940 г., движение Сопротивления в стране и освобождение Дании 5 мая 1945 г., а также и менее заметные исторические процессы, происходившие в стране в этот период, вплоть до изменений в обычаях, нравах, моде, технике. Но все это показано через судьбы героев фильма.

Вернемся к мудрой мысли М. И. Стеблин-Каменского, вынесенной в эпиграф. Она касается средневековых исландцев и их восприятия истории. Пожалуй, можно отметить, что высказанное положе-

ние совершенно справедливо и для современных датчан, россиян и всех других, если иметь в виду большинство читателей и телезрителей. Конечно, кто-то читает научные исторические книги и смотрит соответствующие передачи и никогда не смотрит, например, «мыльные оперы», кто-то же, наоборот, смотрит только «мыло». И все же для основной массы зрителей существует как бы неразделимая «синкретическая» правда истории, если воспользоваться термином, предложенным М. И. Стеблин-Каменским. В сознание россиянина прочно вошли такие персонажи, как Наташа Ростова и Андрей Болконский из романа Л. Толстого, хорошо подкрепленного несколькими киноверсиями, хотя в реальной жизни люди с такими именами никогда не существовали, но их характеры, мысли, поступки вполне узнаваемы. Наряду с ними на равных в сознании существует, например, и вполне реальный Наполеон, впрочем, вряд ли можно сомневаться в том, что исторический Наполеон не совсем совпадает со своим изображением в романе Л. Толстого.

Неразделимой «синкретической» историей для датских телезрителей стала замечательная телевизионная сага о людях XX в., живших в Крестовом Ручье. А для историков культуры эта сага — еще одно свидетельство того, что между нашим временем и временем, казалось бы, давно исчезнувшим, проложен весьма прочный мост.

¹ *Стеблин-Каменский М. И.* Культура Исландии. М., 1967; *Он же.* Мир саги. Становление литературы. Л., 1984 (эпиграф взят из этой книги, с. 169); *Он же.* Древнескандинавская литература. М., 1979; *Он же.* [Вступительная статья] // Исландские саги. М., 1956. С. 3–19.

² Русский читатель может найти перевод нескольких образцов пьес из репертуара датского радиотеатра, см.: В стороне. Сборник скандинавских радиопьес. М., 1974.

³ *Куприянова И. П.* Телевизионная драматургия Лайфа Пандуро // Литература и время. СПб., 1998. С. 168–174.

⁴ Об одном из датских кинематографических сериалов см.: *Жаров Б. С.* Ольсен и другие: датская социально-криминальная кинокомедия длиной в 30 лет // Литература в зеркале эпохи. СПб., 1999. С. 130–137.

⁵ *Nudansk ordbog.* 13. udg., 6. opl. København, 1988. S. 792, 788.

⁶ *Стеблин-Каменский М. И.* [Вступительная статья] // Исландские саги. М., 1956. С. 11.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 13.



Б. С. Жаров (Санкт-Петербург)

О ДВУХ ВИДАХ МОДАЛЬНОСТИ В ЗНАЧЕНИИ ДАТСКИХ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

В датском языке имеется группа модальных глаголов (*modalverb*)¹. Довольно большая литература на датском, русском и других языках посвящена частично или (реже) полностью их рассмотрению. В работах перечисляются значения модальных глаголов с большим или меньшим количеством деталей². Но при этом недостаточно четко отмечается существование двух принципиально разных видов модальности в их значениях.

Модальные глаголы означают не само действие или состояние, а оценку — это отмечается всеми авторами. Вопрос же состоит в том, какую именно оценку они означают. На наш взгляд, следует подчеркнуть существование двух видов модальности в значениях датских модальных глаголов.

Модальность одного вида — объективная реальность, она оценивает действие, т. е. насколько само действие возможно, необходимо или желательно, эта модальность входит как часть в состав высказы-

Сообщение (включая объективную модальность)

вания, поскольку выражает те или иные взаимоотношения между подлежащим и значимым глаголом / сказуемым.

Модальность другого вида — субъективная реальность, она передает оценку не самого действия, а лишь того сообщения, в котором говорится о действии, т. е. насколько данное сообщение в целом соответствует действительности, и таким образом оценивает сообщение со стороны, как бы существует за рамками сообщения, вне пределов высказывания о некоем факте.

Рассмотрим значения 6 датских модальных глаголов³. Известно, что эти глаголы совсем не употребляются в форме повелительного наклонения и редко употребляются в форме будущего времени.

kunne

1) В объективной модальности глагол *kunne* имеет значение физической возможности, умения или способности:

Han kan svømme. «Он умеет плавать».

Hun kan komme i dag. «Она может прийти сегодня». (Например, потому что поправилась после болезни.)

Vi kan læse bogen til på mandag. «Мы можем прочитать книгу к понедельнику». (Например, потому что книга небольшая.)

Kan jeg komme til dig? «Можно мне прийти к тебе?» (При дружеских отношениях разрешения не требуется, вопрос только, например, в том, будет ли друг дома.)

Этот глагол обязательно употребляется в предложениях, где русский глагол «мочь» отсутствует:

Kan du huske pigen? «Ты помнишь эту девушку?»

Vi kan ikke se noget tog. «Мы не видим никакого поезда».

Jeg kan ikke høre deres sang. «Я не слышу их песни».

2) В субъективной модальности глагол *kunne* означает, что данное сообщение — весьма предположительное с небольшой степенью вероятности:

Han kan være syg. «Возможно, что он болен» (= *Det er muligt, at han er syg*).

Han kan have været syg. «Возможно, что он был болен».

måtte

1) В объективной модальности глагол *måtte* имеет значения возможности и долженствования.

а) Значение возможности осуществления какого-либо действия только после получения разрешения от кого-то другого, часто в пропросительных или отрицательных предложениях:

Må jeg låne din kikkert? *Ja, du må gerne.* «Можно мне одолжить твой бинокль? (Позволь мне взять твой бинокль.) — Да, пожалуйста».

Må jeg komme til dig? «Можно я приду к тебе?» (Позволь, дай разрешение мне прийти к тебе. — Отношения между говорящими официальные.)

I må ikke ryge her. «Вам не разрешается здесь курить».

б) Долженствование на основе физической необходимости, собственного убеждения, невозможности поступить иначе:

Jeg må læse bogen først. «Я должен сначала прочитать эту книгу». (Говорящий сам так считает.)

Vi må gå «Нам надо уходить». (Например, когда можно куда-то опоздать.)

Vi må straks tale med drengen. «Нам нужно немедленно поговорить с мальчиком». (Например, потому, что тот в опасности.)

2) В субъективной модальности глагол måtte имеет значение очень большой вероятности истинности сообщения:

Han må være syg. «Он, конечно, болен». (Например, об ученике, который всегда ходит на уроки и пропускает их только по болезни.) (= Det er helt sikkert, at han er syg.)

Han må have glemt datoen. «Он, очевидно, забыл про этот день».

skulle

1) В объективной модальности глагол skulle означает долженствование как результат отданного другим лицом распоряжения или приказа:

Vi skal læse bogen til på mandag. «Мы должны прочитать книгу до понедельника». (Говорящим кто-то велел это сделать.)

Jeg skal hilse fra Peter. «Я должен передать привет от Петера». (Петер просил передать привет.)

Skal jeg komme til mødet? «Мне нужно приходить на собрание?» (Вы меня отправляете на собрание?)

2) В субъективной модальности глагол skulle выражает передачу мнения других людей или сообщения из неизвестного / ненадежного источника. Тем самым говорящий / пишущий снимает с себя ответственность за достоверность сообщения:

Han skal være syg. «Говорят, что он болен» (Так утверждают другие люди, сам говорящий этого факта не проверял.) (= Det siges, at han er syg.)

Han skal have været syg. «Говорят, что он был болен».

Skuespilleren skal være rejst. «Артист, как утверждают, уехал».

ville

1) В объективной модальности глагол ville означает намерение и вежливую просьбу.

а) Желание, намерение осуществить действие:

Jeg vil rejse til Århus i september. «Я хочу поехать в Орхус в сентябре».

Og nu vil han blive læge. «А теперь он хочет стать врачом».

б) При передаче вежливой просьбы предложение имеет формальную структуру вопросительного предложения, но не является вопросом по существу:

Vil du komme kl. 7. «Приди, пожалуйста, в 7 часов».

Vil du sende en e-mail, så snart du er kommet hjem. «Пожалуйста, пошли электронное письмо, как только придешь домой».

2) В субъективной модальности глагол ville означает неотчетливо сформулированную вероятность сообщения:

Rygtet vil vide, at han er gået fra sin kone. «Слухи не исключают, что он ушел от жены».

Hvis jeg havde haft en sprøjte, vil jeg have gjort det. «Если бы у меня тогда был шприц, возможно, я бы сделал это».

Примечание. Помимо названных значений глаголы *skulle* и *ville* употребляются также в значении вспомогательных при образовании форм будущего времени и входят тогда в состав простого глагольного сказуемого.

turde

1) В объективной модальности глагол *turde* употребляется иногда в утвердительных, чаще в вопросительных или отрицательных предложениях. Он означает наличие или отсутствие решимости осуществить действие:

Jeg har travlt, men jeg tør nok blive et øjeblik. «Я тороплюсь, но осмелюсь на минуточку задержаться».

Jeg tør ikke flyve, tør du? «Я не осмеливаюсь летать (на самолете), а ты?»

Tør du komme, gør det. «Если осмелишься, приезжай».

2) В субъективной модальности глагол *turde* означает некое предположение, допущение:

Det tør anses for sikkert. «Можно предположить, что это совершенно бесспорно».

Det turde være en selvfølge. «Следовало бы допустить, что это само собой разумеется».

burde

Глагол *burde* используется только в объективной модальности, означает необходимость осуществления действия в силу традиций, обычаев, общепринятых (иногда неписанных) правил:

Du bør komme til din gamle lærer. «Тебе следует навестить твоего старого учителя».

Man bør børste tænder efter ethvert måltid «Полагается чистить зубы после каждого приема пищи».

¹ Модальные глаголы есть и в других скандинавских языках, но в их значении и употреблении в разных языках наблюдаются существенные расхождения. Описание норвежских модальных глаголов в кн.: *Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. М.; Л., 1957. С. 202–203 — послужило непосредственным толчком к написанию этой статьи.

² *Diderichsen P.* Elementær dansk grammatik. København, 1962. S. 62; *Allan R., Holmes P., Lundskær-Nielsen T.* Danish: A comprehensive grammar. London; New York, 1995. P. 291–300; *Dansk grammatik for udlændinge / O. Afzelius, C. K. Andersen., M. m. fl.* Fredberg. København, 1986. S. 67–70; *Новакович А. С.* Практический курс датского языка. М., 1969. С. 384–388; и мн. др.

³ Все 6 глаголов являются претерито-презентными с особыми формами настоящего и прошедшего времени. Есть еще один претерито-презентный глагол *vide* — «знать», который, однако, не является модальным. В группу модальных часто включается глагол *gide* — «желать», который используется в вопросах или утвердительных предложениях с отрицанием, но он ничем не отличается от значимых глаголов с таким же значением, например *ønske*, и здесь не рассматривается.



В. В. Иваницкий (Великий Новгород)

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

В 60-е гг. прошлого века, когда в науке господствовал интерес к логическому анализу языка, вышла статья Михаила Ивановича Стеблин-Каменского «Изоморфизм и „фонологическая метафора”»¹. На первый взгляд она имела довольно узкий предмет исследования в соответствии с заявленной тематикой, но по существу затрагивала фундаментальные проблемы лингвистики, так или иначе связанные с процессами метафоризации, — проблему формулирования концептуальной основы научного метода и проблему создания метаязыка лингвистики. Постановка этих проблем и предложенные пути их решения явно выбивались из общего контекста формально-семантических исследований того времени. Сейчас уже можно уверенно сказать, что идеи Михаила Ивановича во многом предвосхитили дискуссии современной лингвистики и не утратили своей актуальности в наши дни.

Основная идея Михаила Ивановича — обосновать правомерность употребления фонологических «терминов „оппозиция“, „нейтрализация“, „маркированность“ и т. д. в описании не фонологических явлений». Этот перенос благодаря выдающимся достижениям фонологии стал особенно популярным в языкознании того времени. Подчеркивая, «что метод метафоры — это скорее метод поэзии, чем науки», Михаил Иванович устанавливает критерии, позволяющие отграничивать «фонологическую метафору», терминологическую по природе, от поэтической. В поэтической и фонологической метафорах, по его мнению, мы наблюдаем разный тип сходства: в первой представлено «вполне конкретное сходство», в фонологической — «лишь структурное сходство». К тому же в отличие от поэтической новизны, неожиданности и оригинальности для фонологической метафоры характерна «абсолютная шаблонность». Предметная соотнесенность поэтической метафоры «сдвинута», что не отмечено

в фонологической метафоре. Поэтическая метафора может быть у простых слов, фонологическая — у терминов.

Сомневаясь в целесообразности широкого распространения фонологических терминов в языкознании, Михаил Иванович все-таки не отрицает возможности их разумного использования.

В современной науке тенденция к переносу терминологии из одной исследовательской области в другую, а вместе с ней и расширение сфер действия терминологической метафоры приобрела более глобальный характер, чем в прошлые годы. Ср., например, области функционирования следующих терминов: *референция, узел, модель, аргумент, формат, текст, поле, дискурс, грамматика*. Так, употребление термина «референция», начиная от теории референции, охватывает разнообразные области лексической, морфологической, синтаксической семантики и прикладной лингвистики. Сферы применения термина «модель» — структурная лингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, компьютерная лингвистика, фонология, словообразование и т. д.

Подобным терминам свойственны метафоричность и многозначность. Стремление же быть более точным при их употреблении обычно приводит к синонимии. Кроме того, многие термины являются носителями не только соответствующего понятия, но и определенных коннотаций об источниках их формирования — направлении, школе, авторе и т. д., ср.: *социальная лингвистика — социолингвистика, актант / сирконстант — распространитель*.

Такая ситуация обусловлена как процессом становления терминологической системы теоретической лингвистики и бурным развитием ее прикладных и смежных направлений, так и сложностью и многоплановостью предмета науки, разнообразием исследовательских подходов к нему².

Если обратиться к анализу источников образования лингвистической терминологии, то не составляет труда убедиться в том, что они отличаются большим многообразием, особенно в наши дни. Прежде всего это слова, восходящие к античности и относящиеся ко времени становления западноевропейской научной терминологии³. Они имеют преимущественно древнегреческое происхождение и грамматико-философскую и риторическую направленность, например: *грамматика, категория, предикат, имя, этимология, диатеза, троп, метафора, рема, зевгма, аллегория, аналогия, синекдоха, парадигма, антитеза, койнэ, бустрофедон, катахреза, плеоназм, аподозис, синоним, просодия, хиатус, анафора, аугмент, дифтонг, гипербола*.

К этим терминам, составляющим костяк лингвистической метасистемы, примыкают слова, которые были созданы языковедами в последующее время с использованием латинских и греческих морфем, например: *субъект, префикс, инфинитив, морфема, логограмма, ларингал, вариант, генеалогия, сингармонизм, инкорпорация*,

статив, гипертекст, транскрипция, перфект, партитив, каузатор, билингвизм, вокализм, семантика, аффриката, синтаксема, аспект, конфикс, модус, реципрок.

Многие из терминов подобного типа в русском языке, как известно, имеют калькированные варианты, вместе с которыми в отечественную лингвистическую традицию и пришла терминологическая метафора.

Существуют, однако, термины, которые сложно калькировать в силу их специфики: они заимствованы из работ, представляющих восточную традицию, и распространились в языкознании сравнительно недавно. Они неметафоричны, однозначны и обычно имеют идиотнесенность, например: *сандхи, сампрасарана, бахуврихи, саварнья, деванагари, изафет, масдар, харф, порода, катакана, нигори.*

В последнее время, отмеченное тесным взаимодействием языкознания с другими науками и привлечением из них новых методов исследования, наблюдается активное заимствование терминологии из физики, геологии, минералогии, математики, биологии, социологии, психологии, литературоведения и т. д.

Многие из этих терминов также имеют греко-латинскую основу, например: *компрессия, катализ, валентность, дистрибуция, структура, синхрония, идентификация, интегральный, сценарий, ригидность, релевантность, симметрия, сегментация, компактный, коммутация, дисципация, тактика, фенотип, парцелляция, конверсия, интерпретация.*

Особое место в современной лингвистической терминологии занимают слова, имеющие ярко выраженный «авторский» характер⁴. Они могут быть созданы по традиционному греко-латинскому образцу, например: *интердепенденция, хронотеза, предикативизатор, актант, праксеогения.* Нередко новое терминологическое значение является результатом лексико-семантического варьирования уже известных терминов (*детерминация, констелляция, линейризация, тензор, вектор, прототип, сорит, синанс* и т. д.) или общеупотребительных слов, например: *фрейм, схема, каркас (концептуальная сетка), сфера, фактура, жанр, узел.*

Во всех указанных случаях, но особенно в последнем, понимание и толкование терминов возможно только в рамках заданной теоретической системы. А если они образованы на каком-либо языке — обычно на английском, немецком или французском, — то представляют проблему и для двуязычной лексикографии⁵. При заимствовании таких терминов метафора присутствует в их толковании (см., например, толкование термина «фрейм» в КСКТ⁶). При переводе терминов на русский язык метафора становится «открытой».

Отношение к терминологической метафоре с течением времени изменяется. Согласно традиции, восходящей к Аристотелю, утверждается, что метафорическая речь приводит к неясности и становится загадкой⁷. Поэтому наличие метафоры в тексте, несомненно, долж-

но отрицательно сказываться на научном стиле, требующем прежде всего ясности и точности языка, а не образности, которая препятствует адекватности научного изложения, затемняет и даже способно исказить истинный смысл описываемых явлений.

Подобная точка зрения в принципе согласуется с выводами одного из самых выдающихся «символистов» языкознания XX в. Э. Кассирера, который соотносит метафоризацию понятия с мифологическим, а не научным мышлением⁸.

Таким образом, учитывая данные соображения, лингвисты не должны при употреблении терминов допускать их метафоризации. Такой подход исключает метафору из научного оборота. Именно он доминировал в языкознании до начала 70-х гг., когда антропоцентрическое, когнитивно-прагматическое направление в науке еще только формировалось.

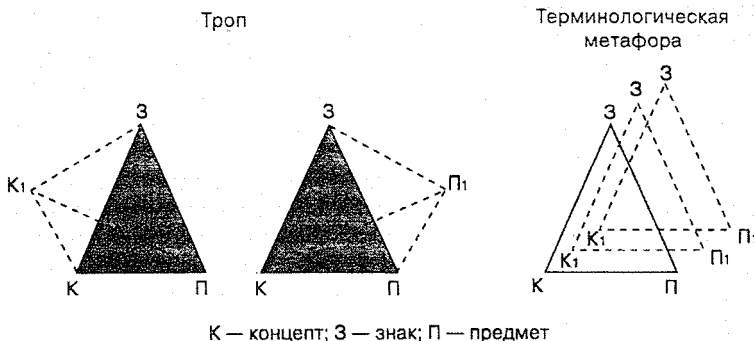
Исследования когнитивной деятельности доказали, что метафоризация является важнейшим познавательным процессом⁹. Метафора — это не только языковой феномен, с помощью нее мы постигаем мир: «Рассматриваемые изнутри, метафоры функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы»¹⁰. Метафора «активно участвует в формировании личностной модели мира», она является «ключевым элементом категоризации языка, мышления и восприятия»¹¹.

Метафора, таким образом, оказывается, представлена с одной стороны, как поэтический троп, с другой — как «незаменимое орудие разума, форма научного мышления»¹², т. е. как терминологическая метафора. Нет сомнения в том, что в поэзии и науке метафора выполняет разные функции.

В поэзии она несет авторскую, не характерную «для речевой практики всего языкового коллектива»¹³, *уникально-образную информацию*, существующую только в мире созданного образа, ограниченного контекстом, ситуацией. Поэтическая метафора субъективирована, и н т р о с п е к т и в н а. В ней происходит активизация как минимум двух фреймовых структур, между которыми наблюдается конкретное, иконическое¹⁴ сходство. Метафора увеличивает семантическое пространство слова — объем знания о предмете (денотате, референте) или концепте (схема 1).

Терминологическая метафора имеет *универсально-типологическое* и системное значение. Обладая эвристическим потенциалом, способствующим теоретизированию и формулированию предположений и гипотез, она является п р о с п е к т и в н о й и выступает в качестве своеобразной движущей силы науки. Терминологическая метафора служит созданию нового концепта для более глубокого раскрытия природы языковых явлений. Она объективирована и независима от контекста. Характер сходства соотносимых в ней феноменов — символический, стандартный, шаблонный (см. схему 1).

Схема 1
Терминологическая ТРОП метафора



Высказанные соображения относительно природы и сущности метафоры, на наш взгляд, не противоречат друг другу. На самом деле в онтологическом плане наука должна оперировать непротиворечивыми, концептуально «прозрачными» терминами, в гносеологическом же отношении изучение предмета не может не привести к изменению взгляда на него, к выходу на новый уровень обобщения — к генерализации или партикуляризации.

Очевидно, что любые исходные понятия науки имеют либо метафорическое, либо метонимическое происхождение, например: *метафора, диалект, склонение, местоимение, надеж, дополнение, функция, связь, порядок, строй, компонент, прилагательное*. На определенном этапе развития подобные слова, став носителями «мертвой метафоры», приобрели онтологический статус, что, впрочем, происходит и до сих пор: какая-то часть общепринятых терминов, включенных в соответствующую научную парадигму, обязательно получает такой статус, ср. *структура языка; знаковая система языка; генеалогическая классификация языков*.

Функционирование терминов онтологического порядка «упрочивает позиции» принятой лингвистической трактовки. Но это, однако, ведет к уменьшению информативности и увеличению энтропии семантики. Формирование же оригинального взгляда на известный предмет создает проблему его «языкового выражения»¹⁵. Это «провоцирует» появление терминологической метафоры, в которой и актуализируется новая точка зрения.

В лингвистической терминологии метафора представлена двумя основными видами: как языковая и как понятийная, или концептуальная. Языковая метафора образуется на материале уже существующих в лингвистике терминов.

Если новое метафорическое значение термина распространяется на понятия, которые не могут оставаться невыраженными в языке и являются «чисто языковыми», то оно квалифицируется как с и г

н и ф и к а т и в н о е. Термины с таким значением характеризуют известные грамматические понятия и категории, размышления о которых породили в античной древности дискуссию об аналогии и аномалии. Например, категория рода по-разному представлена и выражена в русском языке, но понятийно-грамматическая основа ее выделения во всех случаях одна и та же. (Ср. существительные женского рода: *учительница, профессор (сказала), птица, муха, вода, планета, боль*.) Категория вида сначала была выделена на славянском языковом материале, сейчас же ее находят во многих языках, в каждом из которых она имеет идиоэтнические особенности. Категория падежа установлена, например, в финно-угорских языках. Однако принцип ее выражения агглютинативный, что типологически отличает ее от соответствующей категории во флективных индоевропейских языках, на базе которых она впервые получила терминологический статус.

Бурное распространение терминов-метафор сигнификативного типа происходило в рамках логико-грамматического направления, когда последователи известных рационалистов из Пор-Рояля стремились описать все языки по греко-латинскому образцу. Без данных терминов сейчас не обходится ни одна дескриптивная грамматика. Однако сферы действия этих терминов всегда ограничены миром языка, не выходят за пределы его категорий.

При появлении анализируемые лингвистические термины были сориентированы на уже утраченное внешнее, денотативное, сходство (и, по-видимому, мало чем отличались от тропа). В свое время эту особенность очень остроумно подметил Р. Барт, сказав, что предложение характеризуется «в понятиях власти, иерархии: подлежащее, дополнение, управление и т. д.»¹⁶.

Таким образом, когда речь идет о сходстве, предполагающем экстралингвистическую направленность, тогда возникает языковая д е н о т а т и в н а я метафора. Например, по сходству характера протекания действия — в соотношении с состоянием, процессом, деятельностью и т. п. — в категорию аспектуальности объединяются самые разнообразные языковые средства: морфологические, словообразовательные, лексические и синтаксические.

Термины-метафоры денотативного типа уже как бы отстранены от мира языка, позволяют взглянуть на него извне и тем самым имеют большую информативность и большую объяснительную силу, чем термины-метафоры сигнификативного типа. Видимо, поэтому огромное количество терминов, имеющих языковую метафору денотативного типа, заимствованы лингвистикой из других наук, например: *валентность, дистрибуция, абсорбция, катализ, редукция, калька, конверсия, конденсация, иррадиация, ассимиляция, поле*.

Денотативная ориентация свойственна и терминам, имеющим п о н я т и й н у ю метафору, которая получила широкое распространение со стремительным развитием новых направлений в языкознании. По мнению Р. Стернберга, при анализе интеллектуальной дея-

тельности человека в процессе порождения речи используются теории, опирающиеся на антропологическую метафору, географическую, биологическую, компьютерную и прочие виды метафор¹⁷. Так, компьютерная метафора строится на представлении о сходстве искусственного интеллекта с человеческим мозгом: «компьютерная метафора предлагает подходить к человеческому познанию, как если бы оно было вычислительной деятельностью, и к вычислительной деятельности — как если бы она была человеческим познанием»¹⁸.

Языковые метафоры денотативного типа и понятийные метафоры выступают как предметные (или онтологические по определению некоторых лингвистов) метафоры, если они передают «осмысление нашего опыта в терминах объектов и веществ» и позволяют «нам вычленивать некоторые части нашего опыта и трактовать их как дискретные сущности или вещества некоторого единого типа»¹⁹.

Подобный тип метафор мы употребляем, говоря: *грамматика трудная, осваивать грамматику, заниматься изучением фонетики английского языка* и т. п. Важнейшую роль данные метафоры играют, когда они используются в качестве терминов, называющих принцип организации языковых явлений и вместе с ним — принцип их исследования. К таким терминам относятся *парадигма, система, структура, поле, модель, фрейм, компьютерная лингвистика* и т. д.

Если предметная метафора фиксирует необходимые и существенные признаки объекта, претендуя на максимально полный его охват, и обладает «определенным эвристическим потенциалом»²⁰, то она квалифицируется как базисная. Именно базисная метафора, характеризуясь максимальной информативностью, имеет широкую денотативную ориентацию, способствующую концептуальной экстраполяции, и создает открытую динамическую систему познавательного процесса. Например, понятие «поле» предполагает использование таких метафор, как «ядро», «периферия», а также топологический подход к изучению языковых явлений²¹.

Выбор базисных метафор мотивирован либо интерпретацией исследовательского материала (ср. *компьютер, фрейм, сценарий*), либо подходом, представляющим общенаучную тенденцию (ср. *структура, система, поле, функционально-семантическая категория*).

Базисная метафора (и вслед за ней вторичные метафоры) утрачивает в рамках соответствующей теории в процессе ее развития свое исходное метафорическое значение. Однако перенос терминов, содержащих такие метафоры, мертвые или стертые частично, в другой научный контекст, включение их в систему другого научного плана приводит к возрождению исходной метафоры, восстановлению символичности и «шаблонности», ср.: *позиция нейтрализации фонемы — стилистическая нейтрализация; языковой стиль — языковая личность; коммуникативная функция — коммуникативная культура; фактура письма — фактура речи; парадигма спряжения — парадигма значения*.

И еще один вид терминологической предметной метафоры находим в лингвистике. Это структурная метафора, которая проявляется, «когда одно понятие структурно метафорически упорядочивается в терминах другого»²²: *префикс, суффикс, конфикс* и пр.; *синкопа, апокопа; предударный, заударный; препозиция, постпозиция; преверб, постверб; субстрат, суперстрат, адстрат* и т. д. По своей сущности термины с подобной метафорой, пожалуй, более абстрактны, чем приведенные выше виды, поскольку взаимодействие этих терминов осуществляется в рамках какого-либо уже данного терминологического концепта.

Ни одна научная работа не обходится без слов типа *связь, порядок, отношение, организация, компонент, функция, единица, элемент, анализ, принцип, аппарат, механизм, пространство* и т. п., ср.: *механизмы мозга; механизмы речи; механизмы целеположения*²³. Без них не обходится ни одна научная работа. Попытка использовать их в качестве терминов не дает им соответствующей объяснительной силы. Это лингвистические квазитермины. Из-за своей многозначности, или «широкозначности», они имеют «размытую» денотативную ориентацию. Метафора здесь не приобретает признаков, необходимых для терминологического статуса. Для уточнения семантики подобных слов обычно требуются термины, аспектирующие их значение, например: *речевой аппарат, аппарат речи; речевая организация; аналитический строй; предикативная связь* и т. д. (схема 2).

Схема 2

ТРОП	КВАЗИТЕРМИНЫ	ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА		ТЕРМИНЫ	
		ЯЗЫКОВАЯ МЕТАФОРА	ПОНЯТИЙНАЯ МЕТАФОРА		
		Сигнификативная метафора	Денотативная метафора		ПРЕДМЕТНАЯ МЕТАФОРА
		БАЗИСНАЯ МЕТАФОРА	Структурная метафора		

Основное препятствие в признании за «фонологической метафорой» научного статуса Михаил Иванович видел в том, что она не обозначает «тождества языковых планов». «Установление тождества — это операция, специфичная для науки». Метафора же строится на основе сходства, поэтому она не может находиться в полной компетенции науки, это средство поэтики.

Однако «в противоположность поэзии наука идет от большего к меньшему. Сначала она утверждает полное тождество, а затем оп-

ровергает его, ограничивая частичным»²⁴. По мнению Э. Кассирера, в основе процесса абстрагирования и формирования понятия «лежит акт отождествления, идентификации», и «психология абстракции должна прежде всего выставить требование, что восприятия должны, в целях логического рассмотрения, быть в состоянии располагаться в „ряды сходств“»²⁵.

В связи с этим можно утверждать, что в лингвистике право на сосуществование имеют как состоявшиеся термины, утратившие метафоричность, так и термины, находящиеся на разных стадиях метафорической концептуализации. Но все они должны обладать вышеуказанными признаками. Ср.: *пропозиция* — *концепт* — *фрейм* — *сценарий* — *паттерны* — *прототипы* — *скрипт* — *гештальт* — *схема* — *когнитивная модель*.

В акте метафоризации выделяются такие составляющие, как «отношение», «степень сходства», «интеграция», «уподобление»²⁶. Если мы расположим их по шкале от тождества, предельного сходства, до абсолютного различия, т. е. до того момента, когда метафора не наблюдается в системе указанных понятий, то мы будем иметь следующую картину (схема 3).



¹ Стеблин-Каменский М. И. Изоморфизм и «фонологическая метафора» // Спорное в языкознании. Л., 1974. С. 74–80.

² Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. М., 1977; Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2001.

³ Меликова-Толстая С. Античные теории художественной речи // Античные теории языка и стиля (Антология текстов). СПб., 1996. С. 155–177.

⁴ Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. М., 1960. Вып. 1; Мартине А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. М., 1963. Вып. 3. С. 366–566; Чейф Уоллес Л. Значение и структура языка. М., 1975; Гийом Гюстава. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992.

⁵ Баранов А. Н. Указ. соч. С. 97.

⁶ КСКТ — Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М., 1997.

⁷ Аристотель. Сочинения. М., 1984. Т. 4.

⁸ Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 33–43.

- ⁹ *Портнов А. Н.* Взаимосвязь языка и сознания в философии XIX–XX веков: Методологический анализ основных направлений исследования: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Иваново, 1998.
- ¹⁰ *Мак-Кормак Э.* Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 360.
- ¹¹ *Петров В. В.* Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу // Вопросы языкознания. 1990. № 3. С. 135.
- ¹² *Ортега-и-Гассет Х.* Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- ¹³ *Берков В. П.* Норвежская лексикология. СПб., 1994.
- ¹⁴ *Рикёр П.* Живая метафора // Теория метафоры. М., 1990. С. 444.
- ¹⁵ *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 452.
- ¹⁶ *Барт Ролан.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 539.
- ¹⁷ *Стернберг Р.* Триархическая теория интеллекта // Иностранная психология. 1996. № 6. С. 54–61.
- ¹⁸ *Мак-Кормак Э.* Указ. соч. С. 378; *Кондаков Н. И.* Логический словарь-справочник. М., 1976. С. 37.
- ¹⁹ *Лакофф Д., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990. С. 407.
- ²⁰ *Портнов А. Н.* Указ. соч. С. 47.
- ²¹ *Шур Г. С.* Теории поля в лингвистике. М., 1974.
- ²² *Лакофф Д., Джонсон М.* Указ. соч. С. 396.
- ²³ *Зимняя И. А.* Психология обучения неродному языку. М., 1989.
- ²⁴ *Ортега-и-Гассет.* Указ. соч. С. 210.
- ²⁵ *Кассирер Э.* Познание и действительность: Понятие о субстанции и понятие о функции. СПб., 1912. С. 26–27.
- ²⁶ *Ортони Э.* Роль сходства в уподоблении и метафоре // Теория метафоры. М., 1990. С. 219; *Рикёр П.* Указ. соч. С. 443.



Ю. А. Клейнер (Санкт-Петербург)

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА КАК ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Один из парадоксов литературного развития состоит в том, что литература в ее современном понимании — всегда результат заимствования. Как отмечает А. Б. Лорд, «народы Европы заимствовали литературные традиции и превращали их в свои собственные. Заимствованная литературная традиция вытесняла исконные устные традиции, а вовсе не развивалась из них. Не существует прямой линии развития от *chansons de geste* до „Гиссериады“, от „Беовульфа“ до „Потерянного рая“»¹. На фоне этого еще более уникальной представляется древнеисландская литература, где наряду с песнями «Старшей Эдды», которые даже в дошедшем до нас виде опознаются как запись традиционных устных произведений, существовала скальдическая поэзия, развившаяся, скорее всего, внутри самой скандинавской (или древнегерманской) традиции и обладающая по крайней мере двумя признаками литературного произведения, а именно фиксированным текстом и наличием автора². Оба признака предполагают существование друг друга, хотя в исследовательской практике они использовались порознь: первый лег в основу устно-формульной теории М. Пэрри и А. Б. Лорда, второй — предложенной М. И. Стеблин-Каменским теории «неосознанного авторства»³, характерного для эпохи господства безличного фольклорного творчества.

По определению М. И. Стеблин-Каменского, «скальдическая стилистическая традиция... характеризует определенную стадию в развитии поэзии, а именно переход от господства безличного фольклорного творчества к осознанному личному авторству»⁴. В свою очередь авторство в скальдической поэзии относится исключительно к ее форме, основой которой был кеннинг. Но кеннинг «встречается и в древнеанглийской, и в древненижне- и верхненемецкой поэзии, не говоря уже о „Старшей Эдде“»⁵. Иными словами, кеннинг как таковой не был изобретением скальдов. В чем же тогда состоял переход к осознанному авторству? В том ли, что на основе кеннин-

гов скальды создали некую стихотворную форму, которая «исключала возможность пересочинения в процессе бытования этих стихов в устной традиции»⁶? Или же достаточно было того, что «скальды осознали себя авторами своих произведений»⁷?

Нужно заметить, что «строгость стихотворной формы» не является абсолютным критерием, достаточным для того, чтобы служить показателем смены типа авторства или традиции. Сходные проблемы обсуждались неоднократно в связи с формульной теорией, авторов которой упрекали в отождествлении формульности и устности. Так, один из самых серьезных критиков формульной теории Л. Бенсон считал, что: а) «некоторые произведения древнеанглийской письменной поэзии, оригинальные или даже переводные («Феникс», «Метры Бозция»), формульны ничуть не менее, чем предположительно устные произведения», и б) «наряду с устной, существовала древнеанглийская письменная традиция⁸; ... к этой традиции восходят дошедшие до нас тексты»⁹.

Ранее мне уже приходилось писать о том, что данное положение было впервые высказано Ф. П. Магуном, а вовсе не авторами устно-формульной теории, которые рассматривали формулы лишь как один из показателей устности¹⁰. Тем не менее ошибка оказалась весьма живучей¹¹; неудивительно, что не только противники, но и многие сторонники устно-формульной теории исходили из допущения, что устность тождественна формульности, а формульность — устности, понимая при этом формульность как стереотипность¹². Последняя свойственна авторам, «не стремящимся к оригинальности», произведения которых принадлежат письменной литературе, действительно сосуществующей с устной словесностью и, как говорилось выше, постепенно вытесняющей последнюю. Как далеко зашел этот процесс в той или иной литературе, можно судить не столько по форме самих произведений (скажем, по насыщенности их тем, что, возможно, ошибочно принимается за формулы), сколько по косвенным данным, таким, например, как цитация, свидетельствующая о наличии в данной традиции фиксированных текстов¹³.

Не обсуждая сейчас вопрос о способе и характере древних и средневековых записей изначально устных произведений, заметим, что, как и записи, сделанные современными фольклористами, они автоматически меняют сферу бытования текста. Соответственно (изначально) фольклорный текст может интерпретироваться (и зачастую интерпретируется), исходя из правил поэтики литературной традиции. Примером такой интерпретации могут служить современные переводы некоторых слов и словосочетаний в эпических, в частности древнегерманских, памятниках, в том числе и переводы, обсуждавшиеся М. И. Стеблин-Каменским в работе, посвященной древнеанглийскому субстантивному эпитету, ср. «... первый элемент племенного названия переводится буквально, т. е. Gār-Dene переводится „Die Speerdänen“ или „The Speardanes“... Такие переводы встреча-

ются и в многочисленных изданиях „Беовульфа“, и в словаре Босворт — Толлера, и в комментарии к „Беовульфу“ Хопса¹⁴. Строго говоря, эти «переводы» нельзя назвать интерпретацией, поскольку значение первого компонента в них все равно нуждается в комментарии.

Такой же буквализм используется и в некоторых современных поэтических переводах¹⁵, ср.: *beadu-leoma* (1523) — «луч сражений» (Тихомиров) и «battle-torch» (Heaney), но «Blitzende Schwert» (Lehnert); *beadu-lac* (1561) — «[излишне тяжек в] игре сражений» (Тихомиров), но «Kampf» (Lehnert) и «battle» (Heaney); *beadu-grima* (2257) — «гордые шлемы» (Тихомиров), «war-mask» (Heaney), но «die Helme» *beaduhraegl* (552) — «Kämpfergewand» (Lehnert). То же сочетание В. Г. Тихомиров переводит как «рубаха-кольчуга». Очевидно, что такой перевод преследует единственную цель — сохранить двусоставность слова. Но этот принцип не выдерживается последовательно ни одним из переводчиков «Беовульфа», ср.: *gūþ-beorn* (314) — «ратник» (Тихомиров) и «the noble warrior» (Heaney). В последнем случае перевод явно оценочный. Такими же являются переводы Э. А. Кока, рассматриваемые в статье о субстантивном эпитете, например *wæl-bend* «губительные оковы», *wæl-sceaft* «смертоносное копье»¹⁶.

Даже если принять подобную интерпретацию того или иного эпитета, она вряд ли может сохраниться на протяжении перевода всего текста, поскольку главная трудность для переводчика состоит в том, чтобы справиться с обилием синонимов, которыми обычно насыщены героический эпос¹⁷. Казалось бы, в этой ситуации предпочтительным окажется буквальный перевод двусоставных слов или словосочетаний, повторяющийся на протяжении всего текста. Это вполне возможно при переводе их на английский или немецкий, т. е. с сохранением «Spear-Danes» — «Speer-/Gerdänen» везде, где встречается упоминавшееся выше *Gār-Dene*. Так и поступают авторы современных поэтических переводов, но лишь отчасти, ср. *Spear-Danes* (Crossley-Holland: 601, 2494; Heaney: 1), *Gerdänen* (Lehnert: 601, 1856, 2494), при *Danes* (Crossley-Holland, Heaney: 1856), *Dänen* (Lehnert: 1).

И исключение эпитета в английском или немецком переводе, и перевод *Gār-Dene* как «дань» в русском языке не меняют значения слова настолько, чтобы оно перестало быть синонимично само себе. По крайней мере такие переводы не придают слову оценочности, возможно, отсутствующей в данном поэтическом языке, как это было бы в случае «копьеносных данов», т. е. «данов, воюющих копьями»¹⁸.

Оценочность возникает при замене эпитета, т. е. при переводе, например, *Gār* (копье) как «доблестные», *Gūþ* (война) как «славные», когда эпитету приписывается «величальная функция», на которую обращают внимание практически все исследователи древнегерманской поэзии¹⁹. То же относится к *þeod* «народ», что также используется в качестве субстантивного эпитета, например в *þeodcyning*: «Volkskönig» (Lehnert: 2144, 2963), «king of his people» (Crossley-Holland: 2970),

«народоправитель» (Тихомиров: 2963). «Величальный эпитет» может, однако, исключаться в переводе, ср. «the king» (Heaney во всех случаях; Crossley-Holland: 2144), «конунг, вождь» (Тихомиров). Не случайно, видимо, в переводе начала «Беовульфа» (*Gār-Dena / þēod-cyninga þrym gefrunon*) К. Кросли-Холланд объединяет *Gār-Dena* и *þēod-cyninga*, переводя все это как «of the Danish kings» и убирая таким образом из перевода все «величальные» коннотации. Последние, если и были частью семантики соответствующего «эпитета» или компонента сложного слова на каком-то этапе развития данной традиции²⁰, совсем не обязательно осознавались как таковые поэтом²¹, породившим данный текст, или его аудиторией. Вряд ли можно доказать, что конунг Хродгар в одной и той же речи называет свой народ то «западными» (383), то «восточными» (393) данами, а Беовульф, отвечая ему, говорит о «южных» данах (463), которые далее именуется «северными» (783), потому что речь идет о разных племенах или областях Дании. В то же время несомненно, что в каждом из перечисленных случаев стих содержит слово, аллитерирующее с данным эпитетом, ср. *West-Denum* — *wēn*, *Ēast-Dena* — *æþelu*, *Sūð-Dena* — *gesohte*, *Norð-Denum* — *nīwe*.

Критикуя Кока, М. И. Стеблин-Каменский замечает среди прочего, что тот «ничего не говорит о возможном влиянии аллитерационной техники на выбор субстантивных атрибутов»²². В статье о субстантивном эпитете, где аллитерации отводится значительное место, говорится, в частности: «обилие сложных слов, особенно таких, чье значение могло бы быть выражено и не сложным словом, ... несомненно, связано с техникой аллитерационного стиха. Поскольку двучленное сложное слово обычно занимает не меньше половины нормального полустушия, а часто и все полустушие, его первый слог несет на себе одно из двух метрических ударений данного полустушия и... в подавляющем большинстве случаев аллитерирует в своем стихе»²³. Здесь, пожалуй, теория неосознанного авторства более всего сближается с теорией Пэрри—Лорда, причем именно в той ее части, которая относится к «подходу со стороны формы» (см. прим. в конце статьи), т. е. «метрических условий», которые упоминаются в определении эпической формулы, ср.: «группа слов, регулярно используемая в одинаковых метрических условиях для выражения данной основной мысли»²⁴. В это определение, с некоторыми оговорками и уточнениями²⁵, вписывается процитированное здесь высказывание, имеющее прямое отношение к устройству поэтического языка «до-авторской», в частности эпической, традиции.

Если «поэтический язык» — не метафора, а термин, то, как любой термин, он должен содержать признаки, позволяющие отождествить данное понятие со всеми остальными понятиями того же класса. Иными словами, если речь идет о языке (пусть даже специфическом), последний должен обладать признаками, свойственными ми естественному языку, — в частности, располагать собственными

единицами, на которые членится текст, и правилами их сочетаемости (т. е. словарем и грамматикой). Одной из единиц членения является сам стих²⁶, но он не может рассматриваться как единица поэтического словаря.

Учитывая сказанное выше, следует признать, что такими единицами не являются и слова, поскольку значения по крайней мере некоторых из них не совпадают с общеязыковыми. Это прежде всего касается субстантивных эпитетов, постоянство которых (одна из самых характерных черт традиционной поэзии), как правило, лишает их самостоятельного значения. Например, *стольный град* в сочетании *стольный град Киев* никак не меняет значения слова Киев: былинный Киев — всегда *стольный град*. В сербском эпосе топонимы Прилип, Стамбол в сочетаниях *у Прилипу*, *у Стамболу* значат просто «город»; на их месте может быть любой другой город, название которого в дательном падеже трехсложно, например *Травник* (*у Травнику*) или *Кладуша* (*у Кладуши*). То же относится и к сочетаниям предлогов с именами нарицательными, например *а у кули* «в башне», *а у двору* «во дворце»²⁷; такие сочетания обозначают просто «нахождение в каком-то месте». Функция предлога здесь также состоит в первую очередь в заполнении метрической позиции (добавление слога), ср. *по дороге* и *дорогою*, соответственно статус его как самостоятельного слова, проблематичный в принципе, еще более снижен. Если с точки зрения структуры данного (естественного) языка формула представляет собой сочетание более или менее самостоятельных элементов (слов), то в поэтическом языке она представляет собой инвариант, объединяющий варианты, входящие в формульную систему. Элементы формулы можно, таким образом, уподобить морфам, варьирующим в зависимости от позиционных, в данном случае метрических, условий — структуры стиха в целом и структуры стопы, аллитерационной схемы и т. д., т. е. всего того, что лежит в основе поэтики данной традиции.

К формулам, несомненно, относятся и «двучленные сложные слова, занимающие часть полустушия или целое полустушие». Возвращаясь к примерам типа *Gär-Dene*, можно поэтому заметить, что в эпосе племенное название является величальным и само по себе, т. е. народ может быть только славным, воинственным и т. д. То же относится и к его отдельным представителям, т. е. героям (богатырям), которые всегда единичны в германском эпосе и которым дружина противопоставляется только как целое. Иными словами, значение формулы совпадает со значением ядерного слова в ней²⁸.

Среди прочего это означает, что даже перевод, сохраняющий все без исключения сочетания, являющиеся традиционными формулами, не может дать полного представления о традиции, поскольку он предназначен для читателей, рассматривающих элементы таких сочетаний как самостоятельные единицы (слова)²⁹.

Пример такого же восприятия двухчастного слова, типичного для эпоса, встречается уже в *Круге Земном* в *Сеге о Харальде Прекрас-*

новолосом (гл. IV). Гюда, дочь Эйрика конунга из Хёрдаланда говорит, что согласится стать женой Харальда «не раньше, чем он подчинит себе всю Норвегию и будет править ею так же единовластно, как Эйрик конунг — Шведской Державой или Горм — Данией... *þviát... hann mega heita þjóðkonungr*». (В переводе М. И. Стеблин-Каменского: 'большой конунг'.)

Такое переосмысление — результат изменения не формы, от отношения к ней. В поэзии то же самое означало бы распад формулы и соответственно смену поэтической традиции. Начало этого прослеживается, по-видимому, уже в эпосе. Так, Беовульф в поэме называется *sunu/maga Ecgþēowes*. Оба компонента этого сочетания могут рассматриваться как самостоятельные слова: Беовульф — действительно сын/родич Эгтеова, и — главное — замена *Ecgþēowes* на *Ecglāfes* меняет значение всего сочетания (*sunu/maga Ecglāfes* — это Унферт). Таким образом, данные сочетания оказываются частью системы подстановок, описываемой формулой *X madelode, сын/родич/отпрыск Y'a* (*Bēowulf madelode, beorn Ecgþēowes*), где второе полустишие занимает сочетание, являющееся повтором (а не синонимом) имени собственного и соответственно частью формулы того же типа, что, например, у *Прилипу/Стамболу* и т. д. *граду беломе* сербского эпоса. Поскольку значение части формулы «совпадает со значением ядерного слова» (см. выше), имя собственное (синоним двухчастной формулы) оказывается не столько словом (как в естественном языке), сколько частью формулы, а в каких-то ситуациях и формулой, которая, таким образом, и является минимальной значимой единицей поэтического языка эпоса.

Сказанное выше в полной мере относится и к словам типа *hronrād* «море» (букв. «дорога китов»). Наличие *swanrād* «дорога лебедей» (= море) в аналогичном контексте свидетельствует о том, что оба слова вписываются в формулу *over X-rāde* «морем». И *hronrād/swanrād*, и *sunu/maga Ecgþēowes/Ecglāfes* сходны со скальдическими кеннингами (первое по значению, второе по значению и форме). Варьирование, наподобие *hron-/swanrād*, допускается и в подлинных (скальдических) кеннингах, с той, правда, разницей, что в подстановках участвуют элементы одного и того же класса (например, в кеннингах женщины: богиня, валькирия, дерево женского рода + определенное: любой предмет домашней отделки или утвари, украшение, наряд, головной убор): *Герд золота, береза заязья* и т. п.³⁰

В формулах типа *sunu/maga/beorn Ecgþēowes/Ecglāfes* в подстановках также участвуют слова одного класса. Однако сами подстановки производятся по несколько иной схеме, предлагающей полную синонимию ядерных элементов формулы (*sunu/maga/beorn* = «родич»). В скальдическом кеннинге, строящемся по модели родственник *Y'a, сын Одина*, — Тор, муж Нанны, отец Фрейра и Фрейи — Ньёрд и т. д., ядерные элементы (термины родства) находятся в отношениях оппозиции: муж *Сив* — это Тор, а сын *Сив* —

Вали. В отношениях оппозиции находятся и все прочие элементы кеннингов: *einhendá ás* «однорукий ас» — Тор, *siðskeggja ás* «длиннобородый ас» — Браги, *blinda ás* «слепой ас» — Хёд и т. д.³¹ При этом кеннинги в целом допускают омонимию, несвойственную эпическим повторам (*сын Одина* — это и Тор, и Тюр). В то же время кеннинг может быть синонимом имени собственного, подтверждая, таким образом, его самостоятельный статус.

Если элементы формул можно уподобить морфам, то отношения между элементами кеннингов не оставляют сомнений в том, что это — слова. Соответственно исключение элемента *X* (*Bēowulf*, *Unferþ*) в формуле можно уподобить синхронной морфологической операции, тогда как строящийся по такой же модели кеннинг — это результат диахронического процесса. Показательно, что возникновение кеннингов, в которых определением служит «рука», объясняется обычно выпадением «первого члена в определении типа „огонь руки“ (т. е. „золото“) в трехсложном кеннинге типа „Фрейя огня руки“ или „Бальдр огня руки“»³². Другое объяснение (в одном из фрагментов «Эдды») состоит в том, что такие кеннинги — результат «двусмысленности одного из синонимов руки: *tund* „рука“ и „приданое“; таким образом, „Фрейя приданого“, т. е. женщина = „Фрейя руки“»³³. Не обсуждая правильность этих трактовок, можно сказать, что в обоих случаях речь идет о синтаксической конструкции, трактовка которой основывается на значении входящих в нее слов.

Существенно, что все слова, входящие в кеннинги, включая имена собственные, могут использоваться в тех же значениях и вне кеннинга («хейти»), что и позволяет говорить об особом поэтическом словаре, выходящем за пределы словаря естественного языка.

Такое отличие кеннинга от формулы делает подход к переводу скальдической поэзии принципиально отличным от принципов перевода эпоса, поэтика которого строится на формулах. В принципе, ничто не мешает переводить кеннинги дословно (точнее, «пословно»), как это часто и делается³⁴. Правда, как отмечает О. А. Смирницкая, «как бы ни расширял свои права переводчик, ему не пришлось все же спорничать со скальдами в богатстве и разнообразии поэтических синонимов... [Т]рудно было бы найти в русском языке, даже обращаясь ко всем „запасникам“ его словаря, десятки синонимов для обозначения меча или вождя»³⁵. Заметим, что с подобными трудностями сталкиваются переводчики любой поэзии. Выход, предложенный О. А. Смирницкой, состоит в том, чтобы «несколько уменьшить ущерб, причиняемый поэтической лексике перевода, подражая скальду в искусстве создавать кеннинги»³⁶. Соответственно *veitim / valtafn frekum hrafn*, букв.: «накормим / убитыми жадного ворона» (виса из *Саги об Олаве Святом ССVIII*), переводится как «птицу / ран кормя», т. е. слово ворон заменяется кеннингом ворона.

Нетождество сохраняется и в этом случае: «Грудно отказать от воспитанной всем нашим поэтическим опытом потребности видеть

в [кеннингах] образ — в одних случаях традиционно поэтический («конь моря», «спор клинков»), в других как бы нарочито сниженный («колода ожерелый» = *женщина*, «лыжи жижи» = *корабль*). Между тем, скальдические кеннинги, как правило, совершенно условны»³⁷. Условность же кеннинга проявляется в том, что, например, в сочетании «конь моря» («корабль») «могут быть заменены оба компонента. Ближайшим источником для замен служат, конечно, все синонимы коня и моря ... любое из слов „лошадь, скакун, жеребенок, рысак, одёр и т. п.“ сочается с любым из слов ряда „океан, пучина, глубь, зыбь, хлябь“»³⁸.

Иначе говоря, в поэтическом языке скальдов значение слов, входящих в кеннинг, сводится к одному из признаков («семантических множителей», «примитивов»): «женский род», «влага» и т. п., что, вполне возможно, является наследием «эпической стадии», а значит, и косвенным подтверждением отсутствия самостоятельного значения у элементов эпических формул³⁹.

В этом и состоит отличие традиционной поэзии от поэзии нового времени, к которой относится и скальдическая поэзия. Соответственно переход от первой ко второй — это переход к новому поэтическому языку, основой которого является слово.

¹ Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994.

² Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. Л., 1978. С. 40, 41; *Он же*. Древнескандинавская литература. М., 1979. С. 81.

³ То, что эти признаки связаны между собой, было очевидно М. И. Стеблин-Каменскому. Об этом свидетельствует, в частности, его комментарий к конспекту книги А. Б. Лорда: «Очень близко к моей теории неосознанного авторства, но уже (только эпика) и подход со стороны формы» в тетради № 33, датированной апрелем 1974 — маем 1975 г. (там же, на с. 29, конспект сборника произведений Пэрри). Именно в это время М. И. Стеблин-Каменский впервые (по рекомендации А. С. Либермана) прочел книгу «The Singer of Tales», издание которой на русском языке он впоследствии поддержал (см.: *Клейнер Ю. А.* Устная форма и неосознанное авторство // Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994. С. 360).

⁴ Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. С. 42.

⁵ Там же.

⁶ Там же. С. 41.

⁷ Там же. С. 40.

⁸ Под письменной традицией Бенсон понимал «традицию, к которой относится поэзия, написанная писцами для читателей», т. е. произведения, «имеющие фиксированный текст, который доводится до аудитории (возможно, посредством чтения вслух)» (см.: *Клейнер Ю. А.* Устная форма и неосознанное авторство).

⁹ *Benson L. D.* The Literary Character of Anglo-Saxon Formulaic poetry // *Publications of the Modern Language Association of America.* 1966. Vol. 81. P. 334.

¹⁰ *Клейнер Ю. А.* Устная форма и неосознанное авторство.

¹¹ Показательно, что через шесть лет после выхода в свет книги А. Б. Лорда Бенсон все еще ссылался на Магуна.

¹² К такому подходу, гораздо более, нежели к теории Пэрри-Лорда в ее классическом виде, относится высказывание М. И. Стеблин-Каменского о том, что «последователи теории Пэрри-Лорда... воспринимали из нее только то положение, что основное в устной повествовательной поэзии — это ее „формульность“. При-

чина такого восприятия теории Пэрри–Лорда очевидна: исследование формульности допускает применение элементарных процедур, не требующих индивидуальности инициативы (вероятно, выявлять формулы могла бы и машина), а вместе с тем формульность древней поэзии не подразумевает ее внутреннего несходства с поэзией позднейших эпох. Так что, исследуя формульность, можно не отказываться от убеждения, что такого несходства нет. Между тем положение „где устность — там формульность“ и „где формульность — там устность“ — самое слабое место в теории Пэрри—Лорда. Как выяснилось в результате исследования древних литератур, формульность, совершенно аналогичная той, которую Пэрри и Лорд находили в устной повествовательной поэзии, можно обнаружить в литературе, которая, несомненно, была письменной. Кроме того, становится очевидным, что нет четкой границы между традиционными, хотя и варьируемыми в своих элементах сочетаниями слов и отдельными словами, традиционными для данного жанра. Применяя компьютер, вводя генеративно-трансформационные обоснования и достаточно широко понимая, что такое формульность, можно найти формульность в любом жанре, художественном или научном, в частности, и в работах, посвященных исследованию формульности» (*Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы.* Л., 1984. С. 145).

¹³ Этот вопрос подробно обсуждается на примере вставок из «Старшей Эдды» в «Младшей Эдде» и «Care о Волсунгах» в работе Ю. А. Клейнера «Устная традиция и письменная культура» (в печати).

¹⁴ *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика.* С. 19.

¹⁵ Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Пер. В. Г. Тихомирова. М., 1975; Beowulf // The Anglo-Saxon World. An Anthology / Ed. and transl. by Kevin Crossley-Holland. Oxford, 1984. P. 74–154; Beowulf. Ein altenglisches Heldenepos / Übertragen und herausgegeben von Martin Lehnert. Leipzig, 1986; Beowulf / A new verse translation by Seamus Heaney. New York, 2000.

¹⁶ *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика.* С. 26.

¹⁷ Ср., например:

Beowulf (550–554a):		Перевод Хини:
...mē wið lādum	lic-syrce mīn,	My armour...
heard, hond-locen,	helpe gefremede,	my hard-ringed chain-mail, hand forged and linked,
beado-hrægl broden...		a fine close-fitting filgree of gold. golde gegyrwed.

См. Beowulf and the Fight at Finnsburg. Lexington, Mass., 1950.

¹⁸ Ср. «the Shoulders of the Spear» (Heaney: 601). Ср. также: «gār-wiga... имеется в виду Виглаф, который сражается не копьем, а мечом, следовательно — „доблестный воин“» (см.: *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика.* С. 33).

¹⁹ *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика.* С. 19–20.

²⁰ Ср. «В большинстве случаев невозможно усмотреть какое бы то ни было различие в значении... синонимов... Несомненно, однако, что такое различие первоначально существовало» (см.: *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика.* Л., 1978. С. 11).

²¹ В данной традиции такой поэт, естественно, не может называться «автором» текста.

²² *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика.* С. 26.

²³ Там же. С. 12.

²⁴ Лорд А. Б. Указ. соч. С. 42.

²⁵ Германский материал, например, не всегда соответствует термину «группа слов».

²⁶ Это следует, в частности, из определения стиха как речи, «в которой, кроме общеязыкового членения на предложения, части предложений, группы предложений

- и пр., присутствует еще и другое членение — на соизмеримые отрезки, каждый из которых также называется „стихом“» (*Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строрфика. М., 1984*).
- ²⁷ *Лорд А. Б. Указ. соч. С. 48.*
- ²⁸ Здесь также уместна аналогия с естественным языком. О возможности совпадения значения части слова со значением целого слова на примере *Сувор-* и *Суворов* см. *Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988. С. 129–130.*
- ²⁹ Это относится и к записи устных произведений. Отсюда и расхожие представления о «богатстве фольклорного языка», «красоте эпитетов» и т. п.
- ³⁰ *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. С. 43.*
- ³¹ *Snorri Sturluson. Edda / Utgiven af Finnur Jónsson. København, 1900. P. 83–84; Младшая Эдда. Л., 1970. С. 62–64.*
- ³² *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. С. 45.*
- ³³ Там же.
- ³⁴ Пословным, хотя и не дословным, является, например, перевод *Hildar at leiki* как «игры валькирий» (Песнь о Бьярки, Круг Земной, Сага об Олаве Святом, ССVIII).
- ³⁵ *Смирницкая О. А. О поэзии скальдов в «Круге Земном» и ее переводе на русский язык // Snorri Sturluson. Круг Земной. М., 1980. С. 597–611.*
- ³⁶ Там же.
- ³⁷ Там же.
- ³⁸ Там же. С. 606–607.
- ³⁹ Таким же подтверждением завершения эволюции стиля является, по-видимому, и отмеченное М. И. Стеблин-Каменским исчезновение сложных слов как стилистического приема в среднеанглийской аллитерационной поэзии, естественно, уже не формульной (см.: *Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. С. 12–13*).



Е. В. Краснова (Санкт-Петербург)

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ

Превращение словообразования в самостоятельную отрасль лингвистического знания привело к появлению целого ряда исследований на материале разных языков. Большинство опубликованных в последнее десятилетие работ по словообразованию посвящено английскому и немецкому языкам, при этом поражает различие методов анализа языкового материала, многообразие классификаций и теоретических построений. Словообразованию в скандинавских языках, и в частности в датском языке, традиционно посвящаются лишь небольшие разделы грамматик или учебников¹, а отдельные работы, связанные с данной проблематикой в датском языке, крайне немногочисленны и, как правило, касаются лишь какого-нибудь одного аспекта². Обращает на себя внимание тот факт, что в грамматиках и учебниках при рассмотрении способов словообразования в датском языке словосложению обычно отводится гораздо меньше места, чем аффиксальному словопроизводству, а семантика и синтаксис отношений между первым и вторым элементами композита определяются очень схематично.

Вместе с тем словосложение, являясь важнейшим способом создания новых лексических единиц в датском языке, продуктивность которого непрерывно растет, несомненно, требует к себе более пристального внимания. Если судить по последнему изданию словаря новых слов³, то количество неологизмов-композигов более чем в три раза превышает количество всех остальных новых слов. Следует также подчеркнуть, что рассмотрение вопросов словообразования в целом не только в синхронном, но и в диахроническом аспекте также выводит словосложение на первый план. Ведь в скандинавских языках словосложение «исторически тесно связано с суффиксацией и префиксацией, поскольку словообразовательные элемен-

ты образуются из элементов сложного слова (например, суффиксы из существительных, употребляющихся как второй элемент сложных слов, или префиксы из прилагательных наречий)»⁴. А многие простые слова современного датского языка были в прошлом сложными, например: *barsel* «роды» в древнедатском было сложным словом *barnsøl*, что означало «праздник по случаю рождения ребенка».

Типы словосложения, представленные в датском языке, многообразны. Как и в других германских языках, наибольшее значение в скандинавских языках имело именное словосложение, и в частности соединение двух существительных⁵. В современном датском языке, при явном преобладании субстантивных композитов, встречаются и сочетания компонентов, относящихся к разным частям речи, например существительное и прилагательное, существительное и глагол, глагол и существительное, прилагательное и существительное. Другие модели встречаются значительно реже. В последнем издании орфографического словаря⁶ зафиксированы следующие комбинации: наречие + существительное (*alenefader* «отец-одиночка», *alenemoder* «мать-одиночка»); местоимение + существительное (*selvopfattelse* «представление о самом себе, самооценка»), числительное + существительное (*andengeneration* «второе поколение»), а также три примера сочетания междометие + существительное (*ahaoplevelse* «неожиданное узнавание, просветление»), *fyord* «неприличное слово», *hovsaløsning* «необдуманное решение»). По характеру отношений между компонентами большая часть сложных слов принадлежит к подчинительному типу, с главным вторым компонентом и зависимым первым. Как правило, первый компонент определяет второй, а второй дает общую морфологическую и семантико-категориальную характеристику соединения. Сложные слова сочинительного типа встречаются в датском языке значительно реже. Преобладание эндоцентрических подчинительных композитов как раз и делает материал датского языка чрезвычайно интересным для изучения семантических и синтаксических отношений, лежащих в основе структур разного содержания.

Необходимо отметить, что хотя компоненты сложного слова могут иметь разную словообразовательную структуру, членение сложного слова всегда бинарно, например: *friheds[kæmper* «борец за свободу» (оба компонента — суффиксальные основы), *husleje[kontrakt* «договор аренды жилья» (первый компонент — сложная основа, второй — простое слово).

Датскому сложному слову присущи все признаки цельнооформленности. Наличие одного главного ударения, как правило, считается одним из таких признаков, и поскольку в большинстве сложных слов основное ударение приходится на первый элемент, а второстепенное — на второй, возможно существование оппози-

ции: ,dansk 'lærer — 'dansk ,lærer. Вместе с тем в отдельных случаях наблюдается отклонение от этого правила. Например, в композитах, где второй элемент — прилагательное, а первый элемент при этом является усилительным, обозначающим наличие высокой степени какого-либо качества или свойства (smadderfuld «вдребезги пьяный»), drøngod «великолепный, превосходный»), dødsensfarlig «смертельно опасный»), имеется два равнозначных ударения. В отдельных случаях, которые не поддаются систематизации, ударение приходится на второй элемент, например: grønært, trykseksten, sydvest. Подобного рода отклонения от привычной фонетической модели отмечает и В. Адамс на материале английского языка⁷.

Хотя традиционно считается, что одним из признаков композита является его особый графический облик, т. е. слитное или дефисное написание, многие авторы отмечали недостаточность этого критерия для определения понятия «сложное слово», выдвигая на первый план грамматические и семантические критерии⁸. На первый взгляд орфографический критерий вполне может быть применим к датскому языку, где композиты оформляются в единый графический комплекс, а дефисное написание наблюдается в ряде новых слов на первом этапе вхождения в язык, и при этом через некоторое время обычно происходит переход к слитному написанию. Однако в последние десятилетия наметилась тенденция к отступлению от этого правила. Устойчивое дефисное написание характерно для сложных слов, первым элементом которых является аббревиатура (p-skive, edb-chef, IC-tog). Особый интерес представляют зарегистрированные словарями предложные сочетания типа jord til jord-missil и dag til dag-rente, а также императивные сочетания типа brug og smid væk, gør-det-selv, которые редко используются самостоятельно, а чаще всего как частотный первый элемент сложного слова, присоединяемый дефисом (brug og smid væk-ideologi, gør-det-selv-kursus, arbejde efter regelejerne-aktion). Иногда вместо императива в подобных образованиях используется инфинитив (folde-ud-pige, slapper-af-tøj). Некоторые из таких композитов, в первую очередь сложные слова, содержащие императив, были включены в последнее издание орфографического словаря. При этом множество окказиональных образований, созданных по этой модели под влиянием английского языка, приобрели за последние годы популярность, часто появляясь на страницах газет и в рекламе. Очевидно, также под влиянием английского языка наблюдается тенденция к раздельному написанию многочленных образований, прежде всего названий организаций и сложных слов с «модными» вторыми компонентами.

Вопрос о том, можно ли представить исчерпывающую классификацию тех семантических и синтаксических отношений, в которых находятся между собой первый и второй элементы сложного слова, по-прежнему остается открытым. Словосложение «служит отраже-

нию и выражению связанности предметов, процессов и т. д. в окружающем нас мире и из-за чрезвычайной сложности возможных типов связей в действительности может приводить к возникновению семантических структур разного содержания»⁹. Очевидным представляется то, что комплексность словообразовательного значения определяется целым рядом факторов, и в частности той частью речи, к которой относится первый компонент. В датском языке, как и в других германских языках, многообразии различных типов семантических отношений между первым и вторым элементами особенно велико у композитов с субстантивной основой.

Следуя классификации М. Д. Степановой и В. Фляйшер¹⁰, можно выделить наиболее распространенные типы семантических отношений первого и второго компонентов сложных существительных, а тем самым и словообразовательных значений в датском языке (А — основное слово, второй компонент; В — определитель, первый компонент).

1. Отношение, определяющее местонахождение, которое представлено различными типами, например: «А находится в В» (havekskur), «А происходит в В» (havefest), «А происходит от/из В» (landvin), «А ведет к В» (slotstrappe).
2. Отношение «времени», дифференцированное по «временной точке» (aftenkaffe) и «продолжительности» (dagsrejse).
3. Отношение предназначения, т. е. «пригодный/предназначенный для», распадающееся на следующие типы: «по месту» (bjergcykel), «по предмету, материалу» (maskinolie), «по лицу» (barnevogn).
4. Отношение «причины», т. е. «В является причиной А» (stormskade).
5. Отношение «сравнения», т. е. «А сходно с В» (stenansigt).
6. Отношение принадлежности, т. е. «А принадлежит В» (arbejderkone).
7. «А состоит из В», представленное двумя типами: «по материалу» (stengulv), «по отдельным составным частям» (ulveflok).
8. Отношение «часть — целое» — «А является частью В» (bjergryg).
9. Отношение средства, т. е. «В средство для А» (damplokomotiv).
10. «В является темой А» (afskedsbrev).
11. Отношение «производства», где выделяются два типа: «А производит В» (bogforlag), «В производит А» (komælk).
12. «А делает что-то с В» — эксплицитный агенс (boghandler).
13. «Что-то делают при помощи В» — неэксплицитный агенс (maskinoversættelse).
14. «Что-то происходит с В» (pladeoptagelse).

Вопрос о частотных компонентах сложных слов в датском языке пока что практически не разработан, хотя он очень существен как для общей теории словообразования, так и для лексикографической практики.

При изучении словообразовательных моделей в современном датском языке выделяется целый ряд продуктивных моделей, содержащих частотные вторые компоненты. По данным словаря новых слов¹¹ можно выделить около 80 вторых компонентов-существительных, ставших популярными за последние 20–30 лет. Однако при ближайшем рассмотрении эти компоненты оказываются неоднородными

в отношении происходящих с ними семантических изменений и продуктивности. В соответствии с этими различиями все новые композиты можно разделить на три группы.

Появление **первой группы** существительных с такими вторыми компонентами, как, например, *arbejde* «работа», *bus* «автобус», *center* «центр», *gruppe* «группа», *hus* «дом», *miljø* «(окружающая) среда», *princip* «принцип», *samfund* «общество», часто связано с действием экстралингвистических факторов, с появлением в жизни общества новых явлений и процессов. Слова этой группы оказываются очень частотными. В словаре новых слов зафиксировано, например, 65 новых слов со вторым элементом *center* «центр», что связано с появлением различного рода центров (молодежный центр, детский центр, центр для пенсионеров и т. п.). При этом в электронной картотеке Центра датского языка зарегистрировано 350 слов со вторым элементом *center*. Остальные элементы этой группы являются очень частотными в словаре, но еще более частотными в картотеке Центра датского языка (от 300 до 900 новых слов). В таких существительных второй компонент, как правило, не претерпевает значительных семантических изменений.

При этом в существительных **второй группы** последние элементы начинают приобретать новое, расширенное значение или же происходит изменение исходного значения на основе метафорического переноса. Например, существительное *flade* в современном датском языке имеет следующие значения: 1) «пространство», 2) «протяжение», 3) «поверхность», 4) «равнина», 5) «ладонь (руки)». В качестве второго компонента некоторых популярных композитов это слово приобрело новое значение, а именно «ряд радиопередач» (*familieflade* «радио- или телепрограммы, выходящие в эфир в определенное время и рассчитанные на всю семью», *børneflade* «радио- или телепрограммы для детей»). Существительное *pleje* «уход» ранее использовалось, когда речь шла об уходе за детьми, больными или пожилыми людьми. В составе ряда «модных» слов оно получило новое, расширенное значение «обслуживание, поддержание в порядке» (*imagepleje* «поддержание имиджа», *formuepleje* «работа, направленная на увеличение капитала или состояния», *kundepleje* «обслуживание покупателей или клиентов», *fiskepleje* «разведение рыбы»). Существительное *syndrom* «синдром» еще недавно использовалось только в значении «сочетание симптомов, характерных для какого-либо заболевания». Теперь же в составе многих композитов это слово используется в значении «характерная модель поведения, отличная от нормальной» (*walk-mansyndrom* — о людях, которые стараются изолировать себя от окружающего мира). Подобные семантические изменения можно также наблюдать на примере вторых элементов *aktion* «акция», *apparat* «аппарат», *avis* «газета», *bånd* «лента, пленка», *circus* «цирк», *demokrati* «демократия», *dod* «смерть», *effekt* «эффект», *facilitet*

«удобство», *flugt* «побег, бегство», *funktion* «функция», *ghetto* «гетто», *ideologi* «идеология», *imperialist* «империалист», *imperium* «империя», *kloft* «пропасть», *krig* «война», *kult* «культ», *kultur* «культура», *land* «страна», *landskab* «пейзаж», *linje* «линия», *mafia* «мафия», *pakke* «пакет», *safari* «сафари», *shop* «магазин», *situation* «ситуация», *skov* «лес», *støtte* «поддержка, пособие».

Образование сложных слов с этими компонентами носит в настоящее время лавинообразный характер, новые «модные» слова входят в речевое употребление не постепенно, а стремительно, так что быстро образуются определенные модели, которые служат затем основой для создания новых слов. Появление длинных рядов, которые содержат один и тот же элемент, обусловлено целым рядом факторов — тенденцией к экономии, унификации, системности языковых средств. Во многих случаях возникновение таких слов с переосмысленным значением объясняется задачами экспрессивно-эмоциональной выразительности. Принадлежащие бесконечному множеству комбинаций сегментов речи приобретают стереотипность и воспроизводимость, обогащая инвентарь языковых средств.

Семантика некоторых популярных вторых элементов позволяет создавать множество «модных» окказионализмов с собственным именем в качестве первого элемента. Особенно показательны в этом смысле слова *effekt*, *syndrom*, *kult*. Вот только некоторые из зафиксированных в базе данных Центра датского языка композитов со вторым элементом *effekt* и *syndrom*: *Gorbatjov-effekt*, *Le Pen-effekt*, *Robin Hood-effekt*, *Tjajkovskijeffekt*, *Jacques Delors-syndrom*, *New York-syndrom*, *Odysseus-syndrom*, *PeterPansyndrom*, *Pickwickssyndrom*.

Совершенно очевидно, что многие из подобных моделей пришли в датский из английского, а точнее — из американского варианта английского языка. Так, приведенные в качестве примера элементы *syndrom* и *pakke* изменили свое значение под влиянием английского. Изменение значения слова *arkitekt*, также, по-видимому, произошло под влиянием английского. И хотя это слово не является частотным (в базе данных Центра датского языка зарегистрировано только 13 сложных слов, содержащих этот второй элемент, однако в восьми из них *arkitekt* выступает в своем новом, переосмысленном значении «создатель, инициатор»). Аналогичное развитие значения этого слова можно наблюдать и в русском языке («архитектор реформ», «архитектор перестройки»). В электронной картотеке Центра датского языка зарегистрировано 72 слова со вторым элементом *ideologi* «идеология», получившим новое, расширенное значение, например: *brugsideologi*, *discountideologi*, *omsorgsideologi*. Как правило, новое значение второго компонента заимствуется на материале одного слова, а затем оно получает широкое распространение и уже независимо от английского начинается активное репродуцирование заимствованного компонента в составе сложных слов с первым датским элементом.

Третья группа продуктивных словообразовательных моделей в современном датском языке характеризуется достаточно большим семантическим сдвигом второго элемента по сравнению с соотносимой свободной лексической единицей, что приводит к делексистализации этих элементов и превращению их в полуаффиксы, в которых остается лишь неотчетливое напоминание об исходном значении. Наиболее яркие примеры содержат следующие вторые компоненты: *venlig* — исходное значение «дружественный, дружеский» (*børnevenlig* «рассчитанный на детей, подходящий для детей», *handicapvenlig* «удобный для инвалидов»), *rigtig* — исходное значение «правильный» (*moderiktig* «модный», *prisrigtig* «имеющий хорошую, „правильную“ цену», *bruserrigtig* «удобный для пользователя»), *bevidst* — исходное значение «сознающий, сознательный» (*modebevidst* «следящий за модой», *prisbevidst* «задумывающийся о цене, экономный»). В начале такого процесса грамматикализации находится и элемент *tung* — исходное значение «тяжелый» (*beskæftigelsestung* «требующий большой рабочей силы», *energitung* «требующий энергии», *videnstung* «требующий больших знаний»). В электронной картотеке Центра датского языка элемент *tung* зарегистрирован в составе 170 слов, причем в большей части этих слов он используется в новом значении, с заметным семантическим сдвигом. При этом необходимо отметить, что определение статуса элементов, находящихся в переходной от самостоятельного слова к аффиксу стадии, представляет собой довольно сложную задачу, решение которой, безусловно, требует статистического анализа большого объема материала.

Семантические изменения, при которых значение второго компонента сложных слов проходит путь расширения значения, движения от конкретного к абстрактному, существенно расширяют продуктивность таких элементов и приводят не только к появлению ряда зафиксированных словарем неологизмов, но и к возникновению большого количества модных окказионализмов. Но даже в случаях полного семантического совпадения частотного второго компонента и свободной леммы всегда наблюдается несколько более высокая степень обобщения и абстракции в компоненте.

¹ *Hansen Aa.* Moderne dansk. København, 1967; *Jarvad P.* Nye ord — hvorfor og hvordan? København, 1995; Danish: A Comprehensive Grammar. London; New York, 1995.

² *Hansen E.* Orddannelse på hjemlig grund // Sprog i Norden. 1985. N 4; *Køneke M.* Søvnbesvær & sovepiller. Om substantiviske komposita. Danske studier. København, 1989; *Køneke M.* Surdejsskålen og oliefluglene. Om komposita og «bekvemmelighedskomposition». Danske studier. København, 1990.

³ *Jarvad P.* Nye ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955–1998. København, 1999.

⁴ *Стеблин-Каменский М. И.* История скандинавских языков. М.; Л., 1953. С. 272.

⁵ Там же. С. 273.

⁶ Retskrivningsordbog. København, 1996.

⁷ *Adams V.* An Introduction to Modern English Word-Formation. London, 1973. P. 59–60.

- ⁸ *Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. М.; Л., 1957. С. 221; *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М., 1998. С. 114–137; *Adams V.* Op. cit. P. 59; *Marchand H.* The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. Wiesbaden, 1960. P. 14–15.
- ⁹ *Кубрякова Е. С.* Теория номинации и словообразование // Языковая номинация: виды наименований. М., 1977. С. 283.
- ¹⁰ *Степанова М. Д., Фляйшер В.* Теоретические основы словообразования в немецком языке. М., 1984. С. 121–122.
- ¹¹ *Jarvad P.* Nye ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955–1998. København, 1999.



Ю. К. Кузьменко (Германия, Берлин)

О ПОЯВЛЕНИИ СУФФИГИРОВАННОГО ОТРИЦАНИЯ В ДРЕВНИХ СКАНДИНАВСКИХ ЯЗЫКАХ

В скандинавских языках сформировалась система отрицания, отличная от системы отрицания других германских языков. Отрицательные частицы *not* и *nicht* в современных западногерманских языках развились из сочетания *ne* + неопределенное местоимение *wiht* со значением «какой-то, что-то». Вначале усилительная отрицательная частица сочеталась с предваряющим ее отрицанием *ne*, а затем стала самостоятельно выполнять функцию отрицания (англ. *ne...no wiht* > *ne...not* > *not*; нем. *ni...niowiht* > *ne...nicht* > *nicht*¹. Исчезновение предваряющего *ne* и переход функции отрицания к усилительному элементу были характерны и для скандинавских языков. Однако в современных континентальных скандинавских языках не сохранилось следов общеиндоевропейской отрицательной частицы *ne*, а в современном исландском она сохранилась только в значении «также не» после отрицания или в составе сложного отрицания *hvortki...ne* в значении «ни...ни». Кроме того, в скандинавских языках элементом, вытеснившим *ne*, была не частица, образованная путем слияния *ne* + *wiht*, а частица с суффиксом, имевшим отрицательное (исконно усилительное) значение (*-gi*). Именно суффиксация отрицательных частиц, следы которой сохраняются в отрицательных словах всех современных скандинавских языков (ср.: исл. *eigi*; шв., норв. *ej*; дат. *ei*; исл. *ekki*; шв. *ecki*; норв., дат. *ikke*; исл. *engin*; шв., норв., дат. *ingen*; исл. *aldregi*; шв., дат., норв. *aldrig* и т. п.) и которая была очень продуктивной в древних скандинавских языках, отличает скандинавские языки от западногерманских языков. Кроме того, в древнеисландском есть отрицательный суффикс *-a(t)* (*vasa* «не был», *fannkat* «я не нашел»), который встречается и в нескольких рунических надписях в континентальной Скандинавии².

Таким образом, скандинавские языки отличаются от других германских языков и исчезновением при общем отрицании следов *ne*,

сохраняющегося во всех индоевропейских языках, и суффиксацией отрицания. Первый процесс, несмотря на свою редкость, имеет соответствие в индоевропейских языках: это и перенос отрицательной семантики как на усилитель, содержащий исконное *ne* (английский и немецкий языки — см. выше), так и на усилитель без *ne* (французский — ср. франц. *ne...pas* > *pas*). Суффиксация же отрицания — явление нехарактерное не только для германских, но и для других индоевропейских языков. Типологически суффиговое отрицание сближает древние скандинавские языки не с индоевропейскими, а с тюркскими, дагестанскими и эскимосско-алеутскими языками³.

Суффиксация усилителя, встречавшегося прежде всего в сочетании с отрицанием, была характерна и для готского языка, где в качестве усилительной энклитики при неопределенных местоимениях употреблялось *-hun*, которое этимологически связывают со скандинавским *-gi* (ср., готск. *ni hvashun* «никто», *ni hvanhun* (*aiw*) «никогда», *ni mannhun* «никто», *ni ainshun* «никто, ни один»⁴). Однако в готском *-hun* не успело развиться в отрицательный суффикс, а оставалось усилителем, поскольку никогда не употреблялось в значении отрицания без *-ne*. В скандинавских же языках мы встречаемся не только с именным и адвербиальным отрицательным суффиксом *-gi/ki*, но и с приглагольным отрицательным суффиксом, имевшим варианты *-a*, *-at* и *-i*. Попытаемся ответить на вопрос, с чем могло быть связано такое негерманское и даже неиндоевропейское явление в древних скандинавских языках?

Суффиговое отрицание в древнеисландском языке Отглагольный суффикс *-a(t)*

Глагольный суффикс *-a(t)* был очень продуктивным в языке древнезападноскандинавской поэзии начиная с самых первых ее памятников. Он встречается уже у первого известного нам норвежского скальда IX в. Браги Боддасона: *Letrat lýða stillir... á sandi höð glamma mun stöðva* — Ragnarsdrapa (10) «Не позволит предводитель воинов...остановить шум битвы на песке»; *Vildit vröngum ofra / vágs hyrsendir ægi* (19) «Не хочет вражду затевать воин с морем (Эгиром)». См. также формы *fannkat* «я не нашел», *fráat* «не знает», *vasa* «не было» и т. п. у других скальдов IX в.⁵ О том, что такие формы действительно существовали в то время (тексты скальдов дошли до нас в рукописях, появившихся спустя 300 лет), свидетельствует форма *munat* «не будет» в скальдическом стихе в рунической надписи X в. на острове Эланд (Öl 1, Karlevistenen: *munat raif uifur raða ruk starkr i tanmarku*... «Не будет (больше) сильный в бою Рейд-Видур (вождь) править в Дании...») Суффиговое глагольное отрицание есть и во многих песнях «Старшей Эдды» (ср., напр., *vara Vsp.* 6, 3; *verðra Hrb* 3, 4; *fannta Hrb* 14, 3; *skala Háv* 35, 2).

Часто суффиговое глагольное отрицание стоит после местоименной энклитики, восходящей к местоимению первого лица ед. числа *ek*, ср. *áka* (Fm 2, 4); *kveðka* (Ls 18, 2), причем такая форма может предваряться полной формой местоимения *ek* (*ek...ákka*; *ek...kveðka*). Возможен и повтор *-k* после отрицания (*þikkak* < *þigg-ek-a-ek* — Skm 22,1).

Формы суффикса *-a*, *-at*, *-t* находятся, как правило, в дополнительной дистрибуции: *-a* употребляется в том случае, если следующее слово начинается с согласного или в конце строки (как, напр., в Ls 22, 5; Akv 6, 7), а также после согласного, хотя возможны и исключения (*rennia* ННП, 30, 5; *letia* Sg 45, 5). В других случаях стоит *-at*: (Ls 28, 5); *verðrat* (Vm 16, 6); *varat* (Vm 38, 8); *villat* (Háv 113, 4); *munat* (Gr 52, 2). После глагольных форм, оканчивающихся на гласный, как правило, стоит простое *-t* (ср.: *værit* Háv 39, 3; *bítat* Háv 146, 6; *sagðit* Нум 14, 1), в Эдде наиболее часто после *-i* (24 случая) и *-u* (11) (*angrapit*, *deilit*, *haldit*, *erut*, *máttut*, *vissut*). Свейнбьерн Эгильссон отмечал связь формы суффикса с количеством слов в фразе. Форма *-at* наиболее часта в «Старшей Эдде» в односложных формах (80 случаев), только три примера с *-at* в двусложных формах. Форма *-a* встречается и в односложных (около 80 случаев), и в двусложных формах (30)⁶.

В древнеисландской поэзии *-a(t)* чаще всего употребляется без каких-либо усилителей, однако он может сочетаться и с *né*, прежде всего когда *né* употреблено в значении дизъюнктивного союза «ни...ни», и в сочетании с усилителями отрицания (*aldrigi*, *á engi veg*). В прозе суффикс *-a(t)* встречается намного реже. Однако он возможен в законах, в частности в «Сером гусе», и в пословицах, дважды встречается в Первом грамматическом трактате, редко — в переводной литературе⁷. В сагах он встречается, видимо, только в устойчивых выражениях, как, напр., *Flyra sá eld, er yfir hleypr* «Не бежит от огня тот, кто прыгает через него»⁸.

Вопрос об источниках суффикса *-a(t)* остается открытым⁹. Нет даже единого мнения о том, восходят ли формы *-a* и *-at*, *-t* к одному источнику или нет. По одной гипотезе источником суффикса *-a* было наречие, соответствующее готскому наречию *aiws* «всегда», которое сохраняется в древнеисландском в виде *ey*, *æ*, а форма *-at* восходит к форме среднего рода неопределенного местоимения со значением «одно, некое» (*at* < *eitt* < **eint*), соответствующего реконструируемой (но незафиксированной) готской форме **ainata*¹⁰. Кокк, который первый предложил этимологию *at* < **ainata*, позднее возводил и форму *-a* к тому же источнику¹¹. По Кокку, форма *-at* в некоторых позициях, в частности перед *-k*, имела фонетический вариант *-a* (*má-k-at-k* > *mákakk* > *mákak* «я не могу»). Из формы типа *má-k-a-k-a* проникло в другие формы. Брате, предвзято идею Кокка о едином источнике *-a* и *-at*, предложил рассматривать *-a* как форму, также восходящую к форме среднего рода неопределенного местоимения

«какое-то», однако имевшему вид не **ainata*, а **aina*¹². Дельбрук писал о возможности возведения *-a(t)* к **waiht*, др.-исл. *vætt*¹³, основываясь, вероятно, на развитии отрицательных частиц в западногерманских языках (ср. нем. *nicht* < *ni wiht*), однако древнеисландская форма со словом, соответствующим древневерхненемецкому и древнеанглийскому *newiht*, образована с отрицательным суффиксом *-gi* (*vættiki*, *vættugi*). В современных этимологических словарях мы встречаемся с разными вариантами предлагавшихся классиками скандинавистики этимологий. Единственная гипотеза, не нашедшая поддержки, — гипотеза Дельбрука (*at* < *ne *waiht*). Наиболее популярна гипотеза Кокка—Брате (*-a* < **ain* < **aina*, *at* < **ait(t)* < **aint* < **ainata*)¹⁴.

Если по поводу этимологии *-a(t)* существует расхождение во мнениях, то пути формирования отрицательного значения у суффикса *-a(t)* всеми реконструируются одинаково. Предполагается, что первоначально отрицание выражалось препозитивной частицей *ne*, а элемент (**ainata*, **aina* или **aiws*), ставший впоследствии отрицательным суффиксом, был усилителем отрицания. Конструкция *ne Vb *ainata*, **aina* или **aiwa*, типологически соответствующая французской циркумфиксной конструкции *ne Vb pas*, впоследствии потеряла отрицательную частицу *ne*, и функцию отрицания переняло *-a(t)* (ср. фр. *ne...pas* > *pas*). Так, формы типа *ef födor né áttat* (Fm 3) «если отца не имеешь», *er sína mælgæ né manat* (Ls 47, 3) «кто свою болтовню не помнит», *gest þú né geyja, né á hrind hrökkver* (Háv. 134, 5) «гостя ты не ругай и в дверь не выталкивай», в которых общеиндоевропейская отрицательная частица *ne* сочетается с развившимся в общескандинавский период усилительным суффиксом *-a(t)* (*né áttat*, *né manat*, *né geyja*), теряют *né*, и значение отрицания начинает передаваться только суффиксом *-a(t)*¹⁵. В подавляющем большинстве случаев *-a(t)* уже употреблено без *ne*. Предполагается соответственно такая последовательность изменений: *geyja* < *né geyja* < **ne gaujeina(ta)* или **gauj-aiwa*. На каком этапе усилитель стал восприниматься как отрицание (типа компонента двойного отрицания в русском, ср. *никогда не ругай*), сказать трудно. Во всех засвидетельствованных древнеисландских памятниках *-a(t)* уже имеет значение отрицания.

Неккель считал, что в скандинавских языках отрицательная частица *né* исчезла вначале после паузы при постановке глагола на первое место, т. е. в сочетании *né veit(at) Haraldr* отрицание *né* исчезло, а в сочетании *Haraldr né veit(at)* сохранялось¹⁶. Поскольку постановка глагола в начало древнеисландского предложения — обычное явление, то потеря *né* в такой позиции привела к переносу отрицательного значения на суффикс *-a(t)* или на суффикс *-gi*¹⁷.

Суффиксальное *-a(t)* было архаичным уже в языке древнеисландских памятников, а в континентальной Скандинавии *-a(t)* встречается только в рунических надписях, причем крайне редко. Обычным показателем общего отрицания и в языке древнеисландской прозы,

и в других древнескандинавских памятниках является отрицательная частица *eigi* (др.-шв., др.-дат. *eghi, æghi, egh*), образованная с помощью другого отрицательного суффикса (*-gi/-ki*).

Отрицательный суффикс *-ki/-gi*

Суффикс *-a(t)* являлся прилагательным суффиксом общего отрицания. Именное и адвербиальное отрицание выражалось суффиксом *-kil-gi*. Суффиговое отрицание *-kil-gi* при существительных представлено в «Эдде», ср.: *Við hleifi mik sældu né við hornigi nýsta ek niðr Háv. 49*, «мне не дали ни хлеба ни рога а я не увидел внизу» (Ls 39, 4), *Úfgi hefir ok vel / er í böndom skal / böpa ragna riðkr* «Волку тоже будет не хорошо (букв. не Волку будет хорошо), когда в оковах будет ждать гибели богов»; *Vingi* «Недруг» (интерпретируется обычно как имя собственное) — *Rúnar nam at rista / rengði þær Vingi* «Руны начертала / испортил их Недруг» (Am 4, 1). С прилагательными, местоимениями и наречиями подобное отрицание встречается гораздо чаще: *þörfgi* «ненужный» (Háv 39, 8); *viltki* «неприятный» (Gdr 26, 6); *svági* «не так» (Háv 39, 5; Akv 25, 9); *þatki* «не это» (Hrb 6, 5; Grp III 3, 6); ср. также очень частотные *mangi* «никто», *eingi, einginn (eittki, ekki)* «никто (ничто), никакой»; *hvergi* «ни тот ни другой»; *vatki, þatki* «никакой»; *vætki* «ничто» и т. п.

Считается, что именно из сочетания суффикса *-gi* с наречием *eu* «всегда» и образовалась прилагательная отрицательная частица во всех древних скандинавских языках (ср. др.-исл. *eigi*, др.-шв. *æghi*, др.-дат. *egh*). Начиная с XV в. ее постепенно вытесняет другое образование с этим же суффиксом, восходящее к сочетанию *-gi* с неопределенным местоимением, в свою очередь восходящим к числительному «один» (исл. *ekki*, дат., норв. *ikke*, шв. *icke* < *eittki*).

Считается, что первоначальное значение суффикса *-gi* было не отрицательным, а только усилительным¹⁸. В некоторых случаях только усилительное значение еще сохраняется в древнеисландском (ср., напр., *...því at hit næsta sumar gat hvergi ber á Íslandi* «...потому что следующим летом каждый собирал ягоды в Исландии», *ef ættir vilgi mikils vald* «если ты имеешь очень большую власть», ср. также *hvergi* «везде», *nærgi* «когда-нибудь»¹⁹. В тех случаях, когда *-gi* сочетается с отрицанием *eigi* (*eigi miklogi minna*) или *né* (см. выше *né...hornugi*), его также можно, видимо, интерпретировать только как усилитель.

Скандинавское *-gi* связывают с готским *-hun*, который употреблялся для усиления отрицания с неопределенными местоимениями (см. выше). Частица имеет соответствия и во многих индоевропейских языках (ср.: лат. *-que*, особенно в формах типа *quisque, quodque*, «каждый», *quicumque* «который бы ни», слав. *же*, греч. *ge*, древнеинд. *gha*). Во всех индоевропейских языках эта частица имеет

прежде всего усилительное (или выделительное) значение. Только в древних скандинавских языках суффикс *-gi* имеет отрицательное значение. Появление у скандинавского суффикса *-gi* негативной семантики связывают с исчезновением отрицательной частицы *ne* в конструкциях типа *né veit eighi > veit eighi*²⁰. В самых старых исландских текстах (у скальдов X в.) *-gi/ki* имеет уже в основном только отрицательную семантику. Только отрицательную семантику имеет *-gi/ki* и в рунических надписях младшими рунами, где оно чаще всего встречается в форме *iki, aki*, которая интерпретируется как *eighi, eghi*²¹.

В индоевропейских языках мы встречаем как циркумфиксное отрицание²², так и отпадение первой части циркумфиксного отрицания, а также передачу функции отрицания второму компоненту (ср., напр., развитие во французском). Однако и существование конструкции с суффиксированным усилителем, и особенно суффиксация частицы с отрицательной семантикой — явления необычные не только для германских, но и для других индоевропейских языков.

В ряде последних работ я пытался показать, что появление в скандинавских языках таких агглютинативных черт, как суффиксированный артикль и суффиксированный пассив, могло быть связано с саамским влиянием²³. Не может ли суффиксация отрицания в древних скандинавских языках также стоять в одном ряду с этими явлениями?

Выражение отрицания в саамском языке

На первый взгляд саамская и скандинавская системы отрицания кардинально отличаются друг от друга. Принято считать, что в саамском, так же как и во многих других финно-угорских языках, нет отрицательной частицы, а общее отрицание образуется аналитически из личной формы вспомогательного отрицательного глагола и особой отрицательной неизменяемой формы основного глагола.

Отрицательный финитный глагол

Отрицательный глагол спрягается по лицам и числам (ср. сев.-саам. Sg. 1. *in*, 2. *it*, 3. *ii*; Dual. 1. *ean*, 2. *eahppi*, 3. *eaba*; Pl. 1. *eat*, 2. *ehpet*, 3. *eai*; ср., напр., сев.-саам. 1. sg. наст вр. *in bora* «я не ем» (*borrat* — «есть»); *in boade* «я не прихожу» (*boahtit* «приходить»); 2. sg. *it bora* «ты не ешь», *it boade* «ты не приходишь»; 3. sg. *ii bora*, pl. *eai bora* («он не ест, они не едят»); *ii boade, eai boade* («он не приходит, они не приходят»). Однако спряжение отрицательных глаголов отличается от спряжения обычных глаголов. Отрицательный глагол не несет в себе обязательных для всякого глагола лексических и синтаксических значений. Как правило, у него нет показате-

лей времени и наклонения — самых важных глагольных характеристик. Формы презенса употребляются и для обозначения отрицания в претерите потенциалисе и кондиционалисе. Показатель наклонения имеет инфинитная форма основного глагола (ср. сев.-саам. *in jeara* «я не спрашиваю» — *indikativ, in jearaš; konditionalis in jearaše (jearale), jearrat* — «спрашивать»). В претерите временной показатель тоже оказывается в форме основного глагола — ср. *in boah tán* «я не пришел», *in jearran* «я не спросил», где *boah tán* и *jearran* являются формами причастия II. Соответственно форма перфекта выглядит как *in leat boah tán*.

Хотя изменяемые по лицам и числам формы традиционно и называются отрицательными глаголами²⁴, это скорее дань традиции, поскольку основные глагольные категории время и наклонение не выражаются этими формами. В финно-угорских языках заметна тенденция к превращению отрицательного глагола в отрицательную частицу. При описании системы глагольного отрицания в финском языке, которая сходна с саамской, Селицкая определяет финские формы *en, et, ei* и т. п., которые также не являются формами времени и наклонения, как отрицательные частицы²⁵, которые в сочетании с отрицательным знаменательным глаголом образуют аналитическую форму²⁶. В финском языке возможно употребление *ei* и в значении «нет» — *ei ainoastaan tänään vaan myöskin huomenna* («не только сегодня, но и завтра»), *oletko sind Aarnio? Ei, mind en ole Aarnio* («Ты Арнио? Нет, я не Арнио») ²⁷. Селицкая утверждает, что в прибалтийско-финских языках отрицательная частица имеет чисто формальное значение²⁸. Превращение отрицательного глагола в отрицательную частицу можно наблюдать и в других финно-угорских языках. Так, в эстонском языке форма третьего лица, ед. числа *ei* распространилась на все лица — *ma ei palu* «я не принесу», *sa ei palu* «ты не принесешь»; в отрицательную частицу превратился отрицательный глагол в мордовском языке²⁹. В истории финно-угорских языков мы можем наблюдать и превращение исконных отрицательных глаголов в отрицательные дизъюнктивные союзы *ni... ni* (как, напр., в эст., фин., карел., вепс. *ei...ei*, особенно часто в эстонских и финских диалектах)³⁰. Причем в таких образованиях участвует и усилительный суффикс *-kä*, который в финском присоединяется к личной форме отрицательного глагола *enkä, etkä, eikä*, а в других финно-угорских языках основой для таких союзов является только форма третьего лица ед. числа — ср. эст. *ega*, карел. *eika*³¹.

В саамском, так же как и в других финно-угорских языках, много выделительных частиц. Одной из самых употребительных является энклитика *-ge*, стоящая при глаголах, местоимениях и наречиях в вопросительных и отрицательных предложениях: ср.: сев.-саам. *in mana gosage* «я никуда не пойду» (*gos* «где, откуда»), *mai'dige men gallaen gáv'dnan* «ты нашел что-нибудь» (*mii, ma-* «что, какой»), *mihkkege*, пом. sg. («что-нибудь»), pl. *mahkkige, guhtege* «кто угодно» (*guhte*

«какой, кто»), *goas 'sege* «когда-нибудь» (*goas* «когда»)³², южно-саам. *gân, gânnâ... gih: ij leæh mân-gân štuore* «он совсем небольшой», *men ij âkte-gân haga-sietere* «но не было ни одного пастбища»³³. Ср. также формы типа *imge mon diepe* «и я того не знаю», *im diepe imge ar 'ved* «я того не знаю и не понимаю», *i dât-ge datto* «и он тоже не хочет»³⁴. Мы видим, таким образом, что усиливающая отрицания энклитика *-ge* может присоединяться как к отрицательному вспомогательному глаголу (*imgeinge, iige, itge*), так и к местоимениям и наречиям (*gosage, dâtge*). Энклитика *-ge* встречается в саамском и при существительных и прилагательных.

Отрицательная инфинитная форма основного глагола

Второй составляющей аналитической формы отрицания в финно-угорских языках является инфинитная глагольная форма основного глагола. В современных саамских диалектах эта форма имеет разный вид. Отличие состоит прежде всего в форме суффикса в ауслауте /k/, /t/, /h/ или ноля звука³⁵. Примерную картину распределения суффикса в ауслауте отрицательных форм можно представить себе, сравнив индикатив отрицательной формы глагола «быть» в современных саамских диалектах: /k/ — Калфьюрь (Kalfjord), Хелгой (Helgøy), Карашок (Karasjok), Полмак (Polmak) *læk*; Оутакоски (Outakoski) *leähk*; Нессебю (Nesseby) *leäk*; /t/ — Каутокейно (Kautokeino) *læt*; Квенанген (Kvenangen) *leät*; Реппекьюрь (Reppefjord) *leät*; /h/ — Рерус (Røros) *leæh*; Мало (Male), Южный Йоккмокк (Jokkmokk), Центральное Елливаре (Gällivare) *läh*; Северный Йоккмокк *le : h*; /0/ — Сааривуома (Saarivuoma) *lä*; Патсйоки (Patsjoki) *la*; Суоникюлэ (Suonikylä) *lea*; Нуортиерви (Nuortijärvi) *le — la'*; Териберка (Teriberka) *le*³⁶.

Во многих случаях /k/ или /t/ могут чередоваться с /h/ или с нулем звука. Соответственно часто чередование /h/ — /0/, как, например, в диалекте Уме — *guula(h)* «слушать», *beede(h)* «приходить». Нулевая форма представлена во многих диалектах³⁷ и в северосаамской литературной норме (ср., напр., (ii) *bora, gula* «(он, она не) ест, слышит», *borrat* «есть», *gullat* «слышать»), хотя в неравносложных глаголах здесь, как и во многих других диалектах, — суффикс отрицательной глагольной формы *-t* (ср., напр., отрицательные формы *cohkket, ráhkkat, bonjat, viegat, leat* от глаголов *cohkkedit* «садиться», *ráhkadit* «(из)готовить», *bonjagit* «искривиться», *viegahit* «гнать», *leat* «быть»)³⁸.

Предполагается, что исконным показателем этой формы было *k (показатель презенса и императива)³⁹, которое в современных диалектах имеет разные рефлексy. Теперь редки диалекты с /k/ или /t/ во всех формах. Они сохранились главным образом в односложных и в других неравносложных глаголах, однако еще в XIX в. в приморских саамских диалектах Норвегии конечный согласный сохранял

исконное /k/ и в равносложных глаголах (*i davak* «не делай!», *i boaðek* «не приходи!», *i suöladak* «не воруи!»)⁴⁰.

В прасаамском предполагают совпадение конечных *-t* и *-k* и развитие $t > k > h$ или $k > t > h$ ⁴¹. Такое же развитие было характерно и для показателя инфинитива, который в современных диалектах имеет вид */-t/, /-k/, /-h/*⁴².

Чередование */t/ — /h/ — /0/, /k/ — /h/ — /0/* может быть факультативным. В некоторых случаях в одном и том же говоре у разных информантов возможны разные формы */h/ — /hk/ — /ht/ — Karesuando* (Karesuando), Кенкэмэвуома (Könkämävuoma)⁴³. Однако в большинстве саамских диалектов чередование согласных является позиционным и зависит от количества слогов. Так, в Рерусе в равносложных словах стоит */h/*, а в неравносложных — */t/*, т. е. в односложных формах (например, в частотном глаголе «быть») стоит *-t*, а в двусложных формах *-h*⁴⁴.

Появление суффигового отрицания в скандинавских языках

В скандинавских языках была сильна тенденция к суффиксации постпозитивных безударных местоимений, приведшая к образованию как суффигового определенного артикля, так и пассива на *-s(k)*. Эти чуждые другим германским языкам явления я пытался связать с языковыми контактами, в частности с саамским влиянием на скандинавские языки. И морфологическое выражение определенности (суффиксацию артикля), и появление синтетической формы медиа я рассматривал как заимствование морфологической модели. Таким образом, скандинавское постпозитивное указательное местоимение *hinn (inn)* было реинтерпретировано в скандинавской речи саамов как суффикс, соответствующий суффиксам саамского посессивного склонения, а энклитический вариант возвратного местоимения при соответствующих по значению глаголах (*-sk, -s*) как отличный от возвратного медиальный суффикс в соответствии с различным морфологическим выражением возвратности и медиальности в саамских языках⁴⁵. Обе указанные черты, характерные вначале только для скандинавской речи саамов, распространились затем и в собственно скандинавские диалекты. Социолингвистическая ситуация до принятия скандинавами христианства и до стигматизации саамов не препятствовала такому распространению.

Не могло ли скандинавское суффиговое отрицание появиться вначале также в результате переинтерпретации саамской модели в скандинавской речи саамов? Думается, что слишком многое в саамском и скандинавских языках оказывается схожим, чтобы можно было бы говорить просто о случайном совпадении.

Развитие отрицания $-a(t)$

Развитие суффиксированного отрицания $-a(t)$ в скандинавских языках можно представить себе следующим образом. Скандинавские неопределенные местоимения, употреблявшиеся для усиления отрицания в постпозиции ($*ne Vb *aiwa$, $*aina$, $*ainat(a)$), могли, вероятно, иметь редуцированные варианты (подобно вариантам $-s(k) / -sik$), реализовавшиеся как $-a$ ($<*aina$, $aiw(a)$) или $-at$ ($<*ainata$). Традиционно такое развитие и предполагалось. Дальнейшие изменения в скандинавских языках, т. е. суффиксация, объяснялись фактически только постпозицией. Однако постпозиция далеко не всегда ведет к суффиксации, что становится особенно ясно при сравнении развития отрицания в западногерманских и в других индоевропейских языках. Импульсом к суффиксации в скандинавских языках были саамские отрицательные формы с суффиксами $/-t/$, $/-h/$ и $/0/$. Основы саамских отрицательных инфинитных форм могли оканчиваться на $-i$ (e), $-o$ (u), $-a$. Самым продуктивным основообразующим глагольным суффиксом был $-a$, т. е. отрицательная форма таких глаголов могла иметь вид $Vb + at$, $Vb + ak$, $Vb + ah$, $Vb + a$ (т. е. $im(in)$, it , ii) $borat$ / $borak$ / $borah$ / $bora$ «(не) ем, ешь, ест»; $gulat$ / $gulak$ / $gulah$ / $gula$ «не слышу, не слышишь, не слышит» и т. д.). Именно формы типа $borat$, $borah$ и $bora$ и способствовали в первую очередь переинтерпретации редуцированных усилителей отрицания в скандинавском языке саамов как суффиксов, соответствующих суффиксам саамских отрицательных глагольных форм. Иными словами, скандинавские редуцированные формы типа $*ne etr a(t)$ (редуцированная форма, соответствующая полной форме $*ne etr ainat (aiwa)$ «не ест» или $*ne heyr a(t)$ ($*ne heyr *ainat (aiwa)$ «не слышит»), были реинтерпретированы саамами как формы, аналогичные саамским формам (ii) $borat$ ($bora/borah$), (ii) $gulat$ ($gulah / gula$). Скандинавские глагольные формы на $-ile$ и $-u(o)$, отрицательный суффикс которого имеет вид $-t$ ($skylit$, $máttut$), сопоставлялись с саамскими отрицательными формами на $-i(e)$, $-o(u)$ типа совр.-саам. (ii) $cieru$ ($<cieruh <cierut$), (ii) и $boade$ ($<boadeh <boadit$). Истоки скандинавских отрицательных форм на $-a$ и $-at$ можно найти в современном северосаамском, где в равносложных формах — нулевой суффикс (ср. ii $bora$, $gula$), а в неравносложных — $-t$ (ср.: ii $ráhkát$, $leat$). Заметим, что происходило не простое заимствование саамских суффиксов в скандинавские языки, а реинтерпретация редуцированных скандинавских форм как суффиксов в соответствии с саамскими суффиксами отрицательных глагольных форм. Фонетическое совпадение саамских суффиксов $/a-0/$, $/a-h/$, $/a-t/$ с редуцированной формой скандинавских усилителей $-a$, $-at$, $-t$ еще более благоприятствовало возможности такой реинтерпретации. Таким образом, в данном случае речь идет не только о совпадении грамматической модели, как, например, в случае с суффиксацией определенного артикля

в скандинавских языках и со способом выражения притяжательности в саамском, но и об определенном фонетическом совпадении, т. е. мы имеем здесь типологическое соответствие с развитием скандинавского суффиксированного медиа на *-s(k)*, соответствующего саамским медиальным формам на *-s-*.

Возможно, что замеченная Свейнбьерном Эгильссоном закономерность употребления формы *-at* в «Старшей Эдде» в односложных словах (см. выше) связана с разными формами суффикса отрицательных глагольных инфинитных форм в саамских диалектах, где односложные формы имеют *-t*, а двусложные *-h* или ноль звука форм (ср. сев.-саам. *læt*, но *gula*).

Традиционно предполагалось, что именно отпадение *ne* в древних скандинавских языках привело к тому, что значение отрицания перешло на суффиксированный усилитель (см. выше), однако более вероятным кажется предположение о том, что *ne* отпало тогда, когда отрицание уже выражалось усилителем. Возможно, что отпадение *ne* перед глаголами следует рассматривать в одном ряду с отпадением глагольных приставок в скандинавских, т. е. с той чертой, которая отличает древние скандинавские языки от других древних германских языков⁴⁶ и которая тоже может быть связана с саамским субстратом.

Из скандинавских диалектов на саамском субстрате суффиксальное отрицание распространилось и в собственно скандинавские диалекты.

Отрицательный суффикс *-gi*

Традиционно в данном случае предполагается развитие, аналогичное развитию *-a(t)* (**ne var ainata* > **ne var a* > **ne vara* > *vara*), т. е. *eigi* < **ne ei gi* < **ne aiw gin* («никогда» + усилительная частица), *eingi* < **ne einn gi* < **ni ainaR gin* («никто» + усилительная частица), *ekki*, *etki* < **ne eitt ki* < **ne ainata gin* («ничто» + усилительная частица) и т. п.⁴⁷

Суффиксацию выделительной частицы *-ge* можно наблюдать в редких случаях и в других древних германских языках (др.-англ. *hwergen*, др.-сакс., др.-в.-н. *hwargin*, *hwergin* «где-нибудь» — ср. др.-исл. *hvargi*, *hvergi* «езде, нигде», др.-шв. *hwarghi*, *hwarghin*). Особенно много форм неопределенных местоимений с суффиксацией *-hun* в готском (ср. выше). Однако ни в одном германском языке нет такого богатства суффиксированных форм с *-gi*, как в древних скандинавских языках. Кроме того, ни в одном германском языке *-gi* не превратилось в отрицательный суффикс. Обе скандинавские изоглоссы (продуктивность суффиксации *-gi* и превращение *-gi* в именной и адвербиальный суффикс отрицания) можно объяснить саамским влиянием.

Коллиндер, доказывая родство финно-угорских и индоевропейских языков, в качестве одного из доказательств сходства их основ-

ного словарного запаса приводил сходство формы и функции финно-угорского *-gi* (фин. *-ki, kin*; вепс. *-gi*; эст. *-gi, -ki*; саам. *-ge, -ke*) и индоевропейской усилительной частицы (санскр. *ca*, лат. *que*, готск. *hun*, сканд. *gi*)⁴⁸. Оставив в стороне вопрос об исконном родстве финно-угорских и индоевропейских языков, обратим внимание прежде всего на морфологическое и семантическое сходство усилителя отрицания в древнескандинавском и саамском, ср. сев.-саам. *gostege* (в вопросительных предложениях «откуда-нибудь», в отрицательных — усилитель отрицания «ниоткуда»), *gosage* («куда-нибудь, никуда»); *maidege* (Akk. Sg.), *mihkkege* (Nom. Sg.), *mange* (Gen. Sg.), *masage* (Ill. Sg.), *mastege* (Lok. Sg.), *mahkege* (Nom. Pl.) («что-то, что-нибудь, ничего»), *goassege* («когда-нибудь, никогда»); *guhtege* «кто угодно, никто» и т. п. и др.-исл. *hvatki* «какое угодно, никакое» (*hveskis* Gen., *hvegi* Dat (er)); *hvergi, hverigur* «каждый, любой, какой бы ни»; *hvargi, hvergi* «везде, нигде»; *vilgi* «совсем не, очень», *aldrigi* «никогда», *hvárgi* (*hvorgi*), *hvárki* (*hvortki*) «ни один из двух, ни тот ни другой», *vætiki* «никто, ничто», *vættugi* «ничто»; *þatki* «не это», *ekki, etki* «ничто», *eingi* (*nn*) «никто», *eigi* «не» (исконно «никогда»). В древнеисландском языке у некоторых местоимений мы встречаемся как с позитивно усилительным, так и с отрицательным значением *-gi*, как в *hvatki, hvargi, hvergi, vilgi*, в большинстве же случаев *-gi* имеет только отрицательное значение.

Если усилительное значение *-gi* соответствует суффиксации усилительного зап.-герм. *-gen* и готск. *-hun*, хотя количество готских и особенно зап.-герм. суффиксальных образований не идет ни в какое сравнение с количеством скандинавской суффиксации *-gi*, то превращение *-gi* в суффикс отрицания — только скандинавское явление. Продуктивная суффиксация *-ge* в саамском (примеры см. выше) была тем катализатором, который может объяснить продуктивность суффиксации в древних скандинавских языках по сравнению с другими германскими языками. Однако функции *-gi* в скандинавских языках могут отличаться от функций *-ge* в саамских языках — в огромном большинстве форм *-gi/ki* является единственным показателем отрицания в древних скандинавских языках. Такое развитие, которое наблюдалось исключительно в скандинавских языках (появление только отрицательного *-gi*), можно также объяснить саамским влиянием и прежде всего реинтерпретацией скандинавского усилителя *eigi** «никогда» в отрицательных предложениях как формы, соответствующей так называемому саамскому отрицательному глаголу с усилителем *-gi*.

Появление отрицательного значения у *-gi* связано в первую очередь с реинтерпретацией формы *eigi* < **ne ei gi* (< **ne aiwa gin*) «никогда», которая была реинтерпретирована в скандинавской речи саамов как элемент аналитической отрицательной конструкции, соответствующей так называемому отрицательному глаголу с усилительной частицей *-gi*. Форма *ei gi* соответствует саамской форме тре-

тьего лица ед. числа *ii-gi / ei-gi*. Мы уже обращали внимание на то, что та форма, которая обычно интерпретируется как саамский отрицательный глагол, не имеет важнейших глагольных характеристик и может трактоваться как спрягаемая отрицательная частица. Соответственно скандинавские формы с усилителем *eu* и с выделительной частицей *gi* были реинтерпретированы говорящими по-скандинавски саамами как формы, соответствующие саамской спрягаемой отрицательной частице (так называемому отрицательному глаголу) в сочетании с суффикзированной частицей *-gi* (*in, it, ii/ei+gi*). Таким образом, скандинавские сочетания типа **ne ei-gi etr / *ne etr ei gi* «никогда не ест» были сопоставлены в скандинавской речи саамов с саамским *ii-gi / ei-gi bora(t)* «не ест». Поскольку в таком случае скандинавское *ei* реинтерпретировалось как отрицание, а не как усилитель, отпадала необходимость в *ne*, которое в большинстве скандинавских языков исчезло, а в исландском сохранилось только в дистрибутивном союзе *ne...ne, hvortki...ne*. Таким образом, именно форма *eigi* *«никогда» была той формой, в которой прежде всего развилось отрицательное значение у *-gi*, откуда оно распространилось и на другие формы.

Любопытно, что древнескандинавский отрицательный суффикс *-a(t)* употребляется только с глаголами, а *-gi* — с именами и наречиями. Употребление *-at* соответствует употреблению саамского суффикса отрицательной глагольной формы (*/t/, /h/, /o/, /k/*), который возможен только с глаголами, а употребление скандинавского *-gi* соответствует употреблению саамской энклитики *-gi*, которая возможна с именами и наречиями или со спрягаемой отрицательной частицей (так называемым отрицательным глаголом). Появление или, возможно, сохранение индоевропейского *-gi* при существительных (как в *hornigi* или *úlfgi*) тоже могло быть связано с одной стороны, с возможностью употребления саамского *-gi* с существительными, а с другой — с генерализацией у *-gi* значения отрицания при реинтерпретации *eigi* как отрицательного слова (см. выше).

Изменения показателей общего отрицания в древних скандинавских языках

Традиционно предполагают наличие следующих этапов развития общего отрицания в скандинавских языках *ne > at > eigi*⁴⁹. Неккель полагает, что в IX–X вв. *eigi* еще не стало приглагольной отрицательной частицей, а сохраняло исконное значение «никогда». Начиная примерно с 1150 г. *eigi*, однако, уже полностью вытесняет *-a(t)*⁵⁰. Однако на этом изменения показателей общего отрицания не заканчиваются. Примерно через 400 лет (в XV–XVI вв.) *eigi* уступает во всех скандинавских языках свое место новому показателю общего отрицания, развившемуся из неопределенного местоимения *ekki*

«ничто, никакой». Это местоимение являлось формой среднего рода местоимения *eingi(n)* и было образовано с помощью отрицательного суффикса *-gi/ki* от неопределенного местоимения *eitt* (*eitt + ki > ekki*; ср. исл. *ekki*; шв. *icke*; дат., норв. *ikke*) по известной модели (ср. выше). Местоимение *ekki* встречается уже в самых старых скандинавских памятниках, однако в древних скандинавских языках оно сохраняет еще свое исконное значение «ничто». В редких случаях, однако, в древнеисландском *ekki* употребляется вместо показателя отрицания *eigi*⁵¹.

Таким образом, начиная с VI в., когда в надписи из Эггьюма впервые было засвидетельствовано отрицание *ne'*, и до современного состояния можно наблюдать следующее развитие общего отрицания: *ne > a(t) > eigi > ekki*, (*icke*, *ikke*). В шведском языке это изменение прошло на ступень дальше (**ne > *a(t) > eghi > icke > inte*). Показатель отрицания в современном шведском языке (*inte*) — первоначально форма Nom. и Akk. среднего рода от местоимения *ingen* (*inte < ingte*).

Суффиксальное отрицание *-a(t)* исчезло не потому, что было суффиксальным. Появившиеся одновременно с ним суффиксальные формы определенного артикля и пассива сохраняются до сих пор. Дело здесь в самой природе показателей отрицания, относящихся к одной из групп слов, которые чаще, чем многие другие группы слов или форм, проходят цикл *A' > A > B' > B > C' > C > D' >* и т. д., где ' означает стилистическую маркированность. Стилистически нейтральное слово (или форма) вытесняется стилистически маркированным словом (или формой), которое, вытеснив старое слово и став стилистически немаркированным, подписывает себе смертный приговор, и на его место приходит новое стилистически маркированное слово и т. д. В лексике к таким словам относятся, например, слова со значением «мальчик» и «девочка», слова, обозначающие некоторые части тела, наречия меры и степени и т. д. Так, нейтральное *sven* со значением «мальчик» было вытеснено в шведском языке стилистически маркированным финским заимствованием *pojke*, которое, заняв место *sven*, стало немаркированным, что привело к появлению нового маркированного слова *kille*, место которого уже готово занять одно из более сотни маркированных слов со значением «мальчик, парень», остающихся пока за рамками литературной нормы. Суффиксальное отрицание *-a(t)* было одним из звеньев подобной цепи. Общегерманское (и общиндоевропейское) *ne* вытесняется в скандинавских языках суффиксом *-a(t)*, который вначале был усиленным маркированным суффиксом. Став единственным показателем отрицания, *-a(t)* утратил свою маркированность, которая стала выражаться усилителем *eigi*, имевшим значение «никогда». Это отрицание, пройдя такой же путь, было в свою очередь вытеснено усилителем с исконным значением «ничто, никакой» (*ekki*). Причем каждая последующая форма отрицательной частицы (*ne > -a(t) > eigi > ekki*) не являлась новой формой. Она существовала как усилитель отрица-

ния одновременно и с показателем отрицания, и с другими усилителями отрицания, т. е. *at*, *eigi*, *ekki* существовали в то время, когда немаркированным показателем отрицания было *ne*, а *eigi* и *ekki* существовали в период, когда немаркированным показателем отрицания было *-at*, а *ekki* существовало в период, когда немаркированным показателем отрицания было *eigi*.

О возможности проникновения черт саамской интерференции в собственно скандинавские диалекты

Особые скандинавские изоглосы в системе отрицания (глагольный отрицательный суффикс *-at* и именной и адвербиальный отрицательный суффикс *-gi*) предлагается выше рассматривать как следствие реинтерпретаций скандинавских форм и значений в скандинавской речи саамов в соответствии с формой и значением соответствующих форм в саамских языках. И по механизму своего возникновения, и по времени (VIII–IX в.) скандинавское суффиксированное отрицание соответствует двум другим важным скандинавским изоглоссам (суффиксированному определенному артиклю и суффиксированному пассиву), которые также могут рассматриваться как реинтерпретация скандинавских грамматических моделей в скандинавской речи саамов в соответствии с саамскими грамматическими моделями. Очевидно, что такая грамматическая интерференция могла быть характерной для скандинавской речи саамов. Но каким образом эти явления могли проникнуть в собственно скандинавские диалекты, если отношение к саамам в VIII–X в. было таким же, каким оно было в более позднее время (фактически их стигматизация)?

После находки саамского захоронения в ладье Стенвик призывал «к более нюансированному пониманию отношений скандинавов и саами в доисторические времена»⁵². И такой призыв был услышан историками и археологами, но оставался неуслышанным лингвистами-скандинавистами.

И археологические памятники⁵³, и ономастика, и древнеисландская литература свидетельствуют о том, что и область обитания саамов, и отношение скандинавов к саамам до принятия скандинавами христианства было иным.

Согласно данным современной археологии, и в железный век, и в раннее средневековье саами занимали не только север Скандинавского полуострова, но и его центральную часть⁵⁴. Причем археологи и антропологи находят материал, свидетельствующий о саамско-скандинавских браках⁵⁵, что подтверждают и древнеисландские саги. Снорри рассказывает о том, что одной из жен Харальда Прекрасноволосого (умер в 933 г.) была саами Снефрид, родившая ему четверых сыновей, которым Харальд потом отдал Рингарики, Хадаланд и Тотн⁵⁶. Когда она умерла, конунг горевал над ее телом три года. В другой саге

рассказывается о том, что горе конунга было так велико, что он сочинил драпу в память о Снефрид, это произведение дошло до наших дней⁵⁷. Хотя высказывались сомнения в аутентичности драпы Харальда, крупнейшие специалисты по скальдической поэзии Финнур Йоунссон и Эрнст Кокк считают именно Харальда ее автором⁵⁸. Женильба Харальда на Снефрид (именно женильба, а не превращение Снефрид в наложницу) свидетельствует о том, что взаимоотношения скандинавов и саамов в эпоху Харальда Прекрасноволосого, т. е. в начале X в., были дружескими. У христианина Снорри вся история со Снефрид интерпретируется в соответствии с христианскими представлениями. Снорри говорит о том, что конунг был околдован финкой (так назывались саами в исландских сагах), а когда Торлейв Умный излечил Харальда от колдовства, из тела Снефрид «повыскакивали змеи, ящерицы, лягушки, жабы и всякого рода гады»⁵⁹. Именно представители этой фауны выбегают обычно из свергнутых языческих идолов (мотив, типичный для христианской литературы).

Сын Харальда Эрик Кровавая Секира взял в жены Гуннильд, которая до этого долгое время жила у саамов в Финнмарке, «чтобы научиться у них колдовству»⁶⁰. Представление о саамах как о сведущих в колдовстве в эпоху скандинавского язычества еще не имело отрицательной коннотации. Таким «положительным» колдуном представлен в Песне о Велунде чудо-кузнец Велунд, отец которого, судя по прозаическому введению, был саамским конунгом (*finnskǫr konungr*). Традиционные эпитеты, характеризующие саамов в древнеисландских сагах, — *margfróðr*, буквально «многомудрый», *ffjölkunigr* «многознающий, многоумеющий» — относятся именно к этому времени. Руническая надпись на черенке лопаты из Исландии (XII в.) дает нам еще одно интересное свидетельство саамо-скандинавских контактов. Слово *boattiat* в этой надписи (*boattiat mik inkialtr kærþi*) трактуется как саамская форма инфинитива (совр. сев.-саам. *boahiti* «приходить»), употребленная в императивном значении «приди», т. е. «возвращайся в случае утраты». Вся надпись интерпретируется соответственно как «возвращайся (саамская формула заклинания), меня сделал Ингъяльд»⁶¹. То, что в заклинании использована саамская формула, совершенно естественно, поскольку именно они были в языческой Скандинавии высшими авторитетами в этой области. Напомним, что слова *margfróðr* и *ffjölkunigr* значили не только «многомудрый и многознающий», но и «сведущий в колдовстве». Херман Паульсон рассматривает исландский ритуал колдовства (*seiðr*) «как часть саамского наследия»⁶². Многие в языческих представлениях скандинавов и саами было общим. Историк и археолог Сахриссон пишет о том, что в эпоху викингов саами и скандинавы «жили в определенном симбиозе»⁶³. Связи скандинавов с саамами в этой области не прекращались и после принятия скандинавами христианства, несмотря на сопротивление церкви. В церковном праве XIII в. внутренних восточнонорвежских провинций Хедмарк, Раумарике,

Хаделанд и Гудбрандсдален, входивших в область действия законов Eidsiva íngslag, и приморских провинций восточной Норвегии, входивших в область действия законов Borgar íngslag, запрещается «ездить к саамам» (*fara till finna, gera finnfarar*), «верить саамам» (т. е. верить в предсказания саамов — *trúa á finna*) и «ездить в Финнмарк за пророчеством» (*at fara á Finnmerkr at spyrja spá*)⁶⁴. Слово «Финнмарк» обозначает при этом не теперешнюю провинцию Финнмаркен, а просто область, где обитали саамы, южные границы которой доходили почти до Осло в Норвегии и до озера Меларен в Швеции (ср. карту, приводимую Сахриссон⁶⁵). Такой запрет, несомненно, свидетельствует о существовавшей еще в XIII в. практике поездок жителей восточной Норвегии к саамским шаманам и о борьбе церкви с языческим наследием.

Об отношении скандинавов к саамам в языческой Скандинавии свидетельствуют имена собственные, и прежде всего топонимы и имена с компонентом *Finn-* (Саами). Самым первым свидетельством такого типа оказывается руническая надпись из Берги (Эстерьетланд, около 500 г.), состоящая только из двух имен: мужского имени *saligastiR* и женского имени *fino*. В скандинавских языках слово *finnar* обозначало и саамов, и финнов, и значение «саами» сохраняется у этого слова в некоторых скандинавских диалектах до сих пор. То же значение имеет *fenni* у Тацита (I в. н. э.), *phinnoi* у Птолема (II в. н. э.) и *finnas* у Альфреда Великого (IX в. н. э.)⁶⁶.

Среди надписей младшими рунами я нашел 9 надписей с именем *Finnr* и 19 с компонентом *Finn-* в первой или второй части (*Guðfinnr, Hróðfinnr, Finnulfr, Arnfinnr, Gullfinnr*; или *Kolfinnr, Þorfinna, þorfinnr* и т. п.). Основная область распространения таких надписей — центральная Швеция и Норвегия, хотя подобные имена есть и в датских рунических надписях. В древнеисландской литературе мы также находим большое количество имен с *Finn-* (*Finnr, Finni, Finna, Finnbjörn, Finnbjörg, Þorfinnr, Þorfinna* и т. п.). Имена с компонентом *finn-* встречаются и в древних западногерманских языках (ср., др.-англ. *Merefin*, др.-франкск. *Fingast, Finn*).

В Скандинавии есть много топонимов, образованных от собственных имен с компонентом *Finn-*, причем не только в Норвегии и Швеции, где их, естественно, больше всего — ср., напр., норв. *Finnstad, Finnerud, Finnes, Finset*⁶⁷, шв. *Finninge* (1322), но и в Дании (*Findinge* (1386), *Finderup, altdä. Finnæthorp*).

Очевидно, однако, что распространение собственных имен и топонимов с компонентом *Finn-* в древней Скандинавии не может свидетельствовать об области обитания саамов. Но оно является несомненным свидетельством того, что отношение скандинавов к саамам в период появления и распространения этих имен было далеким от стигматизации. Только после распространения в Скандинавии христианства, когда большинство саамов еще оставалось язычниками (некоторые из них до XIX в.), изменилось и отношение скандинавов к саамам.

Изменение названия саамов в скандинавских языках свидетельствует как раз и об изменении отношения к саамам. Не имевшее отрицательной коннотации слово *finn(r)* было заменено в XIII–XIV вв. на слово *lapp(r)*, которое не только народная этимология связала с *lapp* «лоскут, лохмотья, заплатка», но и некоторые этимологи возводили либо к этому скандинавскому слову, либо к средненижнемецкому слову *lappe* «дурак», якобы так называли саамов ганзейские купцы⁶⁵. Никакому скандинаву никогда не приходило в голову назвать своего ребенка *Lapp*, тогда как имена с *Finn-* сохраняются в скандинавских странах, особенно в Исландии, до сих пор.

Все приведенное выше говорит о том, что в VIII–X вв. не было никаких социальных препятствий для проникновения черт, характерных для скандинавского языка саамов, в собственно скандинавские диалекты. С какой саамской интерференцией говорила по-скандинавски саамская жена Харальда Прекрасноволосого Снефрид со своими четырьмя сыновьями, сказать мы, конечно, не можем, но возможность описанной выше реинтерпретации скандинавских грамматических моделей в соответствии с грамматическими моделями родного языка в ее скандинавском языке вполне вероятна.

Таким образом, в результате реинтерпретации скандинавских местоимений и наречий в постпозиции как суффиксов, соответствующих саамским суффиксам с идентичным или сходным значением, в скандинавском языке саамов появились изоглоссы, которые, распространившись в собственно скандинавский ареал, стали отличать скандинавские языки от других германских языков. В первую очередь к таким изоглоссам относятся суффиксация определенного артикля, суффиксация медиа на *-s(k)* и суффиксация глагольного (*-a(t)*) и именного (*-gi/-ki*) отрицания.

¹ *Beukema F.* Five ways of saying no: the development of sentential negation in English in a Government and Binding perspective // *Negation in the History of English* / Ed. Ingrid Tielen-Boon et al. Berlin; New York, 1999. P. 9–27.

² *Nordén A.* Bidrag till svensk runforskning // *Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens handlingar*. 1943. D. 55. N 3. S. 150; *Peterson L.* Svensk runordregister. Stockholm, 1989.

³ *Бондаренко В. Н.* Отрицание как логико-грамматическая категория. М., 1983.

⁴ *Delbrück B.* Germanische Syntax I. Zu den negativen Sätzen. 1910. S. 12–17. (Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der königlichen sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd 28.)

⁵ *Finnur Jónsson.* Den norsk-islandske skjaldedigtning. B (rettet text). Bd 1. 1912. S. 2–14.

⁶ *Sveinbjörn Egilsson.* Lexicon poeticum. Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog. 2. udg. ved Finnur Jónsson. København, 1931. S. 19–20.

⁷ *Cleasby R., Vigfusson G.* An Icelandic-English Dictionary. Oxford, 1957. P. 2–3.

⁸ *Snorri.* Edda Snorra Sturlusonar utg af Finnur Jónsson. København, 1931. Kap. 55, 141.

⁹ *Delbrück B.* Op. cit.; *Coombs V. M.* A Semantic Syntax of Grammatical Negation in the Older Germanic Dialects. Göppingen. 1976. (Göppinger Arbeiten zur Germanistik N 177.)

- ¹⁰ Mourek V. E. Zur altgermanischen Negation. Die Negation in der älteren Edda // Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Klasse für Philosophie, Geschichte und Philologie. 1905. Bd. 8. S. 1–23; *Delbrück B.* Op. cit. S. 40.
- ¹¹ Kock A. Ordforskning i Eddan // Arkiv för nordisk filologi. 1911. Bd. 27. P. 134.
- ¹² Brate E. Västmanalagens Ijudlära. Stockholm, 1887.
- ¹³ *Delbrück B.* Op. cit. S. 31.
- ¹⁴ Vries J. de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1961. S. 2; *Blöndal Magnusson Ásgeir.* Íslensk orðsifjabók. Reykjavík, 1989. Bls. 1, 29.
- ¹⁵ *Mourek V. E.* Op. cit. S. 7.
- ¹⁶ *Neckel G.* Zu den germanischen Negationen // Zeitschrift für Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen. N. F. 1913. Bd. 45. S. 4.
- ¹⁷ *Ibid.* S. 1–12.
- ¹⁸ *Blöndal Magnusson Ásgeir.* Op. cit. S. 244.
- ¹⁹ *Sveinbjörn Egilsson.* Op. cit. S. 638; *Cleasby R., Vigfusson G.* Op. cit. S. 199.
- ²⁰ *Delbrück B.* Op. cit. S. 31.
- ²¹ *Peterson L.* Op. cit.
- ²² *Бондаренко В. Н.* Указ. соч. С. 83.
- ²³ *Кузьменко Ю. К.* О причинах одной грамматической инновации в скандинавских языках: s-пассив // Материалы конференции, посвященной 110-летию со дня рождения В. М. Жирмунского. СПб., 2001. С. 168–178; *Kusmenko Ju.* Den nordiska s(k)-formens uppkomst // Nordiska språk — insikter och utsikter / J. Kusmenko, S. Lange. Berlin, 2001. S. 125–139; *Kusmenko Ju.* Die Ursachen der Suffigierung des bestimmten Artikels in den skandinavischen Sprachen // Язык и речевая деятельность. 2002. Вып. 4; *Kusmenko J. K.* Der saamische Einfluß auf die skandinavischen Sprachen: Die Suffigierung des bestimmten Artikels und das s-Passiv. Third International Congress of EuroLinguistics in Mannheim. Mannheim, 2002.
- ²⁴ *Nickel K. P.* Samisk grammatikk. Oslo, 1990. S. 59.
- ²⁵ *Селицкая И. А.* Способ выражения общего отрицания в финском языке // Прибалтийско-финское языкознание. Л., 1967. С. 55.
- ²⁶ *Селицкая И. А.* Указ. соч. С. 53; *Бондаренко В. Н.* Указ. соч. С. 97.
- ²⁷ *Селицкая И. А.* Указ. соч. С. 57.
- ²⁸ Там же.
- ²⁹ *Бондаренко В. Н.* Указ. соч. С. 97.
- ³⁰ *Karelsen* // Советское финноугроведение. 1979. 15, № 2. С. 65.
- ³¹ Там же.
- ³² *Bergsland K.* Samisk grammatik. Sparsborg, 1961. S. 63.
- ³³ *Bergsland K.* Røros lappisk grammatik. Oslo, 1945. S. 297.
- ³⁴ *Collinder B.* Indo-uralisches Sprachgut. Die Urverwandschaft zwischen der indoeuropäischen und der uralischen (finnischugrisch-samojedischen) Sprachfamilie. Uppsala (Uppsala Universitetets Årsskrift 1934. Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper. 1). 1934. S. 61.
- ³⁵ *Korhonen M.* Die Konjugation im Lappischen. Morphologisch-historische Untersuchung II. Die nominalen Formkategorien. Helsinki, 1974. S. 50–63. (Mémoires de la société finno-ougrienne 155.)
- ³⁶ *Ibid.* S. 50–55.
- ³⁷ *Ibid.* S. 51–55.
- ³⁸ *Bartens H.-H.* Lehrbuch der saamischen (lappischen) Sprache. Hamburg, 1989.
- ³⁹ *Korhonen M.* Op. cit.
- ⁴⁰ *Ibid.* S. 55.
- ⁴¹ *Korhonen M.* Die Konjugation im Lappischen. Morphologisch-historische Untersuchung. I. Die finiten Formkategorien. Helsinki, 1967. S. 50. (Mémoires de la société finno-ougrienne 143.)

- ⁴² *Korhonen M.* Op. cit. II. S. 122, 123.
- ⁴³ *Ibid.* S. 123.
- ⁴⁴ *Ibid.* S. 122–123.
- ⁴⁵ *Кузьменко Ю. К.* Указ. соч.; *Kuzmenko Ir.* Op. cit.
- ⁴⁶ *Стеблин-Каменский М. И.* Древнескандинавский язык. Л., 1955. С. 171.
- ⁴⁷ *Blöndal Magnússon Ásgeir.* Op. cit. Bls. 146, 149, 154.
- ⁴⁸ *Collinder B.* Indo-uralisches Sprachgut. S. 60–61.
- ⁴⁹ *Neckel G.* Op. cit. S. 21–23.
- ⁵⁰ *Ibid.* S. 23.
- ⁵¹ *Cleasby R., Vigfusson G.* Op. cit. S. 121.
- ⁵² *Stenvik L. F.* Samer og nordmenn sett i lys av et uvanlig gravfunn fra Salte-området // *Viking* 1979. 1979. P. 136.
- ⁵³ *Zachrisson I.* Südliche Saamen — Archäologie und schriftliche Quellen // *Larsson L. G.* (red.) *Laponica et uralica.* Uppsala, 1996; *Zachrisson I.* Möten i gränsland: samer och germaner i Mellanskandinavien. Stockholm, 1997.
- ⁵⁴ *Zachrisson I.* Möten i gränsland: samer och germaner i Mellanskandinavien. S. 219.
- ⁵⁵ *Ibid.*
- ⁵⁶ *Snorri.* Heimskringla. København, 1945–1951. Kap. 25, 33.
- ⁵⁷ *Finnur Jónsson.* Op. cit. S. 5.
- ⁵⁸ *Ibid;* *Kock E. A.* Den norsk-isländska skaldediktningen reviderad av Ernst A. Kock. Lund. 1946. Bd. 1. S. 3.
- ⁵⁹ *Snorri.* Heimskringla. København, 1945–1951. Kap. 25.
- ⁶⁰ *Ibid.*
- ⁶¹ *Olsen M., Bergsland K.* Lappisk i en islandsk runeinskrift. Oslo, 1943. (Avhandlingar utg. av det Norske Videnskapsakademi i Oslo, II kl. 1943. N 3.) S. 5–7.
- ⁶² *Hermann Pålsson.* The Sami People in Old Norse Literature. Tromsø, 1999. S. 48. (Nordlit. Arbejdstidskrift i litteratur 5.)
- ⁶³ *Zachrisson I.* Möten i gränsland: samer och germaner i Mellanskandinavien. S. 131.
- ⁶⁴ *Zachrisson I.* Südliche Saamen — Archäologie und schriftliche Quellen. S. 130.
- ⁶⁵ *Zachrisson I.* Möten i gränsland: samer och germaner i Mellanskandinavien. Fig. 139.
- ⁶⁶ *Collinder B.* Lapparna // Hrg. Kulturhistorisk lexikon för nordisk medeltid. I. Andersson. Stockholm; Oslo; København, 1965. S. 276–277.
- ⁶⁷ *Rygh O.* Gamle personnavne i norske stedsnavne. Kristiania, 1901. S. 19, 36, 68.
- ⁶⁸ *Blöndal Magnússon Ásgeir.* Op. cit. Bls. 545.



И. П. Куприянова (Санкт-Петербург)

ТОМАС ГЛАН В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ВАРИАНТЕ

Томас Глан, герой романа Кнута Гамсуна «Пан», был для целого поколения читателей почти что культовой фигурой. Романтический мечтатель, предпочитающий существованию в обыденной действительности полудикую жизнь в лесной хижине, ищущий идеальной любви и неспособный ради любви поступиться гордостью, тревожил воображение, завораживал своей необычностью. Вышедший в 1894 г. роман вскоре приобрел европейскую известность, им зачитывались даже тогда, когда на имя Гамсуна легло пятно сочувственного отношения к немецкому фашизму. В России «Пан» был впервые издан в 1901 г. и вызвал восторженные отзывы Куприна и Чехова¹.

И вот в 1985 г. перед читателями предстал постмодернистский двойник гамсуновского героя — в романе норвежского писателя Кнута Фалдбаккена «Глан» (Knut Faldbakken «Glahn»).

К этому времени Кнут Фалдбаккен (р. 1941) был уже достаточно известным литератором. Он дебютировал в 1967 г. романом «Серая радуга» («Den grå regnbuen»), за которым последовали романы «Дом его матери» («Sin mors hus», 1969), «Мод танцует» («Maude danser», 1971), «Лето насекомых» («Insektsummer», 1972). Главной темой этих романов является исследование сложных психологических проблем, тесно связанных с сексуальной сферой. Известность Фалдбаккена вышла за пределы Норвегии после публикации социально-экологической антиутопии — дилогии «Страна заката» («Aftenlandet», 1974) и «Свитуотер» («Sweetwater», 1975), за которую он был удостоен литературной премии Северного Совета. Дилогия была вскоре переведена на другие языки, в том числе (первая ее часть) — на русский².

Роман «Глан» характеризуется норвежскими критиками как «дерзкий ремейк» гамсуновского произведения³, и для этого есть веские основания. Следует сразу отметить, что ни имя Гамсуна, ни название его романа ни разу не упоминаются в тексте — при том, что Фалдбаккен сохраняет имена основных персонажей и ряд сюжетных ходов.

Действие романа «Глан» происходит в середине 1980-х гг., время действия романа «Пан» — 1850-е гг. Повествование, как и у Гамсуна, ведется от имени главного героя — отставного лейтенанта Томаса Глана. Однако существенно изменена мотивировка обращения героя к воспоминаниям о том, что произошло однажды летом, два года назад. Гамсуновский Глан неоднократно утверждает (хотя и явно неискренне), что пишет «ради собственного удовольствия»⁴, для того, «чтобы скоротать время»⁵. Фалдбаккеновский Глан уже на первых страницах признается: «Я мог бы сказать, что делаю это ради удовольствия, чтобы скоротать время, но в действительности это — по настоянию врача. Он думает, что мне это будет полезно»⁶. Позднее мы узнаем, что Глан уже два года находится в психиатрической лечебнице. Фрагменты воспоминаний героя перемежаются длительными беседами с психоаналитиком, пытающимся найти социальные и психологические причины происшедших событий.

Необычность героя задана с самого начала романа. Покинув военную службу, он бездомным бродягой бесцельно слоняется по улицам Осло — ситуация, вызывающая в памяти героя другого романа Гамсуна — «Голод». Случайная встреча с армейским приятелем Маком и его дочерью Эдвардой резко меняет жизнь Глана, начиная собою цепь событий, приводящих к трагическому финалу. Между Гланом и Эдвардой завязываются сложные любовные отношения, завершающиеся разрывом. После этого Глан находит краткое счастье в любви жены Мака, Евы, становится, при участии Мака, виновником ее гибели, что, очевидно, и приводит его в психиатрическую лечебницу.

Таким образом, сюжетная канва романа очень близко повторяет основу фабулы «Пана». Однако в разработке сюжета присутствуют весьма примечательные отличия, в большой степени определенные переносом действия в современность. Убежищем Глана становится не лесная хижина, а мансарда в здании конторы Мака, а позднее — «летний домик» в загородной усадьбе того же Мака. Но оба своих обиталища Глан упорно называет «хижинами». Лес, в котором чувствовал себя счастливым гамсуновский герой, постоянно присутствует в воображении его тезки, но реально он воплощается сначала в джунгли большого города, потом — в парк вокруг дома Мака, а в конце романа возникает в гротескном виде — как картина на стене лечебницы, вышитая, по-видимому, кем-то из пациенток. Мак, вместо провинциального торговца средней руки, становится у Фалдбаккена преуспевающим столичным коммерсантом, сохраняя при этом некоторые узнаваемые черты: злобное коварство, потуги на элегантность, жестокость и, наконец, неудовлетворяемую страсть к Еве и ревность к Глану. Ева, превратившись из жены кузнеца в супругу Мака, тоже наделена свойствами своего «прототипа»: естественностью, способностью безоглядно отдаться любви к Глану, сознавая при этом, что в его душе живет чувство к Эдварде. Последняя кажется

типичной представительницей своего поколения: она небрежно одевается, посещает дискотеку, находит «старомодным» свое имя, требуя, чтобы ее называли «Эдди». Но по внутренней своей сущности и она близка к гамсуновской героине — она порывиста, своевольна и горда; в отношениях с Гланом инициатива постоянно принадлежит Эдварде, она явно стремится подчинить его себе.

Отношения между героями у Фалдбаккена предельно усложнены. Глан, сжигаемый любовью к Эдварде, уклоняется от полной физической близости с ней; такая близость возможна для него лишь в слиянии с природой, но никак не в прозаической обстановке городской мансарды. В любовных отношениях с Евой он, казалось бы, находит свой идеал, загородный парк становится волшебным лесом, скрывающим влюбленных. Но воспоминания об Эдварде не покидают Глана, а неожиданный приезд Мака приносит мучительное отрезвление. Мак, явно ревнуя Еву к Глану, в то же время всячески содействует их сближению. Традиционный рисунок «любовного треугольника» дополнен гомосексуальными отношениями между Маком и Гланом.

Как уже было сказано, ни имя Гамсуна, ни название его романа в тексте не упоминаются. Однако самому этому произведению отведена у Фалдбаккена ключевая роль. Действие романа «Глан» начинается с того, что герой получает некую «книгу», присланную, как позднее становится ясно, Эдвардой. Здесь просматривается четкая аналогия с присылкой трех зеленых перьев у Гамсуна. В обоих случаях это служит отправной точкой воспоминаний героев. В письме, сопровождающем книгу, Эдварда мотивирует свой поступок: «Я хотела бы, чтобы ты ее прочел. Это красивая история, хоть и немного печальная. И в ней есть вещи, заставившие меня подумать о нас, о тебе и обо мне» (с. 7). Поначалу Глан критически воспринимает эту идею. Он рассуждает о художественных достоинствах «книги», о старомодности лексики и орфографии, но постепенно роман овладевает его сознанием. Фалдбаккен вводит в текст цитаты из «Пана», выделяя их курсивом. По мере того как герой предается воспоминаниям, число цитат увеличивается, а под конец Глан начинает говорить фразами своего гамсуновского предшественника.

Происходящую с его пациентом эволюцию тревожно констатирует психиатр. Сперва он не возражает, чтобы тот читал книгу. «Она не может повредить», — говорит он, хотя и предостерегает Глана: «Я всегда рассматривал главного героя как нечто вроде клинического случая. Вся эта история ужасно заострена и чрезмерно драматизирована. Типичное романтическое произведение прошлого века, не забывайте об этом» (с. 116). В дальнейшем врач высказывается более серьезно: «Только бы вы не воспринимали все, что там стоит, слишком буквально. Вы должны помнить, что это написано очень романтическим писателем сто лет тому назад. Он — мастер в искусстве словесного оболъщения. Гениальный лжец... Я хочу сказать, что,

может быть, не стоит слишком идентифицировать себя...» (с. 136). Наконец в последнем разговоре с Гланом врач уже отмечает опасное воздействие «книги»: «Маленький совет... оставьте в покое эту проклятую книгу. Похоже, что именно сейчас она производит не слишком удачный эффект. Вы слишком идентифицируетесь. Знайте, что большинство этих романтических героев — самодеструктивные психопаты» (с. 175).

Сам Глан не скрывает влияния, оказанного на него прочитанным: «Этот текст сплетается с моим собственным голосом и дает мне ощущение, будто время все-таки еще не ушло, будто лес стоит там, открытый для нас, и в каждом слове — ликование... До тех пор, пока не приходят горечь и боль и не требуют своего» (с. 168).

Как бы между прочим, сообщается об отношении к «книге» других персонажей. По словам Эдварды, Ева «обожает эту книгу» (с. 68). Соперник Глана, рационально мыслящий студент-медик, считает ее «типичной романтической писаниной», а поведение героя — «чистой воды патологией» (с. 53–54).

Фалдбаккен не ограничивается воспроизведением основы сюжета «Пана» и его прямым цитированием. Он вводит в повествование множество деталей, косвенно «отсылающих» читателя к Гамсу. Глан «охотится» за антиквариатом по поручению Мака. На столе у него стоит статуэтка, изображающая Пана и Дафниса, а в одном из эпизодов он воображает самого себя Паном, играющим на флейте. Сохранена эксцентричность поведения Глана в чуждом ему обществе. Как и у Гамсуна, он неловок — обливает вином одного из гостей Мака. Вызывающему поступку гамсуновского героя, бросающего в воду туфлю Эдварды, существует современная аналогия: во время загородного праздника герой Фалдбаккена обнаженным прыгает с большой высоты в море. Хромоте гамсуновского доктора соответствует заикание психиатра, а верную собаку заменяет постоянно приходящая к Глану проститутка, которая за деньги опускается на четвереньки и лижет своему «хозяину» руку. (Глан даже называет ее своей «собако-подругой».) У Гамсуна Глан, под предлогом доверительного сообщения, плюет в ухо барону; у Фалдбаккена герой так же поступает с доктором.

Подобных примеров можно привести много, но особенно важна в этом отношении сцена гибели Евы. У Гамсуна Мак сперва сжигает хижину Глана, а затем убивает Еву руками Глана, устроившего роковой взрыв. У Фалдбаккена эти события объединены. От выстрела пьяного Мака сгорает «хижина» — летний домик, в результате чего погибает Ева. Но вина Глана и здесь присутствует: именно он побуждает Мака выстрелить в керосиновую лампу, стоящую на пороге домика. Сомнительным оправданием герою служит то, что он принял свет лампы за свет безопасного карманного фонарика. К тому же злосчастную лампу добыл во время своей «охоты» за антиквариатом сам Глан. Заметим, что в «Пане» Мак демонстрирует Глану как но-

винку именно керосиновую лампу, говоря при этом, что с ней надо обращаться осторожно.

Образ главного героя романа Фалдбаккена изначально близок к созданному Гамсуном, но современные обстоятельства усугубляют драматизм его судьбы. Он — романтик, живущий в мире, где царит прагматизм и окончательно не осталось места большим страстям и ярким чувствам. Не случайно он кажется себе среди посетителей дискотеки «покосившимся анахронизмом»: «Как заброшенный памятник другой эпохе в человеческих отношениях, другим умонастроениям, другим формам выражения, высился я над этими людьми, которых не занимало ничто, кроме опьянения слепящей близостью и каскадами звуков, почти причиняющими страдание» (с. 124).

Несоответствие Глана духу времени подчеркивается упоминанием о старомодности его имени, которое для гостей Мака звучит как «имя из романа» (с. 44), словами Эдварды о том, что лейтенантов теперь не встретишь: «Это было раньше, на балах и тому подобное» (с. 24). Имя самой девушки отнюдь не кажется Глану старомодным: «Мужчина мог бы пройти сквозь огни и воды ради этого имени» (с. 13), — говорит он ей при первой встрече. «Старомодность» Глана одновременно притягивает и отталкивает современную Эдварду, она пытается придать понятный ей характер их отношениям. Именно поэтому она ищет полной физической близости с Гланом и даже провоцирует его на это во время последнего свидания в лечебнице. Объясняя свое поведение, Эдварда говорит: «Я пришла к тебе... чтобы получить память о тебе... Отпечаток твоего тела — так я, может быть, когда-нибудь освобожусь от тебя! Мужчину я могу забыть, но не мечту... Стань для меня реальным и перестань меня преследовать!» (с. 168–169).

Ощущение своей «анахроничности» толкает Глана к окончательной идентификации с гамсуновским героем, оставляя ему, как и тому, один выход — смерть.

Фалдбаккен завершает свой роман соответствующей переработкой новеллы Гамсуна «Смерть Глана», служащей эпилогом «Пана». Так же как и Гамсун, он передает слово человеку, от руки которого погибает герой: заключением служит стенограмма показаний Мака. После неудачной попытки повеситься убежавший из лечебницы Глан приходит к Маку, требуя, чтобы тот его застрелил. Он говорит что-то несвязное о том, что они поедут вместе в экзотические страны, будут ходить на охоту. (Вспомним, что гамсуновский Глан был убит во время охоты в джунглях Индии.) Возникают и другие «отсылки» к новелле: Глан всячески провоцирует Мака, разжигает его ревность, называет трусом, стреляет в него, нарочно промахиваясь. (На протяжении повествования неоднократно сообщалось, что Глан — прекрасный стрелок, а Мак — никудышный.) Правда, у Гамсуна рассказчик сам в конце концов стреляет в Глана, а в стенограмме говорится, что курок зажатого в руке Мака револьвера спускает Глан,

но ведь речь идет о показаниях человека, желающего представить происшедшее как несчастный случай. Кстати, именно так была официально трактована гибель героя в «Смерти Глана».

Композиционный прием, использованный Фалдбаккеном в основной части романа, — чередование воспоминаний Глана и его бесед с врачом — дает автору возможность открыто сопоставить два диаметрально противоположных мировосприятия. Если Глан находится целиком во власти эмоций, то врач ищет всему лишь рациональное, «научное» истолкование. Это противостояние романтика и рационалиста существует и у Гамсуна: там доктор постоянно корректирует логическими суждениями представления Глана — о характере Эдварды, о ее поступках, даже о ее возрасте. У Фалдбаккена врач профессионально исследует переживания героя методом психоанализа. При этом возникает не замечаемая самим врачом ситуация — поскольку герой постепенно полностью идентифицируется с гамсуновским Гланом, психоанализу подвергается и литературный персонаж. Поведению Глана в отношении Эдварды врач находит свое объяснение: «Импотентность..! Вот тебе важный ключ! Ключевое слово для понимания обилия обходных маневров и туманных речей романтиков: мечтания, платоническая любовь...» (с. 81). Поэтому связь Глана с Евой представляется ему непостижимой. Гордость Глана врач характеризует как симптом психической ущербности, как нечто препятствующее «позитивному взаимному общению и сотрудничеству с другими людьми» (с. 122). Причастность к гибели Евы объясняется подсознательной ненавистью к Эдварде: «Ты караешь одного человека за преступления другого. Ты вымещаешь свое разочарование и ярость по поводу того, что тобою пренебрегли, на той, которая тебя любит!» (с. 172). В рассуждениях врача обретает свое место и социальная мотивация: гордость Глана была уязвлена тем, что его отвергла «девушка из более высокого класса» (с. 174).

Примечательно, что Глан испытывает к психиатру чувство, похожее на сострадание. «Он считает себя таким проникательным, этот доктор с его хорошей репутацией умельца вторгаться в глубины человеческого сознания и распутывать там все узелки, с его упорядоченными идеями и нормированным рабочим временем» (с. 174). В действительности, по мнению Глана, доктор страдает комплексами, потому что мучительное заикание заставляет его медлить и «спотыкаться» на каждом слове. «Этой медлительности я не знал никогда!.. Мой голос полновочуен, как орган. Его нежнейшие флейтовые нюансы взывают к самым сокровенным чувствам людей, к желаниям и надеждам их мечтаний, к их улыбкам и слезам... Поэтому я могу смеяться над проникательностью доктора, я могу приподнять шляпу и послать ему ободряющий взгляд» (с. 174).

Таким образом, противостоянию романтика и рационалиста не дается однозначного разрешения. Доктору не удалось «излечить» Глана, потому что мир чувств не поддается холодному анализу. Но един-

ственной формой протеста против торжества прагматизма оказывается для героя смерть от руки Мака, этот прагматизм олицетворяющего.

Итак, казалось бы, современности совершенно чужда романтика, но почему же Глан не оставляет равнодушными тех, с кем его сталкивает жизнь? Он оказывается чем-то притягателен не только для Эдварды и Евы, но и для циника Мака и его гостей. «Ты обретаешь власть над фантасией людей», — говорит Глану Мак (с. 100). Герой Фалдбаккена самым своим существованием тревожит окружающих — так же, как тревожил воображение читателей герой Гамсуна. Он заставляет их смутно, подсознательно, ощущать потребность в тех самых чувствах, надеждах и мечтах, которые они считают несозвучными трезвой реальности.

Роман Фалдбаккена обращен не только к тем, кто хорошо знаком с произведением Гамсуна, но и к тем, кто его, может быть, не читал или забыл. Автор, можно сказать, провоцирует читателя, побуждая его обратиться к роману, написанному сто лет тому назад, поддаться его очарованию, как это произошло с современным Гланом, найти там ту «истинную поэзию», которая, по словам этого героя, одна может выразить всю сложность душевного мира человека.

¹ Куприн А. И. О Гамсуне // Куприн А. И. Собр. соч. М., 1958. Т. 6. С. 588–596.

² Иностранная литература. 1988. № 3, 4.

³ *Tveterås A. o. a. Fra saga til samtid.* Norsk Litteraturhistorie. Oslo, 1991. S. 227.

⁴ Гамсун К. Избранное. Л., 1991. С. 420.

⁵ Там же.

⁶ *Faldbakken K. Glahn.* Oslo, 1987. S. 8–9. Далее текст цитируется по этому изданию, в скобках указываются страницы.



А. С. Либман (США, Миннеаполис)

ЭДДИЧЕСКАЯ РЕКА ИВИНГ И ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЕ НАЗВАНИЕ ПЛЮЩА

Исландия — пустынная страна, но рек в ней не меньше, чем в Норвегии. В «Старшей Эдде» встречается 43 названия рек; из них 31 упомянуто в «Видениях Гюльви» (*Gylfaginning*) и ровно столько же во второй части «Младшей Эдды», руководстве для скальдов *Skaldskaparmál*¹. Однако мифология — не учебник географии (основы эддической географии интересно и нетривиально изложены в книге М. И. Стеблин-Каменского «Миф»²), а в средневековой литературе и фольклоре пейзаж всегда функционален: если в повествовании возникает река, значит, герою надо оказаться на другом берегу или кто-нибудь в ней утонет. Памятных ситуаций, связанных с реками, в обеих «Эддах» немного; следовательно, нет нужды и в названиях. (Все сущее должно быть названо; нельзя, например, сказать, что Тор чуть не захлебнулся в реке, — надо непременно назвать ее по имени.) Большинство названий рек (*árheiti*) известно не из рассказов о богах и героях, а из тул (*þulur*), т. е. списков имен. Самый обширный из них содержится в строфах 27–29 «Речей Гримнира» (*Grimnismál*).

Списки подобного рода — это, скорее всего, заготовки для мифографов и скальдов. Сюжеты основных мифов и героических песней были, по-видимому, всеобщим достоянием. Едва ли кто-нибудь, живший в Скандинавии тысячу лет тому назад, не знал, что Сигурд убил Фафнира или что Тор сражался с великанами. Посвященных (в прямом смысле этого слова) отличала от непосвященных лишь осведомленность в деталях, среди которых личные имена и географические названия занимали весьма заметное место. Посвященным сообщались истинные, скрываемые от женщин, детей и соседей, названия гор, рек и лесов, упомянутых в мифах. Истинность их, надо думать, тем и определялась, что не подлежала разглашению. Ономастическая изобретательность должна была входить в число важнейших достоинств жрецов, которые развивали в себе умение придумывать всё новые значения имена.

То, что первоначально все имена были значащими, не вызывает сомнения (кто же, кроме как в шутку, изобретает немотивированное слово?), но со временем они подвергались тем же фонетическим процессам, что и имена нарицательные; их внутренняя форма забывалась, и вступала в действие народная этимология, так что не только для нас, но и для современников Снорри многие имена были уже непонятны или истолковывались ошибочно. Необходимость постоянно обновлять ономастический репертуар — важнейшая причина того, что среди собственных и, возможно, географических имен в скандинавских мифах встречаются абсолютные синонимы. Есть, например, мировое древо *Yggdrasil*, но есть и *Læraðr*. Едва ли речь идет о разных деревьях. Другая причина, уже не сакрального характера, вызывавшая потребность в длинных списках имен и названий (карликов, рек, птиц, лошадей), крылась в природе эддического и в еще большей степени — скальдического творчества. Поэты нуждались в незатрепанных словах для рифмы и аллитерации. В этом смысле тулы и были выше названы заготовками.

Принято считать, что списки имен в эддических песнях — это интерполяции. С текстологической точки зрения так оно, видимо, и есть, но понятие интерполяции лишается четкости, когда методом анализа становится тип творчества, представленный «Старшей Эддой». Для современного читателя и литературоведа все, не относящееся к развитию действия, — интерполяция, и они пропускают эти места или печатают их в примечаниях (приложениях), как дети (в той мере, в какой они еще читают классическую литературу) пропускают описания природы: они им не нужны. Но средневековый слушатель мог и не томиться, слушая тулы, ибо они вызывали у него ассоциации, отсутствующие у нас. Аналогичным образом не считали люди тех времен излишними генеалогии в сагах.

Среди эддических рек есть и Ивинг (*Ifing*). Это название встречается только один раз. В «Речах Вафтруднира» (*Vafþrúðnismál*), диалоге, в котором неузнанный своим собеседником Один задает великану Вафтрудниру вопросы, а тот дает ответы, есть такой обмен репликами (154–6 — 161–3):

«...hvé sú á heitir	<i>er deilir með iötna sonum</i>
	<i>grund oc með goðom»</i>
«Ifing heitir á,	<i>er deilir með iötna sonum</i>
	<i>grund oc með goðom;</i>
<i>opin renna</i>	<i>hon skal um alðrgada,</i>
	<i>verðrat iss á á.» (NK, 47)³</i>

(«Как называется та река, которая разделяет владения сынов великанов и сынов богов? — Ивинг называется та река, которая разделяет владения сынов великанов и сынов богов; не скует ее во веки веков, никогда не будет на ней льда.»)

Исходя из того, что мифологические имена были когда-то совершенно прозрачными, естественно задаться вопросом о значении на-

звания *Ifing*. Есть еще река *þundr* (Тундр), разделяющая два мира (*Grimnismál* 211, не в туле). Не все в 21-й строфе «Речей Гримнира» вполне понятно, но очевидно, что река большая (рыбе в ней при-вольно) и убитым воинам трудно перебраться на другую сторону. Хотя река Тундр («разбухшая») принадлежит космической географии, нет уверенности, что она тождественна Ивинг. Она, скорее, аналог Стикса. В списке рек, включенном в «Речи Гримнира» (2810–12), упомянуты также *Giöll* и *Leiftr* «гром, грохот» и «молния»; истоки их — в мире людей, но впадают они в адскую бездну. (Они могут означать, как принято думать, «ревущая» и «сверкающая», но более вероятно, что они вызывали в воображении картину разъяренной стихии — потому «гром» и «молния».) Очевидно, что та часть эддического космоса, которая отведена людям, со всех сторон ограничена реками, и неверна встречающаяся в разных вариантах мысль, что Ивинг и Тундр или Ивинг и Гьёлл взаимозаменяемы.

Неизвестно, краток или долог первый гласный в *Ifing*. В *Codex Regius* знака долготы над ним нет, но в большинстве современных изданий (однако не в NK) напечатано *Ifing*. Причина тому — предполагаемая этимология названия (о чем см. ниже). В обширнейшей литературе, посвященной «Эдде», скандинавской мифологии и древнеисландскому языку, о слове *Ifing* сказано чрезвычайно мало. Даже в грамматике Нурена⁴, в которой подробно обсуждается собственное имя *Ifarr* (= др.-англ. *Inwer*), не нашлось места для *Ifing*. В комментарии Геринга–Саймонса⁵ *Ifing* связывается с названием дерева тиса (др.-исл. *úr*). Это слово имеет множество параллелей, в том числе англ. *yew* и нем. *Eibe*; сюда же относится русск. *ива*. Остается загадкой, почему река, разделяющая два мира, именно тисовая. Люннинг⁶ предположил, что река Ивинг не замерзает не случайно: по льду великаны могли бы перебраться в Асгард; так же считаем Детгер и Хайнцель⁷. Не исключено, что Люннинг прав, но сомнительна по определению любая попытка рационального объяснения мифа. Мейчан, например, считает, что текущая вечно и незамерзающая река — символ и архетип жизни⁸. И против этой идеи нечего возразить, особенно если признать, что Ивинг не просто космическая река, а символ чего-то. В принципе, все же естественнее согласиться с Люннингом, но чуть изменив его формулировку: граница должна быть задана испокон веку и всегда быть на виду; остановившаяся, покрытая льдом и снегом река связывает, а не разделяет берега и не может служить границей. Отчего бы не была Ивинг неподвластна морозу, к тису это ее свойство отношения не имеет.

Поскольку праформа древнеисландского существительного *úr* «тис» восстанавливается в виде **iwiðia*, то слово *Ifing* и стали печатать с долгим гласным (*Ifing*). Бертольди⁹, Лефлер¹⁰ и Шрёдер¹¹ собрали многочисленные факты о роли тиса в религии и суевериях. Слово *úr* использовалось как название одной из рун, настойка из коры и листьев тиса — смертельный яд (в частности, существует мнение,

что именно такую настойку влил Клавдий в ухо отцу Гамлета), и в некоторых областях Германии тис сажают на кладбище; в Англии тисовое дерево — материальный оберег от ведьм. Шрёдер¹² заключил, что «тисовая река» исполнена культового значения, хотя, по осторожной гипотезе Геринга—Саймонса, Ивинг — всего лишь река, протекающая среди тисовых зарослей, что сводит ее с мифологического уровня на бытовую. Хуго Пиппинг¹³, Хольтхаузен¹⁴ и Магнус Олсен¹⁵ тоже пишут *Ifing* и переводят данное название как «тисовая». От многократного повторения эта интерпретация сделалась привычной и как бы само собой разумеющейся (она принята даже учебными изданиями «Эдды» в Исландии), но едва ли выиграла в убедительности.

Космические реки вполне могут иметь невпечатляющие названия независимо от того, придуманы они «народом» или малоталантливыми жрецами (поэтами). Их древность невосстановима современными методами реконструкции. Например, Тор, чтобы попасть на совет богов, переправляется через *Körmt*, *Örmt* и две (!) *Kerlaugar* (*Grimnismál* 29 1–3). *Körmt* как будто связана с *karmr* «шлестеный сосуд» и т. п. В современном исландском есть *karmi* и *karmur* «отсек в овчарне» (параллели в других скандинавских языках собраны Олсеном¹⁶). *Körmt* было также названием острова, которое могло пониматься как «перегородка». *Örmt*, если у него корень *arm-*, видимо, значит «рукав», хотя в районе Западных Фиордов и *armr*, и *karmr* засвидетельствованы в значении «отсек в овчарне»¹⁷. *Kerlaugar* (мн. ч.) — это просто «мытьё в корыте (лохани)». Таким образом, минуя символы и архетипы, Тор должен был пройти два водных «отсека» и дважды «выкупаться» — отрезвляющая процедура и для Тора, и для его толкователей. (Я пропускаю пересказ совершенно фантастических идей Олсена, почему эти реки получили столь прозаические названия.)

Рядом с *Ifing* в словаре древнеисландского языка стоят *ifill*, *ifli* и *ifjung* (разные названия прирученного сокола), а также *ifingr* «платок, косынка» (в нем без больших оснований усматривают корень *if-*, как в готск. *ibuks* «назад, вспять»). *Ifill*, *ifli* и *ifjung* объясняются как «сокол с кольцом или с повязкой кольцеобразной формы». Хьялмар Фалк, подобно многим лингвистам любивший проводить исследования, так или иначе связанные с собственной фамилией, написал статью о названиях птиц¹⁸. Упомянутые выше этимологии предложены им. Поскольку *í* и *i* входят в один и тот же ряд германского аблаута, слова с этими гласными всегда могут оказаться родственными. Фалк, среди прочего, связал *ifill*, *ifli* и *ifjung* с *Ifing* (с кратким начальным *i*) и объяснил это название как «поворачивающая» (или, может быть, «крутящаяся»: корень дан по-немецки — *winden*). Сюда же он отнес тоже известное по одной лишь туле слово *ifröðull*, синоним *röðull* без *if-* — «солнце» (= «вращающееся»). Этимологии Фалка, в общем, крайне натянутые, воспроизвел в своем словаре Александр Йоуханнессон¹⁹. Принимать их

всерьез нет надобности. Основная трудность состоит в том, что все слова, приведенные Фалком, столь же непроницаемы, как и *Ifing*. Существует жестокий закон: всякий раз, когда одно «темное» слово пытаются объяснить с помощью другого, не более ясного, результат в той мере, в какой его удастся проверить, получается неправильный.

Гораздо более убедительную этимологию *Ifing* (с долготой: *Ífing*) предложил в своем словаре Ян де Фрис²⁰. Трудно сказать, насколько корректно его сравнение *Ifing/Ífing* с совр. исл. *yfing* «рябь; подстрекательство; вражда» (это сравнение идет, как самое позднее, от Финка Магнусена²¹); *yfing*, скорее всего, связано с группой готск. *ubils*, нем. *übel*, англ. *evil* «злой», которые имеют корневое *u*. Но сопоставление *Ifing/Ífing* с др.-англ. *āfor* и др.-в.-нем. *eibar* безупречно. Значения *āfor/eibar* таковы. *Āfor*: свирепый (в поэзии); сильнодействующий (о лекарстве); горький, кислый, терпкий (на вкус, но также «горький» о раскаянии); в латинских текстах глосса к *acerbus*, *rancidus* (*amarus, foetidus*). *Eibar*: острый, горький; отвратительный, противный; бурный, страстный; мучительный; в глоссах *horridus, immanis*. Де Фрис перевел *Ífing* как «стремительная» (нем. *ungertüm* «буйный, бурный, неистовый»), хотя исходил он не столько из древнеанглийского и древнемецкого прилагательных, сколько из современных и очень поздно засвидетельствованных нем. *Eifer* и голл. *ijver* «рвение, усердие». Несмотря на почти очевидную связь между *eibar* и *Eifer*, объединить их удастся с большим трудом, так как дифтонг в *Eifer* (и *ijver*) из *i*, т. е. по сравнению с *eibar* гласный представлен другой ступенью аблаута. Однако в любом случае, независимо от этимологии *Eifer* и долготы первого *i* в *Ifing*, название реки следует, видимо, понимать как «стремительная, бурная». Благодаря стремительности она надежно охраняла богов от вторжения. А. Б. Магнуссон²² и Мейчан²³ считают обе этимологии («живая» и «стремительная») одинаково вероятными. Согласиться с ними невозможно: нет никаких аргументов в пользу того, что Ивинг протекала мимо ивняка и что в этом пейзаже заключен глубокий смысл. Об этимологии Фалка со времен Йоуханнессона не говорит никто. В этимологических исследованиях так и принято: гипотезы погибают не под натиском аргументов противника, а как жертвы заговора молчания.

Любопытно, что аналогичный выбор исследователи усматривали, обсуждая происхождение и некоторых других древнеисландских гидронимов, но нигде не удавалось выйти за пределы гадательных сопоставлений. Например, *Eikin* (*Grímnismál* 271) — либо дубовая река (если от др.-исл. *eik* «дуб»), либо бешеная (др.-исл. *eikinn* «свирепый, дикий», м. р.), *þöll* (*Grímnismál* 2710) неотличимо от др.-исл. *þöll* «молодая сосна», но это название переводили как Взбухшая и как Тихая (!)²⁴. В обоих случаях в качестве этимона можно выбрать название дерева, а можно — эпитет «бурный».

Др.-исл. *lfing* чрезвычайно похоже на др.-англ. *ffig* «плющ», а в исправленной форме *lfing* — это почти то же самое слово. Не только этимология, но и более поздняя история *ffig* полна неясных моментов. Несмотря на разительное сходство *lfing* и *ffig*, одно «темное» слово, как уже говорилось, не следует использовать для истолкования другого, столь же темного. Тем не менее связь между ними следует рассмотреть подробнее. Ниже история вопроса будет изложена лишь в основных моментах.

Др.-англ. *ffig* имеет надежные параллели только в немецком и голландском, т. е. это слово западногерманского ареала. К тому времени, когда в текстах и современных диалектах были засвидетельствованы относящиеся к делу голландские названия плюща, они либо подверглись опрощению, либо вошли в состав тоже опрощенных сложных слов, и невозможно с уверенностью восстановить их первоначальную форму. Не вызывает сомнения лишь др.-в.-нем. *ebah*, в котором все признают корень *eb-* и суффикс *ah-*, видимо, с собирательным значением. Таким образом, *ebah* означало «место, заросшее плющом» и лишь как следствие этого — «плющ».

В *eb-* гласный краток, но в *ff-* он столь же очевидно долог, потому что корневое /i/ в др.-англ. **ifig* не удлинилось бы (/i/ в так называемом открытом слоге, т. е. перед одиночным согласным, удлинилось бы в сравнительно немногих древнеанглийских словах, а перед суффиксом *-ig* долгие гласные не сокращались, но краткие не удлинились), а если бы даже и удлинилось, то его рефлексом было бы закрытое /ē/ и современное *ivu* произносилось бы не [aivī], а [i: vi]. Но, вероятно всего, *ffig* так бы и осталось [ivī].

ffig и *ebah* были сведены к единому этимону благодаря рано зафиксированному древневерхнемецкому сложному слову *eba-hewi* (с тем же значением). Листья плюща широко использовались, а кое-где в Швейцарии и до сих пор используются в качестве зимнего корма для скота (сходным образом на русском Севере женщины собирали листья березы; этот сбор, листобросница, описан, например, Пришвиным в книге «В краю непуганых птиц»), что и объясняет переделку суффикса *-ah* в *-hewi* «сено». Во всех авторитетных книгах по древнеанглийскому языку, начиная с третьего издания «*Angelsächsische Grammatik*» Сиверса²⁵, *ffig* возводится к **if-hi(e)g*; говорится, что после выпадения интервокального /h/ **if-hi(e)g* превратилось в *ffig*. В свете этого объяснения *ffig* не может рассматриваться в качестве аналога *ebah*, так как *-ig* в нем не суффикс, а след исчезнувшего компонента *hi(e)g* «сено».

Разрушение параллели *ff-ig/eb-ah* говорит не в пользу гипотезы Сиверса. Другой ее сомнительный компонент хронологический. Очевидно (во всяком случае, общепризнано), что *eba-hewi* — поздняя переделка формы *ebah*, но в английском приходится признать обратный порядок действий: **if-hieg* оказывается самым древним вариантом, а *ffig* — результатом его опрощения, т. е. получается, что др.-в.-

нем. *eba-hewi* случайно повторило когда-то существовавшее др.-англ. *if-hieg* (*ifig* встречается в древнеанглийском уже в 800 г., **if-hieg* не встречается никогда). Поскольку глубокая предыстория большинства слов неустановима (возможны лишь догадки, а «как это было на самом деле», мы все равно никогда не узнаем), то наилучшей должна считаться та этимология, которая наиболее вероятна, т. е. основана на минимальном числе натяжек. Аналогичное требование предъявляется к любой реконструкции.

Исходя из таких посылок, рациональнее признать, что *ifig* и *ebah* — параллельные формы, и выделить в обеих корень и суффикс, представленные разными степенями аблаута: *f-/ib-*, *-ig/-ah*. Др.-в.-нем. *ebah* восходит к **ibah* по западногерманскому преломлению: перед /a/ второго слога в корне не мог стоять закрытый гласный /i/. Различие между др.-англ. /f/ (реализовавшимся в виде звонкого [v]) и др.-в.-нем. /b/ закономерно: ср. др.-англ. *giefan* (совр. *give*) и др.-в.-нем. *geban* (совр. *geben*) «давать». Поскольку /i/ в **ibah* — это нулевая ступень корневого гласного, то не исключена древняя форма **ibáh*. В древнеанглийском же *ifig* могло иметь начальное ударение, если /i/ не результат удлинения /i/ в **ifig* по неизвестным причинам, например, под влиянием табу, хотя в религиозных верованиях германцев плющ не играл никакой роли; невелико также его значение в суевериях и народной медицине. Звонкий согласный [v]/[b] мог быть в равной мере рефлексом **bh*, как в др.-англ. *lufu* «любовь», и продуктом озвончения по закону Вернера, как в др.-англ. *seofon* «семь».

Существует ряд этимологий западногерманского названия плюща. Ни одна из них не завоевала всеобщего признания. Надо заметить, что, если отвлечься от абсолютно прозрачных сложных слов типа голл. *klimop* («ползти» + «вверх») или норв. *bergflette* («гора» + «завивать»), во всех индоевропейских языках название плюща расшифровывается с большим трудом, и чем дальше, тем более безнадежными становятся соответствующие статьи этимологических словарей. Англ. *ivy* и нем. *Efeu*, получившееся из *eba-hewi* через стадию *ep-heu*, давно вошли в группу слов неизвестного происхождения.

Фалк (см. о нем выше) считал, что др.-исл. *ifill*, *ifli*, *ifjung*, *Ifing* и *ifröðull* родственны *ifig/ebah* и готск. *ibuks*, поскольку плющ — вьющееся растение. О связи *ifig/ebah* с *ibuks* говорил еще Петерссон²⁶, и ссылка на него есть у Фалка. Гипотеза Фалка была бы приемлема, если бы удалось доказать, что корень древнеисландских слов действительно значит «виться» или «поворачивать», но как раз это доказать невозможно, да и готск. *ibuks* означает «назад», а не «вкось, в сторону» или «по кругу». Кемп Мелоун сравнил *ifig* с др.-исл. *ifingr* «платок, косынка» и тоже сослался на *ibuks*²⁷. Семантическая связь между глаголом «поворачивать(ся)», наречием «назад» и существительным «платок» (потому что он не дает волосам падать на лоб?) прослеживается довольно слабо. Результат у Мелоуна получился тот же, что у Фалка, хотя Мелоун его не упоминает. Есть и другие, в ос-

новном очень давние и неубедительные, этимологии *ivy/Efeu*; ни одна из них не заслуживает разбора.

Одно время большим успехом пользовалась этимология Хопса²⁸, который считал главной формой др.-англ. *ifegn*, синоним *ifig*, и сопоставил его с лат. *ibex* «горный козел» (и растение, и животное карабаются по кручам; другие полагали, что определяющим моментом служат загнутые рога горного козла). Ссылки на Хопса можно найти в самых авторитетных современных словарях, но с неперменной оговоркой, что предложенное им решение едва ли верно. *Ibex* — почти наверняка субстратное альпийское слово неиндоевропейского происхождения; поэтому сравнивать его с *ifegn* бесполезно. Однако нельзя не признать, что и в фонетическом, и в семантическом плане этимология Хопса превосходна.

Этимологию Мелуона едва ли кто-нибудь заметил, а этимология Фалка затерялась потому, что историки западногерманских языков редко углубляются в чуждый им скандинавский материал. Самое известное исключение — Ян де Фрис, но почему-то и он не упомянул Фалка в своем словаре голландского языка²⁹. Никто не обратил внимания и на этимологию Лёвенталья³⁰, что менее удивительно. Лёвенталь — автор многочисленных статей, большинство из которых составлено по одному и тому же принципу: текст разбит на короткие фрагменты, и в каждом рассматривается какое-нибудь слово и его возможные соответствия, причем рассматривается аподиктически и обычно без ссылок на предшественников. Этот несчастливый жанр (бесчисленные «Wortdeutungen», «Etymologien», «Grammatisches und Etymologisches»), процветавший вплоть до середины XX в., — главная причина того, что этимологическая литература полна брошенных вскользь замечаний, обнаружить которые можно лишь случайно.

Лёвенталь сравнил *ebah* с уже известным нам *eibar*, которое он снабдил переводом «ядовитый» из-за того, что потребление ягод плюща приводит к отравлению. Но потреблялись не ягоды, а листья плюща, действительно сильно горчащие. Значение «ядовитый» ни у *āfor*, ни у *eibar* не засвидетельствовано, и его незачем домысливать.

В целом вырисовывается следующая картина. В древнегерманских языках был корень *if-* «горький, кислый, отвратительный», встречавшийся редко, но известный на всех ступенях аблаута: др.-англ. *ifig* «плющ», др.-англ. *āfor* и др.-в.-нем. *eibar*, др.-в.-нем. *ebah* «плющ», др.-исл. *Ifing* «ядовитая (река)» (если *Ifing*, то ступень аблаута та же в др.-англ. *ifig*). За пределами германских языков *if-* не имеет надежных параллелей, но и в германском ареале его существование подтверждается только прилагательным *eibar/āfor*, так как *ifig/ebah* и *Ifing* связаны с ним лишь предположительно. И все же вероятность того, что названные выше слова родственны, довольно высока. Если этот вывод верен, то название эддической реки Ивинг восходит к глубокой древности, а западногерманское название плюща менее изо-

пировано, чем это принято думать. Но поскольку др.-исл. *ifill, ifli, ifjung, ifröðull* и готск. *ibuks* сюда не относятся, вопрос об их этимологии остается открытым.

-
- ¹ Hale Christopher S. The River Names in Grímnismál 27–29 // Edda: A Collection of Essays / University of Manitoba Press. 1983. P. 165.
 - ² Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976. С. 31–43.
 - ³ NK = Gustav Neckel (Herausgeber), Edda... 1. Band. 4. Aufl. von Hans Kuhn. Heidelberg, 1962. P. 47.
 - ⁴ Noreen A. Altnordische Grammatik I. ... 5. Aufl. Tübingen, 1970.
 - ⁵ GS = Gering Hugo und B. Sijmons. Kommentar zu den Ziedern der Edda. 1. Hälfte. Halle (Saale). S. 166.
 - ⁶ Lünning H. Die Edda... Zürich, 1859. S. 159.
 - ⁷ Detter — Heinzel = Detter F., Heinzel R. Sæmundar Edda mit einem Anhang. Bd. 2. Leipzig, 1903. S. 158.
 - ⁸ Machan T. W. (ed.) Vafþrúðnismál. Durham medieval Texts 6. 1988. S. 77.
 - ⁹ Bertoldi V. Sprachliches und Kulturhistorisches über die Eibe und den Faulbaum // Wörter und Sachen. 1928. N 11. S. 145–161.
 - ¹⁰ Löffler Z. Fr. Det evigt grönskande trädet vid Uppsala hednatömpel // Maal og Minne 1911. 1913. P. 617–696.
 - ¹¹ Schröder R. F. Untersuchungen zur germanischen und vergleichenden Religionsgeschichte II // Skadi und die Götter Skandaviens. Heidelberg, 1941. S. 1–9.
 - ¹² Ibid. S. 7.
 - ¹³ Pipping H. Eddastudier 3. Studier i nordisk filologi 18 / Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 197. Helsingfors, 1928. S. 25–26.
 - ¹⁴ Holthausen F. Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Altwestnordischen (Altnorwegisch-isländischen). Göttingen, 1948. S. V.
 - ¹⁵ Olsen M. Edda- og skaldekvad. Forarbeider til kommentar 7 // Avhandlingar utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. Ny Serie 5. Oslo, 1964. P. 14–16.
 - ¹⁶ Olsen M. Kormt ok Ormt // Germanica. Eduard Sievers rum 75. Geburstabe 25. November. 1925. P. 247–257.
 - ¹⁷ Olsen M. Kormt ok Ormt. P. 250.
 - ¹⁸ Falk Hjalmar. Die altnordischen Namen der Beizvögel // Festschrift Sievers. 1925. P. 236–246.
 - ¹⁹ IsEW = Alexander Johannesson. Islandisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1956.
 - ²⁰ Vries J. de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 3. Aufl. Leiden, 1977.
 - ²¹ Magnusen F. Priscæ Veterum Borealium Mythologicæ Lexicon. Havni, 1828. S. V.
 - ²² ÁBM = Asgeir Blöndal Magnússon. Íslensk orðsifjabók. Orðabók Háskólans, 1989. S. V.
 - ²³ Machan T. W. (ed.) Op. cit. S. 77.
 - ²⁴ Hale Christopher S. Op. cit. P. 169, 174.
 - ²⁵ Sievers E. Angelsächsische Grammatik. 3. Aufl. Halle, 1898. § 217.
 - ²⁶ Petersson H. Got. ibuks // Indogermanische Forschungen. 1908–1909. 23. P. 161.
 - ²⁷ Malone K. [Review]. IsEW // Language. 1952. № 28. P. 531.
 - ²⁸ Hoops J. Alte k-Stämme unter den germanischen Baumnamen // Indogermanische Forschungen. 1903. № 14. P. 483–485.
 - ²⁹ Vries J. de. Nederlands Etymologisch woordenboek. Leiden, 1971.
 - ³⁰ Læwenthal J. Zur germanischen Wortkunde // Arkiv för nordisk filologi. 1917. № 33. P. 97–131.



А. Н. Ливанова (Санкт-Петербург)

О ЧАСТЕРЕЧНОМ СТАТУСЕ ТЕРМИНОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ В НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ

Исследователей не перестает удивлять тот факт, что научное наследие М. И. Стеблин-Каменского, выдвинутые им когда-то положения, по-видимому, не подвержены устареванию. Так, в 1954 г. им была опубликована статья «К вопросу о частях речи»¹, уточняющая вслед за работами Л. В. Щербы основания, на которых выделяются части речи. В статье внимание уделено, в частности, существительному, местоимению, числительному и предлогу. Размышления в статье носят общий характер и не привязаны к материалу какого-либо отдельного языка. В данной публикации на норвежском материале рассматриваются и некоторые другие части речи. Мы постараемся показать, что подход Михаила Ивановича позволяет решить и проблемы, не затронутые в его работе.

Термины пространственной локализации в норвежском языке являются значительно более частотными, чем, например, в русском; к тому же они шире используются для обозначения иных отношений, нежели чисто пространственные. Нередко выявление их функции и статуса в том или ином типе языковых структур сопряжено с немалыми трудностями. Ограничимся в данной работе рассмотрением группы терминов, образующих пары единиц, указывающих на местонахождение и на направление движения: *bort* — *borte* «вдаль — вдали», *inn* — *inne* «внутри — внутри», *opp* — *oppe* «вверх — верху», *ut* — *ute* «наружу — наружи», *ned* — *nede* «вниз — внизу», а также пара *hen* — *henne*, которая в словарях переводится как «прочь — далеко в стороне»², хотя такой перевод далеко не полностью передает семантику этой пары терминов³. Рассмотрим также производные от перечисленных пар типа *borti*, *bortpå*, формально представляющие собой сложные слова — сочетания указанных терминов с предлогами.

Языковые окружения, в которых встречаются интересующие нас единицы, сводятся к следующим. Они могут использоваться в качестве обстоятельства в предложении: *Han er langt borte nå* / Он сейчас далеко; для выражения связи глагола с зависимым словом — видимо, как предлог: *Han gikk opp trappen* / Он поднялся по лестнице, или же вместе с предлогом: *Han gikk opp på trappen* / Он поднимался по лестнице; в составе сложного слова — как префикс: *de bortførte hans kone* / Они похитили его жену; в сочетании с глаголами: *Hun kom bort til ham og hilste på ham* / Она подошла к нему и поздоровалась; *Han reiste bort i går* / Вчера он уехал.

С глаголами такие термины пишутся то слитно, то раздельно и в различной последовательности, т. е. ведут себя как отделяемые частицы: *Politimannen førte tiltalte bort* / Полицейский увел обвиняемого, но *Den bortførte kvinnen gråt hele veien* / Похищенная женщина всю дорогу плакала.

Еще одна возможность употребления — в сочетании с предлогом, нередко без зависимого слова: *Han er langt borti skogen* / Он далеко в лесу; *Han gikk langt borti (skogen)* / Он зашел далеко (в лес).

Вопрос о частеречном статусе таких единиц, одной из особенностей которых является то, что семантика локализации и ориентации⁴ выражается разными формами одной лексемы, не нашел окончательного решения ни у зарубежных, включая норвежских, ни у отечественных лингвистов. Традиционная грамматика Августа Вестерна⁵ дает все эти термины в сравнении с немецким языком, но, хотя не может полностью игнорировать смысловые различия этих форм в двух языках, не приводит никаких объяснений.

В грамматике Бейту⁶ отмечаются некоторые различия в акцентуации наречий, союзов и предлогов, но не предлагается никаких критериев выделения этих классов. В связи с влиянием генеративной лингвистики в норвежском языкознании прилагаются усилия, направленные на пересмотр традиционной грамматики любой ценой, что, как нам представляется, далеко не всегда оправданно.

Типичным является следующий пассаж, непосредственно касающийся нашей темы: «Многие из слов, которые в данной грамматике считаются предлогами, традиционно называли наречиями»⁷. Имеются в виду выделенные курсивом слова в следующих фразах: *Jeg satte sykkelenn inn* / Я убрал велосипед внутрь; *Han må vente utenfor* / Ему нужно подождать снаружи; *Gi meg pengene tilbake* / Отдай мне деньги назад. По мнению авторов, подобная трактовка определяется синтаксисом указанных предложений. Такое мнение, казалось бы, не расходится и с мнением М. И. Стеблин-Каменского: «...предлог — это предлог, очевидно, потому, что то или иное отношение — содержание его значения, но выражать это отношение между словами есть в то же время его синтаксическая функция»⁸.

Наибольшую сложность вызывает толкование глаголов с такими префиксами и частицами; состоит она, в частности, в том, что «...име-

ется два экспонента значения (лексемы), как в сложных предложениях, напр. *in front of, because of...*, но два экспонента этой лексемы могут быть разделены другими конституентами»⁹. Своего решения проблемы автор не предлагает. Вестерн¹⁰ считает: «Те частицы, которые используются в норвежском языке для образования сложных глаголов, частично предлоги, а частично — наречия».

Бейту рассматривает вопрос в разделе «Сложные глаголы» и отмечает отсутствие регулярности в употреблении форм с частицами и префиксами¹¹, а также наличие не только смысловой, но и стилистической разницы между параллельными формами. В академической грамматике пишется дословно следующее: «Предлог... без зависимого слова можно назвать приглагольной частицей»¹². Наконец, все три термина в одной книге и в приложении к одному и тому же явлению употребляются в учебнике норвежского языка для иностранцев: «В качестве первого члена у огромного большинства сложных глаголов выступает предлог или наречие. Такие маленькие словечки называют также частицами...»¹³, и далее там же на с. 126: «Часто в связи с этим мы вместо обозначения „предлог“ пользуемся обозначением „частица“».

Итог всей этой путаницы подводит Август Вестерн: «Да, в общем, безразлично, чем их считать»¹⁴, или более академичное: «Терминология, связанная с делением на части речи, не носит первоочередного характера в связи с этим»¹⁵...

Не можем с этим согласиться: «В зависимости от того, какие будут приняты общие определения или терминологические условности, тот же самый языковой факт может быть описан по-разному»¹⁶. Попытки четче определить частеречную принадлежность опорных для структуры языка и частотных слов важны, скорее, не столько в типологическом плане, так как «распределение слов по частям речи — не результат логической операции» и «не может быть речи о научной классификации»¹⁷, сколько для лучшего понимания того, как функционирует данный конкретный язык, например, чтобы выяснить, когда следует и когда не следует употреблять предлог вместе с частицей, и т. п.

М. И. Стеблин-Каменский строит изложение именно по порядку следования частей речи. Мы полностью поддерживаем следующую точку зрения: «Хотя для глубинного представления семантических единиц понятие части речи нерелевантно, при описании фактов конкретного языка отказываться от него нецелесообразно»¹⁸.

Разумеется, сложностей на пути решения нашей задачи немало. Как уже указывалось, одна из них — это наличие двух экспонентов у одной лексемы и возможность их дистанционного расположения в высказывании.

Второй нетривиальный момент — существование у интересующих нас слов словоизменительной парадигмы, своего рода склонения: «Нечто среднее между прежним падежным склонением и сло-

вопроизводством»¹⁹, что наречиям, а тем более служебным частям речи, в европейских языках не свойственно.

Далее, сложность представляет наличие составных форм (наречие + предлог), которые нередко пишутся в одно слово — *ut av* или *utav*, а также форм без предлога, но с наречием и с зависимым словом: «Когда речь идет о направлении, иногда предлог может выпадать после *inn, ut, ned, opp*»²⁰.

Как известно, «норвежские наречия — древнейшие слова, которые восходят к общегерманскому языку. Особенно следует здесь назвать некоторые из тех, что означают время, место или направление: *no, der, her, inn, ut, ned, opp, aust, vest, nord, sør*»²¹. Из наречий с пространственным значением развились и прочие функциональные варианты, но пространственное значение первично; это сохраняется и в современном языке, там где их употребление соответствует современным представлениям о наречии. Исследования показывают, что еще в древнегерманском языке наблюдалось «сосуществование трех структурных вариантов моделей глагола с частицами — наречие в позиции, наречие в постпозиции и глагольная основа с превербом»²².

Известно, что в древнеисландском языке единицы (из которых позже развились частицы и предлоги) во всех случаях воспринимались как отдельное слово. Существующие же в современном норвежском случаи — варианты со слитным и раздельным написанием частиц, различающиеся смыслом, — в нем не засвидетельствованы. Это, а также некоторые иные изменения сочетаемости исследуемых единиц с различными структурами, являющиеся синтаксическими по своей природе, обусловлены, как предполагается, переходом к связанному порядку слов, поскольку синтаксические изменения не происходят поодиночке²³.

В разных языках разные модели оформления глаголов получили неодинаковое развитие. О норвежском в классической грамматике норвежского языка²⁴ говорится: «Частицы, которые используются в норвежском для образования сложных глаголов, частью предлоги, частью наречия, напр. *frafalle, avbryte, oppbygge*. Но частица может и отделяться от глагола, так что получаем формы *falle fra, bryte av, bygge opp*. Последняя форма — самая исконная в норвежском и наилучшим образом соответствует естественной речи. Слитная форма, по-видимому, обязана, по крайней мере отчасти, влиянию немецкого, и ее употребления следует по возможности избегать». Это, однако, не совсем так. Есть глаголы, которые во всех формах употребляются с префиксом; есть параллельные пары с префиксом и частицей, как упомянуто выше, и, наконец, глаголы, употребляющиеся только с частицей. В свете данных об истории скандинавских языков, содержащихся, в частности, в цитированных выше работах, нельзя говорить об исконности лишь одной из указанных моделей.

Вероятно, из-за всех упомянутых сложностей делались попытки обойти проблему. Избегая ответа на вопрос о частеречной принад-

лежности указанных терминов локализации, норвежский лингвист Свейн Ли предпочитает называть их во всех рассматриваемых случаях просто «словами» — ord²⁵. Вряд ли это упрощает задачу. Видимо, для ее решения наиболее существенно найти приемлемые ответы на два вопроса: что такое слово и что такое часть речи.

Как нам кажется, наиболее емко суть положения дел со значением «слово» схвачена в высказывании И. А. Мельчука: «Слово — единица, всем понятная на уровне интуиции, но не поддающаяся строгому определению». Понятная на интуитивном уровне единица может для носителей языков иной структуры обладать иными свойствами, нежели «слово» — для европейца. Так, японский эквивалент «слова» — го — обозначает также и то, что в нашем понимании называется морфемой²⁶.

Большинство современных исследователей считают, что слово — слишком многозначный термин, чтобы его можно было использовать в целях классификации. В этих же целях важно: а) отличать словоформу от лексемы, б) различать словоизменение и словообразование.

В разрешении обеих указанных проблем необходимо учитывать такие характеристики рассматриваемых единиц, как делимость и автономность. Учет их позволяет отличить слово в европейском понимании от морфемы (что для японского, с традиционной японской точки зрения, нерелевантно): «...чем большей линейно-синтагматической свободой внутри текстовой цепочки обладает морфологическая единица, тем ближе она по своим свойствам к автономной словоформе. Важнейшим из линейно-синтагматических свойств является *отделимость*... Те единицы, которые обладают этим свойством, вполне могут претендовать на то, чтобы также называться словоформами... единица А считается отделимой (от словоформы W), если существует такой контекст, в котором между А и W допустимо поместить по крайней мере одну бесспорную (т. е. автономную) словоформу»²⁷. Таким образом, орр в skjære орр «разрезать» — отделимая, но не автономная словоформа; а орр в gå орр «подняться наверх» (Hvor gikk han? Орр / Куда он пошел? Наверх) — автономная. Неотделимая же вовсе единица — это уже не словоформа, а морфема. Переходный феномен между словоформой и морфемой — клитика; обычно клитики хорошо отделимы. «Основным... признаком, по которому клитики противостоятся словоформам, оказывается фонологический (точнее, просодический): клитика определяется как *акцентно-несамостоятельная единица*...»²⁸. Она присоединяется к опорной словоформе — носителю клитики. Главное — наличие у клитического комплекса лишь одного ударения, клитика не обязательно безударна. Замечено, что среди прочих семантико-грамматических классов слов клитиками обычно бывают «пространственные модификаторы при глаголах»²⁹.

Таким образом, в языкознании не существует просто «слова», а есть словоформа как одна из трех возможных форм существования значимого (ср. «только наличие значения и делает слово словом»³⁰).

звукокомплекса, наряду с противопоставленной ей морфемой и промежуточной формой — клитикой.

Часть речи — также на интуитивном уровне — легко усвояемое понятие. Это касается классических, школьных, прототипических частей речи данного языка. Во «взрослой» же лингвистике теоретическим основанием выделения частей речи и обоснованию такого выделения уделяется немало внимания; свидетельство тому — и упоминавшаяся статья М. И. Стеблин-Каменского, в которой говорится о нелогичности признаков, по которым части речи выделяются. Каковы же эти признаки?

Для И. А. Мельчука, например, ведущим является формальный критерий: «Часть речи представляет собой класс лексем, участвующих в одном и том же наборе поверхностно-синтаксических конструкций»³¹. К формальным характеристикам как важнейшим, хотя и на других основаниях, склоняется и В. Б. Касевич: «Связь частеречной принадлежности слова с закономерностями его фонологического оформления... лишний раз свидетельствует о преимущественно формально-грамматических основаниях распределения слов по частям речи...: если бы эти основания были семантическими, трудно было бы, учитывая произвольный характер связи между означающим и означаемым, ожидать прямого „отображения семантики на фонологию“»³².

Есть, однако, и иные мнения. Так, Н. В. Перцов³³ полагает, что выделять части речи следует на основе функционального критерия, поскольку при одном и том же экспоненте функция и значение, а следовательно, и принадлежность к разным частям речи могут быть разными; это как раз имеет место в случае с норвежскими терминами локализации. Таким образом, на первое место выходит функционально-семантический критерий. И такая позиция обосновывается в авторитетных трудах: «Разбиение на части речи — в конечном счете, разбиение семантическое, но оно непосредственно опирается на формально-грамматические свойства слов, точнее, на их (преимущественно) грамматическую сочетаемость»³⁴.

На семантическом критерии в первую очередь строят свои выкладки и авторы норвежской академической грамматики, прежде всего при описании оснований, по которым выделяется класс предлогов³⁵.

Таким образом, можно сказать, что практически все исследователи ведут речь о «совокупности содержательного, синтаксического, морфологического критериев»³⁶, споря лишь о том, какой из них считать основным. Вслед за М. И. Стеблин-Каменским мы считаем важнейшим семантический критерий: «Единственное, что объединяет все эти основания, — это то, что все они из области значения»³⁷.

Представляется, что тут следует учитывать моменты порождения и восприятия речи. В процессе порождения (и для языкового сознания языкового коллектива), в становлении и развитии языка важнейшую роль играет семантический критерий, т. е. критерий основания, по которым происходит группировка слов, смысловые.

При вычленении же частей речи критериями служат в первую очередь морфологическое оформление языковых единиц и их синтаксические свойства, т. е. их функционирование.

Следует, очевидно, принять следующий вывод. Основания, по которым происходит процесс конституирования различных групп языковых единиц, — скорее функционально-семантические, а вот признаки их распознавания — скорее формальные, в том числе и фонологические, но с учетом семантики. Именно в таком ключе описывается процедура выделения частей речи в языках различных типов у Плунгяна³⁸.

Конечно, результаты этой операции не всегда оказываются до конца убедительными. Но, как отмечал М. И. Стеблин-Каменский, то, «что части речи не образуют стройной и последовательной системы, означает только, что грамматическая природа слова настолько сложна, что слова не поддаются последовательной грамматической классификации»³⁹. Или же, если оказывается трудно отнести слово (или группу слов) к какой-либо части речи, это может говорить о неустойчивом состоянии, переходном характере этой группы. На сочетании указанных выше критериев строится выделение Мельчуком уже упоминавшихся четко определенных семантических категорий локализации и ориентации — категорий, релевантных для распределения по частям речи рассматриваемой группы норвежских словоформ и выделяемых И. А. Мельчуком на базе рассмотрения немецких глаголов: «Категорией *локализации* называется такая категория, элементы которой характеризуют пространственную локализацию некоторого объекта или факта по отношению к данному объекту или (реже) факту — в терминах геометрической конфигурации. Сам термин *локализация* не является общеупотребительным; это легко объясняется тем обстоятельством, что данная категория почти никогда не обнаруживается в „чистом“ виде, в качестве автономной категории. Она связана с системами предлогов/последлогов...»⁴⁰

Локализация тесно связана с категорией ориентации II, которой «называется такая категория, граммы которой характеризуют направление разворачивания данного события по отношению к данному объекту.

Ориентация II выражается при обозначении объекта, указывая, как именно характеризуемый процесс ориентирован по отношению к этому объекту»⁴¹.

Именно такое сочетанное применение грамматического и семантического критериев (второе — в виде учета особенностей отражения пространственных отношений языком в том виде, в каком они представлены категориями локализации и ориентации II) подводит нас к следующему решению заглавной проблемы.

Рассмотрим по отдельности для каждого случая основания для отнесения рассматриваемых словоформ, с учетом степени их целепоформленности, к определенным частям речи.

Наиболее очевидными выглядят формы, представляющие собой крайние точки шкалы. И цельнооформленностью, и автономностью отличаются полнозначные слова, т. е. словоформы, — наречия. Именно так трактовал этот вопрос М. И. Стеблин-Каменский. Об отличиях от омонимичных им форм он говорит буквально следующее: «Приглагольное наречие отличается от предлога тем, что оно имеет лексическое, а не грамматическое значение и что поэтому оно является членом предложения, а не служебным словом, выражающим отношение между словами. Сравни *han gikk etter* „он пошел сзади“ и *han gikk etter ham* „он пошел за ним“.

Приглагольное наречие отличается от приглагольной частицы (или послелога) тем, что оно само по себе имеет лексическое значение, тогда как приглагольная частица имеет лексическое значение только вместе с глаголом. Сравни *han gikk opp* „он пошел наверх“ и *i det gikk opp for meg at...* „я понял, что...“⁴².

Особенность языковой норвежской ситуации — изменяемость наречий: «Некоторые наречия места демонстрируют изменения формы в виде своего рода склонения. При этом имеет место противопоставление направления движения и местонахождения»⁴³. В типологическом плане, однако, эта ситуация не уникальна, хотя морфологическая неизменяемость наречий как таксономической категории и считается их конституирующим свойством. Случаи наречного согласования известны, хотя и редки: характерно, что в приводимых примерах такого согласования⁴⁴ из типологически (и географически) далеких от норвежского языков (аварский и цахурский — с Кавказа, и даланджи — из Австралии) согласование наблюдается именно у локативных наречий, что, на наш взгляд, также свидетельствует о семантической (глубинной), а не формальной природе данного явления.

Вернемся к положению норвежских лингвистов: «Многие из слов, которые в данной грамматике считаются предлогами, традиционно называли наречиями»⁴⁵. При этом авторы имеют в виду выделенные курсивом слова в следующих фразах: *Jeg satte sykkelen inn* / Я поставил велосипед внутрь; *Han må vente utenfor* / Ему нужно подождать снаружи; *Gi meg pengene tilbake* / Отдай мне деньги назад. По мнению исследователей, подобная трактовка определяется синтаксисом указанных предложений. Такое мнение, казалось бы, не расходится и с мнением М. И. Стеблин-Каменского (курсив наш. — А. Л.): «...предлог — это предлог, очевидно, потому, что то или иное отношение — содержание его значения, но выразить это отношение между словами есть в то же время его синтаксическая функция»⁴⁶. Обратим, однако, внимание на выделенный курсивом фрагмент. Посмотрим вновь на предложения, использованные в качестве примеров авторами норвежской грамматики. Выделенные в них единицы не связывают глагол ни с каким иным словом в предложении; они лишь модифицируют действие, описываемое глаголом, т. е. выпол-

няют чисто наречную функцию. Порядок слов в любом из этих предложений можно поменять, поставив выделенные единицы, скажем, на первое место; можно, не расслышав, задать говорящему уточняющий вопрос, состоящий только из этого слова; при образовании страдательного причастия⁴⁷ от глаголов, использованных в указанных фразах (если это вообще возможно), термин локализации не образует вместе с ними сложного слова (это обязательно происходит, если речь идет о глаголе с приглагольной частицей) — иначе говоря, слово не только отделяемо, но и автономно. Следовательно, нет никаких оснований отказывать терминам локализации, выполняющим подобную функцию, в праве называться наречиями.

Сложнее трактовать употребление параллельных форм с наречием и предлогом (что параллельно русскому: Han gikk opp på trappen / Он шел вверх по лестнице) и форм лишь с одним термином пространственной локализации: Han gikk opp trappen / Он поднялся по лестнице. Большинство норвежских авторов считают эти формы равноценными. В первом случае перед нами, безусловно, наречие и предлог (по мнению норвежцев, это один составной предлог).

Во втором же напрашивается интерпретация opp как предлога, и так обычно норвежцами он и трактуется. М. И. Стеблин-Каменский считал, что здесь мы имеем дело с наречием, которое совмещает в себе функции наречия и предлога, как в следующих примерах: han løp opp (=oppad) bakken «он взбежал вверх склона (= вверх по склону)», lyset sivet inn (=innad) ruten «свет просачивался внутрь окна (= внутрь через окно)»⁴⁸. Однако легко заметить, что при беспредложном присоединении зависимого слова смысловый акцент делается на результате действия. Важно, что кто-то оказался наверху, пройдя по лестнице; в случае же, когда употребляется и предлог, акцент — на зависимом слове, т. е. самом процессе продвижения. Таким образом, отсутствие или наличие предлога говорит о характере протекания действия, выражая тем самым в некотором смысле видовые различия между двумя рассматриваемыми глагольными выражениями. Мы склоняемся к тому, что здесь мы имеем дело с приглагольной частицей, придающей глаголу значение завершенности действия и переходности, это косвенно подтверждается и интерпретацией В. Кристенсена⁴⁹. Рассматривая подобные случаи, он предположил, что главное отличие — в расстоянии, о котором идет речь: равном длине объекта, т. е. лестницы, во втором случае, и нерелевантности расстояния в первом — речь идет лишь о перемещении вдоль объекта. Легко заметить, что автор описывает явный случай действия семантической категории лимитативности — одной из категорий, тесно связанной с глагольными значениями совершенного и несовершенного вида. А ведь именно образование видовых значений глагола является характерной функцией приглагольных частиц-клитик (о чем далее).

Теперь же обратимся к предлогам как таковым и снова с опорой на работы М. И. Стеблин-Каменского. «В норвежском языке почти

все предлоги совпадают по своему звуковому составу с наречиями или приглагольными частицами, а некоторые предлоги совпадают по своему звуковому составу и с глагольными приставками»⁵⁰; в качестве примеров приводятся *fra, for, over*.

В то же время он указывает: «Предлог, очевидно, является предлогом только постольку, поскольку он выполняет свою грамматическую функцию, т. е. выражает отношение между знаменательными словами. Слово того же звукового состава, что и предлог, но не выполняющее этой грамматической функции, очевидно, нельзя считать предлогом, даже в том случае, если значение этого слова совпадает по своему содержанию со значением данного предлога...»⁵¹.

Сравним это четкое определение с формальным норвежским: «ПРЕДЛОГ: неизменяемые слова, которые могут составлять ядро зависимой от глагола, прилагательного или существительного группы. Наиболее распространены предлоги, управляющие следующей за ними субстантивной группой (*Hamsun har budd på denne garden / Гамсун жил на этом хуторе*). Предлог может использоваться и без зависимого слова: *No klatra opp (stigen) / Она взобралась вверх (по лестнице)*»⁵². Каким образом зависимое слово может отсутствовать, не объясняется.

Мы считаем, что для случаев с отсутствием зависимого слова следует различать две совершенно различных ситуации, и поможет в этом строгость в определении частей речи.

Первый вариант представляется достаточно очевидным: «...совершенно естественно, что между предлогом и наречием возможны и подлинные переходные случаи. Такие случаи имеют место, например, когда при слове, выражающем отношение, нет управляемого им слова, но такое слово легко восстанавливается из контекста — *det er store skabe med bøger i, kommer fra højre med hat på* (букв. „большие шкафы с книгами в“, „приходит справа со шляпой на“)⁵³.

Такой эллипсис возможен либо при наличии узкого контекста (*Vannet var varmt og behagelig i sjøen. Han stupte uti og tok retning mot holmen / Вода в море была теплой и приятной. Он нырнул и направился к островку*); либо при наличии широкого, нередко — экстралингвистического контекста (*Snart skal vi til Syden. Bare tenk deg å kunne sole seg, å stupe uti / Скоро поедem на юг. Только представь, будем загорать, нырять*).

Однако есть и более сложные случаи. «Предлог может не иметь зависимого слова (употребляться абсолютно), когда из контекста или ситуации ясно, что за слово имеется в виду, напр.: *det er lite om fuglen når fjøra er av / немного останется от птички, коли перышки прочь* (пословица)... От предлога в абсолютном употреблении всего шаг до наречия, и если языковая интуиция более не страдает из-за отсутствия зависимого слова, предлог принимает на себя функцию наречия, напр.: *låsen small i / замок захлопнулся; skipet gjekk under / корабль затонул*», — пишет Олав Бейту⁵⁴. Возможности исключения управляемого

слова создаются и в этом случае за счет семантических свойств высказывания: «Семантически обязательная валентность может быть поверхностно не выражена именно в силу своей обязательности — способ ее заполнения известен говорящему и слушающему, и тогда поверхностное выражение оказывается избыточным. Показательным примером здесь являются случаи дейктического заполнения начальной или конечной точки движения, ср. *Спасибо тебе большое, что пришел* (= сюда)... *Уйдите* (= отсюда), *Петр, ради Бога!*»⁵⁵.

Однако если это верно для первого из приведенных Бейту примеров, то в последних двух речь идет не о предлоге или наречии, но о приглагольной частице, в первом случае — видообразующей, во втором — словообразующей, поскольку значение глагола *gå under* не складывается из значений *gå* «уйти» и *under* «под».

Во втором же варианте, о котором говорят норвежские грамматисты, — ср. уже цитированный пример Форлюнна: *Ho klatra opp!* *Она взобралась вверх* — мы имеем дело не с предлогом и частицей, а с наречием в чистом виде. Этот случай мы уже подробно разобрали выше.

Как известно, особенностью скандинавских языков является большое количество составных наречий и предлогов⁵⁶. Для норвежского языка это положение дел усложняется тем, что вследствие сложившейся в стране уникальной языковой ситуации, когда развитие языка служило инструментом политической борьбы, нормы в норвежской орфографии крайне расплывчаты и неустойчивы: «Иногда такие сложные слова неустойчивы, и на письме встречается то раздельное, то слитное написание, как в случаях *ut av* или *utav* „из“ (чего-либо), *ut or* или *utor* (с тем же значением), или же если функции оказываются различными *inn i* „внутри в“ (направление), *inne i* или *inni* „внутри“ или „внутри в“ (местоположение)...»⁵⁷ Чаще всего все же встречается раздельное написание, слитное же следует отнести скорее на счет такого экстралингвистического фактора, как издержки языковой политики.

М. И. Стеблин-Каменский считал такие сложные слова «предлогом-наречием», поскольку они совмещают функции наречия и предлога в каждом отдельном случае своего употребления⁵⁸. Из других распространенных наречий-предлогов можно упомянуть *oppetter* «вверх по», *utover* «наружу по», *nedi* «внизу в» или «вниз в». Такие сложные слова, состоящие из наречия и предлога, также выражают отношение между знаменательными словами.

Далее следует рассуждение, с которым нельзя не согласиться: «Все эти функциональные эквиваленты предлога являются все же по существу «лжепредлогами», поскольку они сходны с предлогом только по своей функции, но совершенно отличны от него по своей семантической структуре. Между тем существенным признаком предлога является то, что он не только выражает отношение между словами, но что это его значение совпадает с его грамматической функцией. До тех пор пока не произошло полного семантического слияния компонентов «„лжепредлога“ в единое значение, т. е. до тех пор, пока

сохраняется, хотя бы и ослабленное, лексическое значение одного из компонентов „лжепредлога“... а следовательно, сохраняется и расчлененность его значения на лексическое и грамматическое, — до тех пор не может быть и речи о превращении „лжепредлога“ в настоящий предлог»⁵⁹. Можно только добавить, что в описанных случаях слитного написания можно говорить о синкретичном выражении категорий локализации и ориентации II.

Однако, хотя большинство грамматистов и не видят разницы в значении слитных и отдельных форм типа *oppå* и *oppe på* в *Esken står oppå gulvteppet?* *Esken står oppe på gulvteppet*, В. Кристенсен предположил, что разница состоит в том, что в первом случае не предполагается наличия некоей внешней точки отсчета местоположения (т. е. отражена только ориентация II, без локализации): приближенно к такому смыслу перевести эти фразы можно как «Коробка стоит на ковре» и «Коробка стоит наверху на ковре»⁶⁰. Это также свидетельствует о том, что в первом случае мы имеем дело с предлогом-наречием, приближающимся по функции к «чистому» предлогу, а во втором — с наречием плюс предлог, пусть это противопоставление пока лишь намечилось в языке.

Наименее четки критерии выделения такой части речи, как частицы. Создается впечатление, что в данную рубрику попадают все единицы, которые затруднительно отнести к какой-либо иной группе.

Начнем с того, что для норвежского будем различать лексическое и фонетическое слово. Написание в одно слово наречия и предлога, типа *borti*, связанное с тем, что они образуют одно фонетическое слово, еще ничего не говорит об их морфологическом слиянии.

Выше говорилось о переходном феномене между словоформой и морфемой — клитике. Клитики обычно хорошо отделимы, но самый общий их признак — наличие лишь одного ударения у клитического комплекса, при этом сама клитика не обязательно безударна. Важны и другие ее просодические свойства, для норвежского, в частности, — тонический акцент. Отметим, что в норвежском «между наречием, с одной стороны, и союзом и предлогом — с другой, обычно имеется разница в акцентуации, так что наречие имеет более сильное ударение, чем союз и предлог...»⁶¹.

Ю. А. Клейнер считает: «аАц. II возникает всякий раз, когда неопределенность морфологического членения позволяет допустить двусложность исходной формы данного слова, которая, таким образом, сближается с морфологически неделимой последовательностью слогов»⁶². В продолжение рассуждений можно сказать, что второй тон свойствен для приставочных слов, связывающихся в единый комплекс (слово), — такие словоформы обладают членимостью, но не отделимостью (это, например, отглагольные существительные типа *orrgang* «подъезд»); первый тон — для приставочных слов, у которых приставка и слово еще обладают отделимостью/членимостью; это как раз то, что у нас принято называть «глаголами с приглаголь-

ными частицами»⁶³, — или для тех, у которых они уже и не отделимы, и не членимы в обыденном сознании, а именно для чисто приставочных глаголов.

Напомним, что среди прочих семантико-грамматических классов слов клитиками обычно бывают пространственные модификаторы при глаголах (типа немецких и, как можно было убедиться, норвежских «отделяемых приставок»...) Для них характерны особые правила линейного расположения относительно друг друга, что верно и для норвежского языка.

Для глаголов с частицами следует различать следующие случаи:

1) с отделяемой частицей мы имеем дело, когда частица присоединяется лишь к форме причастия, а также в случаях, когда приставочный глагол лишь стилистически отличается от глагола с частицей (*innkreve* — *kreve inn* «затребовать», *utestenge* — *stenge ute* «изолировать»);

2) приглагольная частица-клитика — послелог — в случаях, когда наблюдается сдвиг значения (*gi opp* «отказаться», *sitte inne* (*med opplysninger*) «обладать» (информацией); причастия употребляются в таких случаях крайне редко);

3) частица — видовой модификатор образует глаголы со значением завершенности действия или полного охвата; исходное пространственное значение при этом оказывается полностью утраченным; параллельных форм с приставками не имеется. Эта функция у терминов пространственной локализации в норвежском языке находится в стадии формирования. Видимо, поэтому авторы норвежской академической грамматики⁶⁴ не видят разницы в значении фраз *Han drakk vinen* / *Han drakk opp vinen*, в то время как в первом случае речь идет о несовершенном, а во втором — о совершенном действии: *Он пил вино* / *Он выпил вино*.

Именно наличием параллельных форм с отделяемой частицей и с префиксацией, очевидно, можно объяснить наблюдающийся в норвежской лингвистической литературе разноречивый в том, что касается частеречного статуса подобных единиц, не обязательно терминов локализации — ср. рассуждения Хьелля Ивара Ваннебу о частеречном статусе слов, служащих обстоятельствами времени и причины, в публикации Норвежского совета по языку⁶⁵.

Будем считать префиксами лишь те из терминов локализации, что остаются таковыми во всех формах данного глагола, т. е. не обладают отделимостью; это как глаголы, имеющие лишь один вариант, — приставочный (*oppdage* «обнаружить»), так и глаголы из параллельно существующих глагольных пар — префиксальных и с отделяемыми частицами, принадлежащих различным функциональным стилям, в которых (парах) приставочные глаголы обычно имеют более абстрактное значение: *bortkaste* «отбрасывать» (но не *kaste bort* «выбрасывать»).

Итак, выступая в разных функциях, рассматриваемые термины и ведут себя по-разному с точки зрения и управления, и изменяемости,

и т. п. В тех случаях, когда при разных функциях терминов локализации их лексическое значение остается почти неизменным, можно говорить о грамматической омонимии этих терминов, возникшей в результате их конверсии как морфологического средства⁶⁶. Л. В. Малаховский называет такие случаи грамматической конверсии «гиперлексемами»⁶⁷.

Еще один возможный подход — воспользоваться одним из определений «слова»: «Слово как класс лексем, образующих словарную макроединицу, способную быть полисемичной» — «вокабула», и далее: «...может быть, понятие вокабулы следует расширить, включив также лексемы разных частей речи, но связанные словообразовательным приемом конверсии»⁶⁸; при последнем понимании *opp* в *oppøge* и в *høge opp* «прекратиться» — это одна вокабула; и только в этом смысле можно воспользоваться предложением Свейна Ли и называть все указанные термины локализации «словами»... Хотя вряд ли кто-нибудь всерьез считает уступительный союз «хотя» и деепричастие от глагола «хотеть» в русском языке одним словом (как бы его называть).

Мы все же придерживаемся более традиционной точки зрения и считаем, что можно предложить следующее решение проблемы. О словоформах («словах») можно говорить в двух случаях: 1) наречие — при сохранении лексического значения и отсутствии сдвига значения; 2) предлог — при наличии лишь грамматического значения, выражающего отношения между знаменательными словами в рамках категорий локализации и ориентации II. Противоположный случай — морфема (префикс) при полном отсутствии отделяемости. И наконец, промежуточная позиция — клитики (частицы): 1) отделяемая частица, при отсутствии сдвига значения; 2) приглагольная частица = послелог — при наличии сдвига значения; 3) частица — видовой модификатор.

Разумеется, вследствие расплывчатости самого понятия нельзя считать единственно верным и окончательным никакое распределение по частям речи; однако попытки найти возможно верное решение на основании знаний, доступных на данный момент, приближают нас к пониманию того, как функционируют языки (и функционирует Язык).

¹ Стеблин-Каменский М. И. Спорное в языкознании. Л., 1974. С. 147–157.

² Аракин В. Д. Норвежско-русский словарь. М., 1963.

³ В норвежско-немецком словаре (см.: *Hustad T. Stor norsk-tysk ordbok*. Oslo, 1991) приведены приблизительные эквиваленты, но дается пояснение, что обычно эти норвежские слова не переводятся; в норвежско-английском словаре (см.: *Kirkeby W. Norsk-engelsk ordbok*. Oslo, 1986) для *hen* дается перевод «away», который, однако, не используется в переводе примеров; для *henne* никакого эквивалента не предлагается.

⁴ В трактовке категорий локализации и ориентации мы следуем за И. А. Мельчуком (Курс общей морфологии. М.; Вена, 1998. Т. II. С. 53, 57–58). Особенности выражения локализации при глаголах описаны также в работах В. А. Плуниги

- «К типологии глагольной ориентации» и Т. А. Майсак, Е. В. Рахилиной «Семантика и статистика: глагол „идти“ на фоне других глаголов движения» (см.: Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999).
- ⁵ *Western Aug. Norsk Riksmåls-Grammatikk*. Kristiania, 1921. S. 375–386.
- ⁶ *Beito O. Nynorsk grammatikk*. Oslo, 1970. S. 309.
- ⁷ *Faarlund J. T., Lie S., Vannebo I. Norsk referansegrammatikk*. Oslo, 1997. S. 412.
- ⁸ *Стеблин-Каменский М. И.* Указ. соч. С. 34.
- ⁹ *Sigurd B. Analysis of Partricle Verbs for Automatic Translation // NJL 1*. S. 1995.
- ¹⁰ *Western Aug. Op. cit.* S. 375.
- ¹¹ *Beito O. Op. cit.* S. 146.
- ¹² *Faarlund J. T., Lie S., Vannebo I. Op. cit.*
- ¹³ *Ryen E., Golden A., Mac Donald K. Norsk som fremmedsprek: Grammatikk*. Oslo, 1990. S. 108.
- ¹⁴ *Western Aug. Op. cit.* S. 553.
- ¹⁵ *Kristensen V. Noen distinktive trekk ved lokaliserende preposisjonsfraser*. Norskkrift, 1985. P. 30.
- ¹⁶ *Стеблин-Каменский М. И.* Указ. соч. С. 59.
- ¹⁷ Там же. С. 20.
- ¹⁸ *Яхонтов С. Е. Понятийные категории, скрытые категории, таксономические категории // Типология. Грамматика. Семантика*. СПб., 1998. С. 138.
- ¹⁹ *Beito O. Op. cit.* S. 311.
- ²⁰ *Ibid.* S. 321.
- ²¹ *Ibid.* S. 309.
- ²² Сравнительная грамматика германских языков. М., 1996. Т. IV. С. 153.
- ²³ *Faarlund J. T. Reanalyse i diakron syntaks: fra preposisjon til verbalpartikkel i norsk // Материалы к докладу на заседании Копенгагенского лингвистического кружка в ноябре 1997 г.* 1997.
- ²⁴ *Western Aug. Op. cit.* S. 377.
- ²⁵ *Lie S. Inn i preposisjonsfrasen // Берковский сборник*. М., 1996. С. 185; *Id. Lokative og direktive uttrykk på norsk // MONS 7*. Oslo, 1998. S. 114–115.
- ²⁶ *Аллатов В. М. Структура грамматических единиц в современном японском языке*. М., 1979. С. 9–38.
- ²⁷ *Плунгян В. А. Общая морфология*. М., 2000. С. 21.
- ²⁸ Там же. С. 28.
- ²⁹ Там же. С. 30.
- ³⁰ *Стеблин-Каменский М. И.* Указ. соч. С. 32.
- ³¹ *Мельчук И. А. Курс общей морфологии*. М.; Вена, 1998. Т. II. С. 254.
- ³² *Касевич В. Б. Морфонология*. Л., 1986. С. 12.
- ³³ *Перцов Н. В. Грамматическое и обязательное в языке // Вопросы языкознания*. № 4. 1996. С. 39–61.
- ³⁴ *Плунгян В. А. Указ. соч.* С. 249.
- ³⁵ *Faarlund J. T. Op. cit.* S. 417–418.
- ³⁶ *Эйхбаум Г. Н. Теоретическая грамматика немецкого языка*. СПб., 1996. С. 58.
- ³⁷ *Стеблин-Каменский М. И.* Указ. соч. С. 32.
- ³⁸ *Плунгян В. А. Указ. соч.* С. 249.
- ³⁹ *Стеблин-Каменский М. И. Грамматика норвежского языка*. М.; Л., 1957. С. 23–24.
- ⁴⁰ *Мельчук И. А. Указ. соч.* С. 327.
- ⁴¹ Там же.
- ⁴² *Стеблин-Каменский М. И. Грамматика норвежского языка*. С. 143.
- ⁴³ Сравнительная грамматика германских языков. С. 123.
- ⁴⁴ *Мельчук И. А. Указ. соч.* С. 363–364.
- ⁴⁵ *Faarlund J. T., Lie S. Op. cit.* S. 412.

- ⁴⁶ *Стеблин-Каменский М. И.* Спорное в языкознании. С. 31.
- ⁴⁷ Мы считаем, что неправильно отказываться от различия форм страдательного причастия и супина. Обоснование такого мнения выходит за рамки этой статьи, но мы предполагаем вернуться к этому вопросу в дальнейшем.
- ⁴⁸ *Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. С. 152.
- ⁴⁹ *Kristensen V.* Op. cit. P. 41.
- ⁵⁰ *Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. С. 150.
- ⁵¹ Там же. С. 150–151.
- ⁵² *Faarlund J. T.* Morfologi. Oslo, 1995. S. 32.
- ⁵³ *Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. С. 150.
- ⁵⁴ *Veito O.* Op. cit. S. 321.
- ⁵⁵ *Майсак Т. А., Рахилина Е. В.* Семантика и статистика: глагол «идти» на фоне других глаголов движения // Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999. С. 53–66.
- ⁵⁶ Сравнительная грамматика германских языков. С. 85, 105–112.
- ⁵⁷ *Veito O.* Op. cit. S. 309.
- ⁵⁸ *Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. С. 152.
- ⁵⁹ Там же. С. 150–151.
- ⁶⁰ *Kristensen V.* Op. cit. P. 36.
- ⁶¹ *Veito O.* Op. cit. S. 309.
- ⁶² *Клейнер Ю. А.* Типы просодических и супraseгментных явлений: Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук. СПб., 2000.
- ⁶³ *Берков В. П.* Краткий очерк фонетики и грамматики норвежского языка // *Берков В. П.* Русско-норвежский словарь. Осло, 1994. С. 921.
- ⁶⁴ *Faarlund J. T., Lie S., Vannebo I.* Op. cit. S. 447.
- ⁶⁵ *Vannebo Kj. I.* Tid og årsak // *Språknytt.* 2000. 3. S. 23.
- ⁶⁶ *Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. М.; Вена, 2000. Т. III. С. 139–157.
- ⁶⁷ *Малаховский Л. В.* Теория лексической и грамматической омонимии. Л., 1990. С. 98.
- ⁶⁸ *Алпатов В. М., Вардоль И. Ф., Старостин С. А.* Грамматика японского языка. М., 2000. С. 13.



И. В. Матыцина (Москва)

ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

(по материалам Отчета государственной экспертной комиссии)

Среди более 6800 языков мира¹ шведский язык занимает примерно девяностое место по количеству говорящих на нем людей — на сегодня это около 9 млн жителей Швеции и часть населения Финляндии² (где шведский наряду с финским является государственным языком). Таким образом, ареал распространения шведского языка имеет достаточно четкие границы и остается почти неизменным на протяжении уже многих веков. Для сохранения и развития языка это является очень благоприятным фактором. Кроме того, в Швеции давно и планомерно ведется работа по изучению и нормированию языка, существует детально разработанный стандарт письменного языка, а также общепризнанная устная норма (хотя вариативность устной речи все же достаточно велика). Вопросы языка и языковой политики находятся в ведении специальных организаций, крупнейшими из которых являются Шведская Академия, Центр технической терминологии (TNC) и Комитет по шведскому языку (Svenska Språknämnden). Примером их деятельности могут служить издание Шведского Академического словаря — один из самых крупных проектов подобного рода в мире — и недавно вышедшая Академическая грамматика шведского языка, содержащая подробное описание всех уровней языка на основе самых современных лингвистических теорий.

Важным фактором жизненной силы и стабильности шведского языка является давняя и богатая литературная традиция, а также многочисленные диалекты — настоящая сокровищница национальной культуры³.

Однако в истории даже самых благополучных языков бывают сложные периоды, своего рода испытания на прочность, когда под влиянием изменений в обществе языковая ситуация изменяется настолько сильно, что языку приходится включать защитные механизмы (примером может служить влияние на шведский язык нижненемецкого в Средние века или французского во времена Просвещения).

На сегодняшний день выделяются две причины изменения языковой ситуации в Швеции:

1) укрепление международного статуса английского языка и, как следствие, значительный рост его популярности в Швеции;

2) превращение Швеции в полиэтническую страну, население которой говорит более чем на 200 языках; а также закрепление за пятью языками (саамским, финским — *meänkieli*, торнедало-финским — *tornedalsfinska*, цыганским — романы чиб, идиш) статуса языков национальных меньшинств.

В результате указанных изменений позиции шведского в определенных сферах жизни ослабли, и он оказался частично, а иногда даже полностью вытеснен английским языком. Правда, пока это можно считать исключением, хотя и весьма существенным: английский доминирует на международных форумах в рамках Европейского Союза (ЕС), в научном мире, в сфере образования, культуры (в частности музыки), является рабочим языком на многих крупных предприятиях (*koncernspråk*)⁴.

Сохранение данной тенденции, по мнению специалистов, может привести к следующим негативным результатам:

во-первых, замена шведского языка английским в различных сферах деятельности для многих шведов значительно осложнит процесс обучения или даже станет преградой на пути профессионального роста;

во-вторых, употребление английского языка в политике, крупном бизнесе и науке (особенно в новых, перспективных направлениях исследований) окончательно закрепит за ним статус языка-доминанты, более богатого и развитого, чем шведский;

в-третьих, вытеснение шведского языка английским в науке приведет к обеднению шведской терминологии и как результат сделает невозможным популяризацию научных идей и их распространение за пределы узкого круга специалистов, а также контроль общества за результатами исследований; в научных кругах отсутствие адекватной и функциональной шведской терминологии неизбежно приведет к тому, что обсуждение новых идей и направлений будет вестись только по-английски⁵.

Как результат в стране может возникнуть диглоссия. Причем английский язык будет языком политики, науки, культуры, шведский же превратится в домашний, «низкий» язык. А это в свою очередь приведет к усилению в обществе социальных различий и возникновению неравенства: практика показывает, что дети из более благополучных семей легче и быстрее обучаются иностранному (в данном случае английскому) языку, а значит, имеют больше шансов на успешную карьеру.

Ослабление позиций шведского языка нежелательно также с точки зрения общей языковой ситуации в мире: начавшись в отдельных сферах жизни и деятельности людей, процесс вытеснения одного

языка другим легко может стать необратимым и привести к полному исчезновению одного из языков⁶.

Вместе с тем необходимость укрепления статуса шведского языка несовместима с установлением его монополии и отрицанием роли английского языка в политике, науке, технике, производстве и других областях деятельности. Знание английского необходимо. Но лишь наряду с хорошим владением шведским языком и не в ущерб другим иностранным языкам, прежде всего немецкому, французскому, испанскому (в ЕС даже существует долгосрочный план, согласно которому каждый гражданин Европейского Союза должен наряду с родным языком овладеть еще двумя иностранными).

Понимая серьезность проблемы, шведское правительство еще в 1997 г. поручило Комитету (Svenska Språknämnden) создать программу поддержки шведского языка, а в 2000 г. по решению Риксдага для всестороннего изучения вопроса о дальнейшей судьбе шведского языка была создана парламентская комиссия. Результатом работы этой комиссии явился Отчет «Mål i Mun», содержащий предложения по дальнейшей работе в области языка и языковой политики.

Данный Отчет представляет собой двухтомное, более чем 600-страничное исследование, в котором содержатся анализ современной языковой ситуации в Швеции и предложения по ее изменению.

В Отчете подробно рассматривается роль шведского языка в сфере образования, политики и общественного самоуправления, на производстве, в торговле, в средствах массовой информации, в области культуры, здравоохранения и информационных технологий — т. е. в тех сферах деятельности, которые играют центральную роль в жизни каждого индивида и потому имеют особое значение для языковой ситуации в обществе.

Наиболее подробно авторы Отчета анализируют изменения, произошедшие в языке, обслуживающем деятельность образовательных учреждений и официально-деловых структур, после вступления Швеции в ЕС.

Образование

Средняя школа и гимназия

До недавнего времени в шведской школе наблюдалось абсолютное преобладание шведского языка. Однако в последние годы большой популярностью пользуется идея преподавания одного или нескольких предметов на иностранном, прежде всего английском, языке — SPRINT (språk — och innehållsintegrerad inläring).

Впервые эта модель была опробована еще в 70-е гг. XX в., но лишь теперь стала действительно массовой. В настоящее время по ней работают 4% средних школ и 23% гимназий, причем количество энтузиастов неуклонно растет. Сторонники данной модели видят в ней

эффективную альтернативу традиционной школьной программе, так как обучение иностранному языку в этом случае проходит в реальной, а не надуманной ситуации общения и поэтому является не только более увлекательным, но и более успешным.

Однако последние исследования⁷ показали, что модель SPRINT имеет целый ряд недостатков, среди которых наиболее серьезными являются:

- 1) снижение качества преподавания шведского языка;
- 2) поверхностное владение материалом по экспериментальным дисциплинам;
- 3) ослабление роли шведского языка в обществе.

В ситуации, когда английский язык шаг за шагом вытесняет шведский с его исконных позиций, SPRINT может сыграть роль катализатора, ускоряющего данный процесс⁸. И постепенно английский, перестав быть иностранным языком, изучаемым для общения с гражданами других государств, начнет употребляться в различных сферах жизни наравне со шведским⁹.

Исходя из всего сказанного, в Отчете делается вывод о политической и педагогической несостоятельности модели SPRINT, а в Приложении к Отчету подробно рассматриваются родственные данной модели системы обучения, указываются их сильные и слабые стороны. При этом особое внимание уделяется сопоставлению модели SPRINT и ее канадского прототипа — программы «Обучение с погружением» (*immersionsundervisning*), подготовившей условия для превращения французского языка в официальный язык провинции Квебек.

В 1960 г. в провинции Квебек была разработана и стала применяться программа изучения иностранных языков «с погружением». В то время в провинции доминировал английский язык, но дальновидные родители, учитывая специфику языковой ситуации в регионе, хотели, чтобы их дети свободно владели французским, который мог пригодиться им в будущем. Традиционные школьные уроки французского такого результата дать не могли, поэтому было принято решение о переходе на другую форму обучения: преподавание ряда дисциплин на французском языке.

Таким образом, обучение «с погружением» изначально было разработано для детей, по праву рождения принадлежащих к языковой и культурной элите и имеющих экономическую заинтересованность в расширении своего языкового диапазона путем изучения второго, более «слабого» языка.

Вот основные характеристики программы «Обучение с погружением»¹⁰:

- обучение происходит по желанию родителей и учеников, на добровольной основе;
- родной язык учеников имеет высокий статус (выше, чем статус изучаемого языка);
- родной язык является общим для всех учащихся;

- учитель понимает родной язык учащихся;
- изучаемый язык ни для кого из учеников не является родным;
- начиная изучать иностранный язык, учащиеся уже в достаточной степени владеют родным языком (умеют читать и писать, рассуждать на абстрактные темы и т. д.).

Перечисленные признаки характерны только для данной модели, не случайно из всех существующих моделей обучения иностранным языкам¹¹ именно она оказалась действительно эффективной. В остальных случаях результативность обучения (в процентном отношении к числу учащихся) бывает довольно низкой, что, по мнению специалистов¹², объясняется невыполнением большинства условий из приведенного выше списка: у детей, как правило, нет свободы выбора; учитель не понимает их родной язык и этот язык имеет низкий статус; в классе собраны дети, говорящие на разных языках, причем для некоторых школьников изучаемый язык является родным, и т. д. и т. п.

Что же касается программы SPRINT, то она отвечает практически всем указанным выше критериям. Кроме одного: того, в котором указывается, что изучаемый язык не должен иметь более высокого статуса, чем родной язык учащихся. Однако именно этот критерий является решающим с точки зрения долгосрочной языковой политики. При невыполнении данного условия обучение иностранному языку «с погружением» ведет к еще большему ослаблению позиций родного языка учащихся и, по мнению авторов Отчета, не может быть рекомендовано для широкого использования.

Школам и гимназиям предлагается вернуться к традиционной системе преподавания иностранного языка, которую, однако, следует усовершенствовать и адаптировать к новым условиям жизни, предъявляющим повышенные требования к уровню владения английским.

Высшее образование

По свидетельству экспертов¹³, высшее образование является сферой, в которой английский язык имеет наиболее прочные позиции, хотя частотность его употребления в рамках различных специальностей варьируется.

Особое распространение английский получил на медицинских, а также технических и естественных факультетах университетов, где он уже давно стал языком научного общения. Наименее употребителен английский в юриспруденции. При этом во всех университетах отмечается тенденция к увеличению роли английского языка на более высоких ступенях образования. Так, если при прохождении базового курса студенты сталкиваются лишь с англоязычной специальной литературой, то обучение в магистратуре предполагает участие в лекциях, семинарах, написании докладов, научных статей и диссертаций на английском языке. И хотя в соответствии с общими правилами допус-

кается написание диссертаций на шведском, датском, норвежском, английском, французском и немецком языках, в большинстве вузов английскому отдается предпочтение, причем не только *de facto*, но и *de jure*: «Докторская диссертация пишется по-английски; если же диссертант хочет выбрать другой язык, это должно быть отражено в его индивидуальном плане» (Справочник для аспирантов, факультет математики и естественных наук Лундского университета, 2000 г.). «Докторская диссертация пишется по-английски. Написание диссертации на каком-либо другом языке возможно только с разрешения декана» (Справочник для аспирантов, Королевский технологический институт — КТН, 1997) или еще категоричнее: «Диссертацию следует писать по-английски. Шведский язык допустим лишь в качестве исключения» (Справочник для аспирантов, Чалмерский технологический институт — Chalmers tekniska högskola, 1999).

Однако большинство опрошенных преподавателей и студентов высказались за возврат к обучению на шведском языке. Преподаватели считают занятия на иностранном языке менее эффективными: лектор и аудитория чувствуют себя скованно, и это отражается на глубине научных дискуссий и активности слушателей. В свою очередь студенты указывают, что предпочли бы читать специальную литературу также по-шведски, а не по-английски.

Еще одна проблема, возникающая в связи с доминантой английского языка в системе высшего образования, касается незнания студентами шведской терминологии и как следствие отсутствия у них навыков ведения научных дискуссий на родном языке.

Следовательно, хотя основным аргументом в пользу английского языка принято считать интернациональный характер современной науки — и английский действительно незаменим как язык-посредник при международных научных контактах, — он не может и не должен полностью заменить собой шведский. Именно поэтому в Отчете подчеркивается важность параллельного употребления двух языков в научной работе (в частности, докторские диссертации, написанные по-английски, должны иметь шведское резюме) и указывается на необходимость развития у студентов умения письменно и устно излагать свои мысли и научные взгляды по-шведски для различной аудитории — от специалистов до людей, не имеющих специального образования. Добиться этого, по мнению авторов Отчета, можно путем активного формирования навыков научной коммуникации (устной и письменной, активной и пассивной, причем последнее предполагает чтение научной литературы не только на шведском и английском, но и на французском и немецком языках), а также путем введения в правила защиты докторских диссертаций нового пункта, в соответствии с которым диссертант будет обязан публиковать результаты своего исследования в каком-либо из научно-популярных изданий. Ожидается, что эти, а также целый ряд других мер повысят статус шведского языка в науке и высшей школе. Однако для опреде-

ления дальнейшей политики в области высшего образования авторы Отчета рекомендуют провести всестороннее изучение результатов активного использования английского языка в вузах.

Политика и местное самоуправление

Вступив в ЕС, Швеция стала частью огромной межгосударственной структуры, в которой четко выделяются несколько доминирующих языков — прежде всего английский и французский, — которые легко могут вытеснить шведский язык с его позиций, если шведским политикам и чиновникам придется активно пользоваться на работе английским или каким-либо другим языком.

Анкетирование политиков разного уровня¹⁴, однако, показало, что пока такой проблемы не существует, поскольку деятели высокого ранга (члены правительства, депутаты риксдага) при международных контактах всегда пользуются услугами переводчиков, а чиновники муниципального уровня в основном работают с населением, и потому им редко приходится использовать какой-либо другой язык, кроме родного.

Несмотря на это, авторы Отчета считают необходимым сосредоточить основное внимание на укреплении статуса шведского языка как официального и рабочего языка ЕС и предлагают принять целый ряд мер для решения этой задачи.

В частности, статус официального языка означает:

1) все правовые документы, действие которых распространяется на Швецию, должны быть переведены на шведский язык;

2) в Интернете должны иметься шведскоязычные сайты с информацией о деятельности всех основных органов ЕС;

3) совещания депутатов и иных политических деятелей должны сопровождаться переводом со шведского и на шведский язык;

4) шведскоязычные граждане Европейского Союза имеют право обратиться в любой орган ЕС по-шведски и требовать ответа на том же языке;

5) органы и институты Европейского Союза обязаны пользоваться шведским языком при контактах со шведскоязычными гражданами ЕС.

В качестве рабочего языка шведский язык должен:

1) употребляться в ЕС наравне с другими рабочими языками, сопоставимыми с ним по значимости (например, датским, финским, греческим и португальским);

2) активно использоваться на мероприятиях в качестве языка, с которого осуществляется перевод (прямой и обратный), а когда такой возможности нет, шведским представителям должно быть как минимум обеспечено право высказывать свои мысли по-шведски;

3) в случае, когда невозможно обеспечить каждому выступающему право говорить на своем родном языке, следует прибегать к так

называемому «правилу двух (или трех) языков» (т. е. ограничиться английским и французским или английским, французским и немецким языками)¹⁵;

4) вся документация и переписка должны вестись по-шведски, исключения возможны лишь тогда, когда употребление английского и французского традиционно считается обязательным; любые попытки распространить эту практику на новые виды документов следует решительно пресекать.

Помимо мер по укреплению статуса шведского языка на международной арене в Отчете содержатся предложения более частного характера, касающиеся деятельности общественных и политических организаций внутри страны. В частности, указывается, что шведские организации и службы должны иметь шведские названия (ср. Invest, Stockholm Environment Institute, Stockholm International Peace Research (SIPRI) и т. д.) и адрес на шведском языке в Интернете (у Королевского двора и канцелярии премьер-министра есть только английский адрес); по-шведски должны быть написаны все указатели и вывески в общественных местах (при необходимости с добавлением на английском или официальном языке какого-либо из национальных меньшинств).

Столь пристальное внимание к языку, обслуживающему сферу политики и общественной жизни, в Швеции объясняется давними демократическими традициями, требующими, чтобы власть говорила с гражданами на понятном языке¹⁶.

Ясный и четкий стиль официально-делового общения способствует укреплению демократии и правовых основ государства, экономит время и деньги граждан, укрепляет их доверие к властям, облегчает и делает более эффективной работу чиновников.

Радикальные изменения в официально-деловом языке произошли во второй половине 60-х гг. Они начались с редактирования законов, которые в Швеции при составлении документов традиционно принимаются за образец. За этим последовало учреждение в 1976 г. при канцелярии премьер-министра должности эксперта по языку и целый ряд других мер, направленных на регламентацию и совершенствование делового языка. Однако, по данным социологических опросов, большинство шведов считают речи политиков трудными для восприятия и выступают за дальнейшее упрощение казенного стиля¹⁷.

Языковая ситуация еще более осложнилась в 1995 г. со вступлением Швеции в ЕС, когда в страну хлынул поток переводных документов (свыше 200 000 страниц в год). Их содержание и оформление сильно отличаются от принятых в Швеции норм, поскольку большинство этих текстов пишется в соответствии с иной — континентальной — традицией и переводится на шведский за пределами страны, как правило в Брюсселе, Люксембурге или Страсбурге. Язык этих документов исследователи называют «еззовско-шведским» (EU-svenska) и видят в нем угрозу существующей в Швеции норме

официально-делового языка¹⁸. В доказательство приводятся следующие факты:

— наличие в текстах и документах грамматических и стилистических ошибок и неточностей;

— сильное влияние английского языка на язык и стиль данных документов, что при нынешней языковой ситуации является нежелательным;

— запутанность и тяжеловесность синтаксических конструкций, затемняющих смысл документов.

Последний пункт требует особого разъяснения. Дело в том, что документы Евросоюза обычно составлены из длинных предложений, которые переводчикам приходится сохранять, чтобы как можно точнее передать структуру оригинала. Особенно это касается так называемого «правила точки» (punktregel), которое действует при переводе различных правовых актов и означает, что каждому предложению оригинала должно соответствовать одно и только одно предложение перевода, и следовательно, делить длинную фразу на несколько более коротких нельзя.

Отличается от шведского и способ подачи материала: в Евросоюзе придерживаются континентальной традиции оформления юридических документов, согласно которой тексты подобного рода адресуются узкому кругу специалистов и не предназначены для прочтения широкой общественностью, как это принято в Скандинавии.

Нельзя также не учитывать целый ряд субъективных факторов, в частности таких, как авторство оригинальных текстов: многие из них — результат коллективного труда, и тяжеловесность их стиля, а также недостаточная логическая стройность композиции являются отражением длительных переговоров и взаимных компромиссов, предшествующих написанию документа. К тому же среди авторов оригинальных текстов немало людей, для которых английский и французский языки не являются родными; а переводчики в свою очередь не всегда владеют специальной терминологией.

Указанные факторы могут, по мнению специалистов, отрицательно сказаться на языковой ситуации в Швеции и свести на «нет» работу последних десятилетий по упрощению и облегчению стиля деловой документации.

Для противодействия этим негативным тенденциям авторы Отчета предлагают осуществить целый ряд мер, направленных на улучшение качества документов, поступающих из ЕС. Среди них на первом месте стоит активное участие представителей Швеции в работе по совершенствованию стиля и формы переводимых документов; в частности, речь идет о смягчении «правила точки», из-за которого в переводе возникают громоздкие, синтаксически сложные конструкции. При этом отмечается необходимость сокращения длины предложений в исходных текстах с последующим постепенным изменением ныне существующего порядка цитирования и редактирования правовых документов¹⁹.

Важное значение имеют также подготовка квалифицированных шведских переводчиков и создание необходимых условий для их работы. Очевидно, что без знания собственно шведских реалий и вне языкового окружения трудно добиться высокого качества переводов и избежать многих фактических и стилистических ошибок.

По мнению авторов Отчета, улучшить стиль переводимых текстов, одновременно увеличив эффективность работы органов ЕС, можно за счет предоставления всем чиновникам права работать на родном — а не только английском и французском — языке. Решение данной задачи невозможно без принятия мер по укреплению статуса «малых» языков, что в конечном итоге ведет к укреплению демократии и равенства между народами.

* * *

Наряду с вопросом о роли шведского языка в науке, образовании и политике в Отчете рассматривается языковая ситуация в других областях деятельности человека: торговле, маркетинге, средствах массовой информации, здравоохранении и др., а также предлагаются конкретные меры по укреплению статуса шведского языка в обществе, в частности:

- увеличение количества шведских теле- и радиопрограмм;
- пропаганда чтения и оказание помощи библиотекам, обществам книголюбов, книжным магазинам и т. п.;
- увеличение доли шведских книг и шведских фильмов в общем объеме печатной и кинопродукции;
- повышение качества шведских субтитров в кино и на телевидении;
- разработка специальной научной, технической и политической терминологии на шведском языке;
- повышение требований к языку рекламы;
- усиление контроля за наличием шведскоязычных инструкций, аннотаций и этикеток на всех товарах, продающихся на территории Швеции;
- повышение интереса к изучению наряду с английским других иностранных языков;
- введение углубленного изучения шведского языка в гимназиях, повышение требований к уровню владения языком при поступлении в вузы;
- создание и пропаганда шведскоязычных обучающих компьютерных программ;
- введение требования об обязательном знании шведского языка для врачей из ЕС, работающих на территории Швеции; использование шведского языка при заполнении медицинских карт, и т. д. и т. п.

Одновременно в Отчете постоянно подчеркивается важность внимательного и чуткого отношения ко всем языкам, диалектам и социо-

лектам, существование которых во многом определяет специфику языковой ситуации в современной Швеции.

В целом, можно сказать, что выводы и предложения, содержащиеся в Отчете, отражают интересы большинства шведских граждан. Это подтверждают результаты социологических опросов, которые свидетельствуют о том, что шведы понимают существующую проблему²⁰ и признают важность укрепления статуса шведского языка как основного средства коммуникации; многие из опрошенных также отмечают, что язык является необходимым фактором самосознания каждой личности в отдельности и общества в целом. «Jag är mer Eva på svenska än jag är på något annat språk», — говорит одна из информанток, а другой опрошенный, поэт и рок-музыкант, добавляет: «Att säga eller sjunga Jag älskar dig istället för I love you baby — det är stor skillnad»²¹.

¹ Ethnologue: Languages of the world. Dallas, 2000.

² Шведский язык имеет также распространение в Эстонии, где сохранилось шведскоговорящее меньшинство, среди шведских эмигрантов в США и в некоторых других странах.

³ *Teleman U.* Det svenska rikssprakets utsikter i ett integrerat Europa // *Språkvård.* 1992. 4. S. 7–16.

⁴ См. об этом в работах: *Teleman U.* Det nordiska samarbetet // *Språk i Norden.* Oslo; Stockholm; Köpenhamn, 1989. S. 14–32; *Det svenska rikssprakets utsikter i ett integrerat Europa // Språkvård.* 1992. 4. S. 7–16; *Hyltenstam K.* Svenskan, ett minoritetsspråk i Europa — och i världen? // *Svenskans beskrivning 21. Förhandlingar vid tjugoförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 11–12 maj 1995.* Lund, 1996. S. 9–33; *Hyltenstam K.* Svenskan I minoritetsspråksperspektiv // *Sveriges sju inhemska språk — ett minoritetsspråksperspektiv.* Lund, 1999. S. 205–240; *Melander B.* De små språken i den europeiska gemenskapen // *Språk och Stil* 7 1997. S. 91–113; *Swedish, English and the European Union // Managing Multilingualism in a European Nation-State.* Clevedon m. fl., 2001. S. 13–31.

⁵ Преимущество шведских терминов по сравнению с английскими состоит в том, что они образуются от шведских основ и потому понятнее широкой аудитории (ср. *farthållare* и *cruise control*); кроме того, их грамматическое оформление лучше соответствует шведской традиции (ср. *gränssnitt* и *interface*).

⁶ Отмечая тенденцию к исчезновению многих языков, некоторые исследователи (см., например: *Hyltenstam K.* Svenskan I minoritetsspråksperspektiv. S. 208–210) предполагают, что к концу нынешнего столетия из более чем 6000 языков в мире останется лишь несколько сотен.

⁷ *Hyltenstam K.* Engelskundervisning i Sverige // *Mål i Mun. Bilaga 3.* S. 45–71.

⁸ «Engelskan stiger efterhand in på språkanvändningsdomäner där svenska får träda tillbaka. Det är just SPRINTs roll som en direkt injektion för sådana processer som oroar». (*Hyltenstam K.* Engelskundervisning i Sverige // *Mål i Mun. Bilaga 3.* S. 46).

⁹ Некоторые исследователи даже утверждают, что этот процесс уже завершился в Скандинавии и в большей или меньшей степени затронул все неанглоязычные страны Европы (*Phillipson R.* Linguistic Imperialism. Oxford, 1992. S. 5; *Graddol D.* The decline of the native speaker. 1999. S. 64).

¹⁰ *Genesee F.* Learning through Two Languages. Cambridge, 1987.

¹¹ Эксперты выделяют четыре типа моделей обучения детей на иностранном языке: 1) обучение детей в колониальных и постколониальных государствах (на англий-

- ском, французском, испанском и португальском языках); 2) обучение представителей национальных меньшинств (на английском в Уэльсе, на французском в Бретани и др.); 3) обучение детей иммигрантов; 4) обучение «с погружением».
- ¹² *Baker C.* Foundations of bilingual Education and bilingualism. Clevedon, 1993. S. 193–207.
- ¹³ *Falk M.* Domänförändringar i Svenskan, Utredningsuppdrag från Nordiska ministerrådets språkpolitiska referensgrupp. 2001.
- ¹⁴ *Ibid.* S. 67–69.
- ¹⁵ Данный пункт является отголоском существующей в ЕС практики использования на совещаниях пяти-шести рабочих языков, что, по мнению авторов Отчета, несправедливо по отношению к остальным языкам. Напротив, английский, французский и немецкий уже давно и прочно занимают в Европейском Сообществе особое место, и оспаривать этот факт было бы бессмысленно.
- ¹⁶ Кроме того, общеизвестно, что «для всякого развивающегося литературного языка» характерна «тенденция к обновлению на базе живой речи» (*Стеблин-Каменский М. И.* // Спорное в языкознании. Л., 1974. С. 85).
- ¹⁷ В программном документе Центрального объединения профсоюзов Швеции (LO), в частности, отмечается: «Раньше власть имущие говорили на латинском, французском или немецком языке, чтобы подчеркнуть свое привилегированное положение, свое превосходство в знаниях и уме. Так же и сегодня мы едва можем понять язык, на котором говорят чиновники и политики» (*Kampen och tanken.* 2000).
- ¹⁸ *Edgren H.* Hot och verklighet. Om EU-svenskan som hotbild // Svenskan som EU-sprek. Uppsala, S. 77–99; *Melander B.* Svenska tjänstemäns åsikter om EU-texter // Svenskans beskrivning tjugofyra, Linköping den 22–23 oktober 1999, utg. 2001. S. 1.
- ¹⁹ В настоящее время в ЕС действуют правила, по которым докладчик просто ссылается на определенное предложение, слово или знак в том или ином абзаце.
- ²⁰ Хотя оценивают ее информанты по-разному, в зависимости от возраста (молодежь воспринимает доминанту английского языка более позитивно, чем люди старшего поколения) и профессиональной принадлежности (лингвисты оценивают языковую ситуацию более оптимистично, чем неспециалисты, а сотрудники крупных фирм и научные работники чаще остальных одобрительно высказываются по поводу параллельного использования английского и шведского языков).
- ²¹ «Я больше Ева, когда говорю по-шведски, чем тогда, когда говорю на другом языке». «Сказать или спеть „Я люблю тебя“ и „I love you baby“ — большая разница».



И. М. Михайлова (Санкт-Петербург)

О СУДЬБЕ ОДНОЙ НИДЕРЛАНДСКОЙ БАЛЛАДЫ

Из всех жанров древнескандинавской литературы, привлекавших внимание М. И. Стеблин-Каменского (эддическая поэзия, поэзия скальдов, саги, баллады, римы), в средневековой нидерландской литературе представлены только баллады. Да и то корпус нидерландских баллад, записанных, как, впрочем, и скандинавские, преимущественно в эпоху романтизма, т. е. в XIX в., по объему уступает корпусу скандинавских баллад. Что же касается русских переводов тех и других, то здесь нидерландские баллады проигрывают скандинавским безнадежно. Если с последними русский читатель может познакомиться по насчитывающему 270 страниц томуку из серии «Литературные памятники»¹ с подробными комментариями и послесловием М. И. Стеблин-Каменского, то с нидерландского языка на русский, насколько нам известно, баллады до сих пор не переводились². Их практически никогда не исследовали отечественные нидерландисты³. При этом не вызывает ни малейшего сомнения, что нидерландские баллады — весьма важное литературное явление: во-первых, сами по себе с историко-литературной и эстетической точек зрения, во-вторых, как источник вдохновения голландских и бельгийских авторов нового времени, находивших в средневековой литературе родной страны ответы на мучившие их вопросы. Предметом рассмотрения в настоящей статье станет баллада о господине Халеvine («Lied van Heer Halewijn»), датируемая на основе текстологического анализа XII в.⁴, к которой авторы XIX–XX вв. обращались особенно часто. Хотя нидерландская и скандинавская баллады и не родные, а двоюродные сестры, нам представляется интересным и плодотворным попытаться найти в балладе о Халеvine те признаки жанра, которые подробно описаны М. И. Стеблин-Каменским в применении к скандинавским балладам, чтобы на конкретном примере выявить черты сходства и различия между первыми и вторыми. Другая цель данной статьи —

проследить дальнейшую судьбу сюжета «Песни о Халевине» в близкие нам эпохи.

Приведем подстрочный перевод текста баллады⁵:

О господине Халевине

- 1 Господин Халевин пел песенку.
Все, кто ее слышал, хотели быть близ него.
И ее услышала королевское дитя,
Которое было таким красивым и любимым.
- 5 Она пошла к своему отцу:
«Отец, можно я пойду к Халевину?»
«Нет, дочка, нет, нельзя!
Кто к нему идет, тот не возвращается».
- 10 Она пошла к своей матери:
«Матушка, можно я пойду к Халевину?»
«Нет, дочка, нет, нельзя,
Кто к нему идет, тот не возвращается».
- 15 Она пошла к своей сестре:
«Сестра, можно я пойду к Халевину?»
«Нет, сестра, нет, нельзя,
Кто к нему идет, тот не возвращается».
- 20 Она пошла к своему брату:
«Брат, можно я пойду к Халевину?»
«Мне все равно, куда ты пойдешь,
Если только сохранишь честь
И будешь носить корону, как подобает».
- 25 Тогда она пошла в свою комнату
И надела самые красивые одежды.
Что она надела на тело?
Рубашку, нежнее шелка.
- 30 Что она надела на свой красивый корсет?
От золотых колец он был твердым.
Что она нашла на красное платье?
От стежка к стежку по золотой пуговице.
- 35 Что она нашла на накидку?
От стежка к стежку по жемчужине.
Что она надела на прекрасные светлые волосы?
Корону из золота, она была тяжелая.
- Она пошла в отцовскую конюшню
И выбрала самого лучшего коня.
Она села на коня верхом.
Распевая и звеня, она поехала через лес.

- Когда она доехала до середины леса,
Ее встретил господин Халевин.
- 40 Он привязал свою лошадь к дереву,
Девушка была полна страха и робости.
«Приветствую тебя, — сказал он, — прекрасная дева!
Приветствую, — сказал он, — карие чистые глаза!
Давай, присядь рядом со мной, распусти свои волосы!»
- 45 Сколько волосинок она распустила,
Столько слез выкатилось из ее глаз.
Они вместе поехали дальше
И по дороге о многом говорили.
- 50 Они приехали на поле, уставленное виселицами,
На них висело много женщин.
И тут он ей сказал:
«Поскольку ты самая красивая девушка,
Выбирай свою смерть! Уже пора!»
«Что ж, если выбирать,
55 То выбираю меч!
- Но сначала сними верхнюю одежду,
Потому что девичья кровь разбрызгивается во все
стороны,
Если она тебя запачкает, мне будет жалко».
- 60 Прежде, чем одежда была снята,
Голова его уже лежала у его ног,
Его язык говорил такие слова:
«Пойди туда в пшеницу,
Подуй там в мой рог,
Чтобы все мои друзья это услышали!»
- 65 «В пшеницу я не пойду,
В твой рог дуть я не буду,
Совета убийцы я не стану выполнять!»
«Пойди туда под виселицу
И возьми баночку с мазью
70 И намажь мне на красную шею!»
«Под виселицу я не пойду,
Твою красную шею мазать я не буду,
Совета убийцы я не стану выполнять!»
- 75 Она взяла голову за волосы
И вымыла ее в чистом источнике.
Она села на коня верхом.
Распевая и звеня, она ехала через лес.
Когда она была на полпути,
Появилась мать Халевина:
80 «Красавица, ты не видела моего сына?»

- «Твой сын, господин Халевин, отправился на охоту.
Ты его больше не увидишь никогда в жизни.
Твой сын, господин Халевин, мертв.
Его голова у меня на коленях.
85 От крови мой подол красен».
- Подъехав к отцовским воротам,
Она протрубила в рог, как мужчина.
И когда ее отец это услышал,
Он обрадовался, что она вернулась.
- 90 Там был устроен пир,
Голова была поставлена на стол.

По классификации *сюжетов*, приводимой М. И. Стеблин-Каменским в его статьях о скандинавской балладе, эту балладу можно отнести сразу к двум группам: к сказочным и к рыцарским. К сказочным («баллады, сюжеты которых восходят к волшебным сказкам», — с. 237⁶) — потому, что она строится на двух основных сказочных мотивах: завораживание с помощью музыки (ср. Крысолов из Гаммельна, Орфей, ряд норвежских баллад) и, главное, сюжет Синей бороды, легко возводимый к сюжету о похищении царевны змеем, который В. Я. Пропп считает исходным для всех волшебных сказок вообще⁷. Кроме того, волшебный рог и волшебная мазь — также классические сказочные атрибуты. Хотя мотив головы, поставленной на пиршественный стол, восходит, скорее всего, к ветхозаветному сюжету о Юдифи и Олоферне, говорить о религиозной подоплеке данной баллады, которая позволила бы отнести ее к группе «легендарных» (с. 230–231), нет ни малейших оснований. То, что главная героиня баллады — королевская дочь, а обитающий в лесу злодей настойчиво именуется «господином», т. е. рыцарем, дает возможность считать данную балладу одновременно и «рыцарской» (с. 237–238).

С точки зрения *структуры и композиции* к нашей балладе применима подавляющая часть тех характеристик, которые приводит М. И. Стеблин-Каменский: «Существенная черта рыцарских баллад (и в большей или меньшей степени других) — это драматичность. Действие в балладе, как правило, развивается стремительно, скачками, от одной вершинной сцены к другой, без связующих пояснений, без вводных характеристик. Речи персонажей чередуются с повествовательными строками. Число сцен и персонажей сведено к минимуму. (...) Описания, рассуждения и оценки совершенно отсутствуют. (...) Баллады драматичны и в том смысле, что очень часто они кончаются драматической развязкой — смертью героя или героини, или обоих, или еще кого-нибудь» (с. 238–239). Все эти признаки столь явно присутствуют в рассматриваемом тексте, что дополнительных комментариев не требуется.

Эффект скачкообразности, составляющей очарование средневековых баллад, возникает из-за явной несоразмерности их частей: так, современному читателю слишком «затянутым» представляется описание при-

готовления королевской дочери к поездке в лес — 30 строк из 91(!), в то время как не менее важное событие — ее триумфальное возвращение и пиршество — описано всего в 6 строках. Такая длинная завязка, являющаяся одновременно и экспозицией (о том, как опасен Халевин, мы узнаем из реплик родственников принцессы), служит для нагнетания атмосферы страха: тщательность, с какой принцесса наряжается, говорит о ее готовности к любому исходу. Растянуть же завязку позволяет использование в ней того, что М. И. Стеблин-Каменский называет «балладными перепевами», т. е. описанием повторяющихся из баллады в балладу ситуаций приблизительно в одних и тех же выражениях (с. 225–226). Достаточно сравнить эпизод «отпрашивания» у родственников в рассматриваемой балладе с аналогичным эпизодом в нидерландской балладе «О двух королевских детях».

Что касается *стилистики* (или «балладной фразеологии», с. 224–226), характеризующейся, в частности, использованием постоянных эпитетов (девушка «красивая», волосы «светлые», глаза «ясные», источник «чистый») и многочисленностью повторов и параллелизмов (см. диалог между принцессой и ее домочадцами, эпизод одевания принцессы, ее ответы голове Халевина, езда по лесу в строках 36–37 и 76–77), то здесь наша баллада также оказывается близка к скандинавским канонам.

Но в одном отношении баллада о Халевине обнаруживает, на фоне общего сходства со скандинавскими, удивительное своеобразие, а именно в отношении *стихотворной техники*. Сразу же отметим, что в популярных изданиях нидерландских баллад не приводятся столь характерные для скандинавских баллад припевы (с. 220–221), однако это, как представляется, элемент более внешний, чем *строфика* и *рифмовка*.

В целом нидерландские баллады, как и скандинавские (с. 220–222), могут состоять либо из двухстрочных строф с парной рифмой (как в большей своей части наша баллада), либо из четырехстрочных строф с рифмующимися четными строками (как уже упоминавшаяся баллада «О двух королевских детях»). Подробнее остановимся, естественно, на первом типе. Точно так, как описывает М. И. Стеблин-Каменский, «в двухстрочном размере две строки связаны конечными рифмами, мужскими или женскими, и в каждой строке есть четыре ударных слога, т. е. слога, несущих метрическое ударение, тогда как количество безударных слогов и их распределение в строке различны» (с. 220). В качестве примера варьирования числа безударных слогов в строке приведем третью строфу, где первая строка содержит всего четыре безударных слога, а вторая — шесть:

5 Zy ging voor haren vader staen:
«Och vader, mag ik naer Halewyn gaen?»

Рифма в нидерландских балладах, как и в скандинавских, ассонансная, например в строках 24–25: *lyve — zijde*. Точные рифмы,

как в строках 51–53: *kleed — breed — leed'* — это частный случай ассонансной рифмы. Для современного уха, привыкшего к точной рифмовке, очень странными кажутся строфы, где женские клаузулы рифмуются с мужскими (62–64): *galge — zalve — hals*. Хотя это, несомненно, тоже частный случай ассонансной рифмы, обращающей внимание только на ударный гласный и ни на что более, таких примеров даже в наиболее архаичной нидерландской литературе крайне мало. М. И. Стеблин-Каменский в связи со скандинавской балладой о них также не упоминает.

Строки 51–53 и 62–64 могут одновременно служить и примером того, что нам представляется главным своеобразием нашей баллады: а именно появление в ней наряду с двухстрочными строфами трехстрочных (в русском сборнике скандинавских баллад таких случаев нам не встретилось). Это говорит, видимо, о том, что двоячная структура воспринималась исполнителем баллады не как формообразующий элемент, а как просто-напросто самый легкий вариант рифмовки; если же на язык попадалось еще одно созвучное слово, то и оно шло в ход. В этой лишней строке можно увидеть также воспоминание о моноримах, которые исторически в европейском стихосложении, а также типологически предшествовали возникновению парной рифмы⁸. Кроме того, поскольку баллада предназначена для пения, возникает вопрос, не создавали ли эти случайные лишние строки перебоа в исполнении. Напрашивается предположение, что и мелодия была примитивно-короткой, длиной в одну строку, так что ее легко можно было повторить лишний раз.

Таким образом, баллада о господине Халевине в плане сюжета, композиции, стиля, ритмики и рифмовки обнаруживает очень большое сходство с описанными М. И. Стеблин-Каменским скандинавскими балладами. Те немногие отличия, которые выявляются в ходе сопоставления, говорят о большей архаичности рассматриваемого текста по сравнению со «средней» скандинавской балладой.

В. В. Опис в «Истории нидерландской литературы» говорит о возникновении «настоящей традиции Халевейна» в западноевропейских литературах примерно того же времени, о появлении его двойников в немецкой («Герт Ольберг»), французской («Рено, убийца женщин»), скандинавской («Ульвер») и английской («Эльф, рыцарь сэра Джона») литературе, причем нидерландский вариант считает оригинальным, возникшим независимо от инациональных версий⁹. В. М. Жирмунский, рассказывая об «архаических по своему содержанию скандинавских балладах», содержащих элементы фольклорной фантастики и народных суеверий, упоминает сюжет «о рыцаре, заманивающим девушек своей волшебной песнью в лес, где их ожидает смерть от его руки»¹⁰. В связи с этим он называет балладу «Уллинггер».

В литературе нового времени нам известно четыре переработки этого сюжета: две бельгийские (новелла Шарля де Костера 1857 г.¹¹ и пьеса Антона ван де Велде 1929 г.) и две голландские (стихотвор-

ная драма Мартинуса Нейхофа 1933 г.¹² и опера Виллема Пейпера по либретто Эмми ван Локхорст тоже 1933 г.). Из этих четырех переработок остановимся на двух, принадлежащих перу наиболее знаменитых авторов.

Уже сам факт, что такие авторы, как Шарль де Костер (1827–1879) и Мартинус Нейхофф (1894–1953), оба обратились к одному и тому же сюжету, весьма примечателен. Потому что в нидерландской (в широком смысле) литературе трудно найти другую пару писателей, одинаково талантливых и честных, но при этом настолько различных между собой: живших в разные века в двух разных странах и писавших на разных языках, один из которых знаменит в нашей стране, а второй известен лишь узкому кругу ценителей поэзии¹³. Совершенно различной были также *историческая и литературная ситуации*, в которых жили и работали Костер и Нейхофф, — не только в смысле различия между господствовавшими в европейской литературе середины XIX в. романтизмом и реализмом, с одной стороны, и декадентскими и модернистскими течениями первой трети XX в. — с другой, но и в смысле степени сформированности национальной литературы как таковой в интересующих нас странах. Бельгия сравнительно недавно, в 1830 г., пережила революцию, в результате которой в этой двуязычной стране как никогда остро встал национальный и языковой вопрос, так что главная цель, стоявшая перед Костером, — создание новой национальной литературы, пропагандирующей фламандские культурные ценности, но использующей французский язык, понятный и фламандцам, и валлонам, и многим иностранным читателям. В Голландии же последняя революция была три с лишним века назад, национальный вопрос для самой Голландии не входил в число актуальных, после взлета голландской поэзии и прозы в 80-е гг. XIX в., о котором восторженно писала даже русская периодика того времени¹⁴, факт существования голландской литературы не вызывал сомнений. В момент обращения к сюжету «Песни о Халевине» совершенно различным было *место в литературе и душевное состояние* Костера и Нейхофа. Первый был еще никому не известным начинающим литератором (его «Брабантские рассказы» выйдут в 1861 г., а знаменитая «Легенда об Уленшпигеле» — в 1867 г.), недавно окончившим университет и полным юношеского задора. «Моя книга останется для меня воспоминанием о моей молодости, моих иллюзиях, восторгах и вере в будущее», — писал он о «Фламандских легендах»¹⁵. Второй был уже прославленным поэтом, мастером, достигшим, по признанию критики, совершенства на избранном им пути — создании изысканных стихов об одиночестве и страхе, о Пьеро и трубадурах, о спинетах, лампаонах и маркизах в напудренных париках. В начале 30-х гг. XX в. он испытывал глубокий творческий кризис, зайдя в тупик на этом пути и мечтая покинуть свою башню из слоновой кости. В поисках новых источников жизненной силы «я переехал в другой город, — писал Ней-

хоф, — где... на каждом углу меня не ждали воспоминания, я вселился в квартиру в рабочем районе, где покрасил стены в белый цвет...»¹⁶ Здесь, в Утрехте, тридцатишестилетний поэт поступает в 1932 г. в университет и становится студентом по специальности «Голландский язык и литература», несомненно, подразумевавшей знакомство со средневековыми памятниками. Однако к мысли использовать сюжет средневековой баллады Нейхоф в отличие от Костера пришел не сам: он писал свою пьесу о Халевине *по заказу* амстердамского Вагнеровского общества. Первая, журнальная публикация «Халевина» Нейхофа сопровождалась примечанием: «Поэма написана по заказу Вагнеровского Общества в Амстердаме, принадлежащего, вместе с Корпорациями наших университетов, к тем немногим объединениям, которые осознают, что в наше время разъедающего индивидуализма художники нуждаются в инициативе извне...»¹⁷ Такое осуждение индивидуализма в 1933 г., лично для Нейхофа, несомненно, своевременное и выстраданное, для нас, знающих о последующих событиях в Европе в то десятилетие, звучит мрачновато уже из-за ассоциаций, связанных с именем немецкого композитора, которое носило амстердамское музыкальное общество. Отметим сразу, что для Нейхофа обращение к отечественной средневековой литературе никак не имело шовинистического оттенка, зато дало известный толчок к выходу из кризиса.

Костер, напротив, начав сочинять «Фламандские легенды» под влиянием собственного патриотического порыва, повсюду искал для обработки подходящие средневековые сюжеты: «Мне не хватало одной легенды, чтобы мой сборник стал настоящим сборником. И вот я нашел эту легенду... Поздравь меня, ее сюжет прекрасен! Достаточно хорошо обработать лишь этот сюжет, чтобы создать себе имя. Он не издан и основан на фламандской народной балладе. Завтра я ее переведу, а в понедельник сажусь за легенду, я влюблен в нее!» — писал он своей возлюбленной¹⁸.

При чтении текстов Костера и Нейхофа становится ясным, что они пользовались двумя разными вариантами баллады, различающимися в трех строфах: вариант, использованный Костером, короче, в нем отсутствуют строки 40—41, 44—46, так что получается, что Халевин и принцесса вообще не спешивались, а, повстречавшись, сразу поскакали на поле с виселицами¹⁹. Соответственно и в легенде Костера акцент делается на том, что злодею требовались сердца именно девственниц. Нейхоф, наверняка знакомый с обоими вариантами баллады, выбрал, конечно, тот, который включает эротический эпизод в строках 45—46. Впрочем, Нейхоф сохраняет в соответствующем эпизоде своей пьесы ту же недосказанность, что присутствует и в оригинальной балладе. Для него Халевин — это воплощение магии звуков, соблазняющей и роковой, но не оскорбляющей.

Примечательно, что в одном и том же сюжете двух мастеров слова привлекли совершенно разные элементы и прочитали они две со-

вершено разные истории. Для «воинствующего гуманиста и демократа, сторонника национально-освободительных движений»²⁰ Шарля де Костера главное в балладе о Халевине — это праведная победа, одержанная чистой девушкой над злодеем-насильником. Для Мартинауса Нейхофа, мучимого, с одной стороны, томлением по сверхреальному, с другой — сознанием своей неспособности жить «как все», в балладе важны не события, а исходная ситуация (строки 1–2), констатирующая стремление любого человека приблизиться к источнику чарующего пения. Не случайно в своей прозаической повести 1926 г. «Перо на бумаге» рекомендации, как и что надо писать, он вложил в уста Крысолова из Гаммельна.

Если вспомнить замечание М. И. Стеблин-Каменского о том, что в средневековой балладе «число сцен и персонажей сведено к минимуму (...); описания, рассуждения и оценки совершенно отсутствуют» (с. 238), то становится ясным, какой путь уготован авторам, разрабатывающим балладный сюжет. Действительно, и Костер, и Нейхоф увеличивают количество действующих лиц, добавляют всяческие описания и характеристики, используют вставные эпизоды: легенда Костера насчитывает 74 страницы, пьеса Нейхофа — 30 страниц.

У Костера больше всего места занимает история Халевина, которого он не только представляет жалким уродом, готовым продаться дьяволу, но также наделяет социальными чертами, рассказывая родословную этого жестокого феодала. Если в оригинальной балладе фигурирует одно только имя — самого Халевина, то у Костера имена имеют все действующие лица. Значительное место уделено изображению бытовых сцен в доме Халевина и в доме отважной Махтельт. Из добавленных в густую ткань повествования персонажей особенно важны два. Во-первых, романтически-фольклорный каменный человек, Повелитель камней, давший Халевину его волшебную песню и серебряный серп, чтобы вырезать сердца у девственниц, чья кровь способна наделять тщедушного злодея силой и красотой. Этот же Повелитель определяет в конце легенды проклятие каменному сердцу злодея. Во-вторых, юная Анна-Ми (имя, навеянное другой старинной балладой), служанка и наперсница Махтельт, поддавшаяся пению Халевина и потому погибшая. Введение в действие Анны-Ми позволяет автору обойти стороной тот сомнительный сюжетный поворот древней баллады, который как раз и привлек Нейхофа: в костеровской легенде Махтельт идет к Халевину не под влиянием его чар, а с сознательным намерением отомстить за подругу и за брата — для революционного сознания Костера значительно более достойная мотивация.

Вставные эпизоды позволяют будущему создателю «Легенды об Уленшигеле» затронуть в легенде о Халевине практически любую волнующую его тему. Так, одна из убитых впоследствии девственниц рассказывает, что ей пришлось бежать из Брюгге: «Священник хотел отправить меня на костер за то, что на шее у меня

коричневое пятнышко, величиною с горошину. Он говорит: это знак того, что я вступила в плотскую связь с дьяволом. А я его никогда и не видела...»²¹ Поистине мастерское вплетение антиклерикального мотива — словно это цитата из «Легенды об Уленшпигеле» — в сюжет языческой по духу баллады.

Хоть пьеса Нейхофа и не так густо населена, как легенда Костера, действующих лиц в ней все же больше, чем в балладе. Как и в балладе, ни у кого, кроме Халевина, нет имен; принцесса названа в соответствии с 3-й строкой баллады «Королевским дитя», — это важно для Нейхофа, потому что в его поэтической системе образ ребенка, в отличие от взрослых неиспорченного и обладающего природной мудростью, занимает едва ли не центральное место. Кроме конюха, у которого королевская дочь берет коня, в действие введен, как в античной драме, хор («Голоса»), а также двойники главных персонажей: Голос Халевина и Голос Королевского дитя. Двойники живут своей собственной жизнью: разговаривают друг с другом еще до того, как Королевское дитя отправляется в лес, по несколько раз проигрывают происходящие между главными героями диалоги и обнимаются, когда голова уже отрублена. Эти голоса, в сочетании с Голосами хора, знающими обо всех событиях наперед и постоянно шушукующимися, создают эффект лесного многоголосья (большинство сцен происходит в лесу), почти птичьего гомона, первичного по отношению к действиям явившихся в лес людей. Подобное раздвоение, при котором духовная часть человека самостоятельна и знает больше, чем его телесная часть, описано в упоминавшемся выше «Пере на бумаге». Разумеется, в конце пьесы, когда отрубленная голова уже стоит на столе, Халевин (с ремаркой: «невидимый») продолжает петь ту же песню о своем одиночестве, что и в начале.

Так же как и Костер, Нейхоф вышивает по канве балладного сюжета всеми темами и образами, которые его в то время волнуют. Если описанные выше темы — завораживания звуками, мудрого и сильного дитя, самостоятельно поющих голосов, а также образ винтовой лестницы в башне, где наряжается принцесса, — либо органичны, либо уже присутствуют в оригинальной балладе, то другие темы и образы, регулярно встречающиеся в поэзии Нейхофа и служащие для него «переключателями» в метафизический план, — море, ветер, оса/пчела, нерожденное дитя — несколько искусственно, но при этом весьма искусно вставлены просто-напросто в разговоры действующих лиц.

В пьесе Нейхофа все очень красиво: не только сама принцесса и одежда обоих главных героев (о чем говорится в балладе), но и пронизанный солнечными лучами лес, и скакун принцессы, и рассказанная Халевином притча о юноше-дереве и девушке-рыбе, и отношения между главными героями (особенно их голосами). Поля с виселицами нет вовсе, и даже голову Халевину принцесса отрубает не на глазах у зрителя, а в оружейном погребе. На фоне такого акцента на красивое в пьесе эстета Нейхофа становятся особенно

заметны те уродства и жестокости, которые выделил в балладе и усугубил, призывая бороться с ними, романтик и реалист Костер.

Таким образом, мы увидели, что средненидерландской «Песне о Халевине» присущи практически все жанровые черты баллады, описанные М. И. Стеблин-Каменским на скандинавском материале. При сравнении двух относительно поздних обработок этой баллады выяснилось, что оба автора использовали изначальный сюжет лишь частично: фактически каждый из них выбрал для себя свою половину, а другую половину обоим пришлось немного сгладить. Точно так же один из авторов воспринял и развил изящные грани баллады, а второй — жестокие и мужественные. Но и для Костера, и для Нейхофа обращение к древнему тексту оказалось плодотворным, так как приблизило обоих к созданию их шедевров — «Легенды об Уленшпигеле» и «Аватера», работая над которыми они оба также отталкивались от средневековых текстов.

Приложение

Хейр Халевин

- 1 Хейр Халевин песни распевал,
К себе красавиц зазывал.

И услышала песни эти
Принцесса, краше всех на свете.
 - 5 Она пошла к отцу тотчас
«Позвольте в лес сходить хоть раз?»

«Нет, дочка, к лесу не ходи,
Оттуда нет назад пути».
 - 10 И к матушке пошла спроситься
«Позвольте в лес мне прокатиться?»

«Ты к лесу, дочка, не ходи,
Оттуда нет назад пути».
 - 15 «Ты к Халевину не ходи,
Оттуда нет назад пути».
 - 20 Она предстала перед братом:
«Позволь пройтись перед закатом!»

«Хоть к черту на рога ступай,
Но честь семьи не запятнай
И в грязь корону не роняй».
- Она пошла к себе в светлицу,
Чтобы получше нарядиться.

- 25 Что на себя она надела?
Рубашку шелкову на тело.
А что повесила на пояс?
Из золота широкий пояс.
А платье красное с каймой?
Расшила нитью золотой.
- 30 Но чем украсила накидку?
Нашила жемчуга на нитке.
А что на кудрях засияло?
Ее корона золотая.
- 35 Затем у конюха отцова
Взяла коня она гнедого.
И на коне верхом принцесса
Скакала с пением по лесу.
Проехав лес до середины,
Вдруг повстречала Халевина.
- 40 Коня к стволу он привязал.
Тут страх принцессу обуял.
«Приветствую в моем лесу
Как гостью девицу-красу,
Сядь, расплети свою косу».
- 45 Принцесса косу расплела,
Принцесса слезы пролила.
А дальше ехали вдвоем,
Беседуя о том-о сем.
- 50 На поле, лесом окруженном,
Висят на виселицах жены.
Здесь Халевин сказал сердито:
«Ты хороша и родовита,
Скажи, как хочешь быть убита».
- 55 «Что ж, если можно выбирать,
Смерть от меча хочу принять.
Но скинь свой вышитый кафтан,
Девичья кровь бьет, как фонтан,
Жаль твой нарядный пачкать стан».
- 60 Стал он снимать кафтан едва —
К ногам скатилась голова,
И обагрилася трава.
Язык его заговорил:
«Найди во ржи мой рог, — просил,
И протруби, что станет сил!»
- 65 «По ржи не буду я гулять,
Твой рог не буду я искать,
Убийцы просьбу выполнять!»

- «Под виселицей погляди,
И с мазью баночку найди,
70 Намажь мне шею впереди!»
- «Не буду мази я искать,
Не буду шею врачевать,
Убийцы просьбу выполнять!»
- Вот, голову держа в руке,
75 Ее помыла в ручейке.
- И на коне верхом принцесса
Скакала с пением по лесу.
Проехав лес до середины,
Мать повстречала Халевина.
80 «Ты моего видала ль сына?»
- «Хейр Халевин уж на охоте.
Он не нуждается в заботе.
А голова его мертва,
В лесу проухала сова,
85 Красны от крови рукава».
- Подъехав к замку точно в срок,
Принцесса протрубила в рог.
И счастлив был король-отец,
Что дочь вернулась наконец.
- 90 Поставил голову на стол,
И долго пир победный шел.

(Перевод И. Михайловой)

¹ Скандинавская баллада / Подг. Г. В. Воронкова, Игн. Ивановский, М. И. Стеблин-Каменский. Л., 1978; *Стеблин-Каменский М. И.* Баллада в Скандинавии // Скандинавская баллада. Л., 1978. С. 211–243.

² Единственный известный нам русский перевод всего одной средненидерландской баллады (Галевин: Фламандская народная песня / Дополнение // *Костер Ш. де.* Фламандские легенды. М., 1975. С. 227–230) выполнен через французский язык-посредник и содержит неточности.

³ Относительно подробно — на полутора страницах, правда с неточностями, нидерландские баллады описаны только в одной русской книге: *Ошис В. В.* История нидерландской литературы. М., 1983. С. 37–38.

⁴ Там же. С. 37.

⁵ Перевод выполнен по изданию: Van Heer Halewuy // *Knuvelder G. P. M.* Bloemlezing Nederlandse letterkunde. 's Hertogenbosch, 1969. P. 57–60

⁶ Здесь и далее при многократном цитировании статьи М. И. Стеблин-Каменского номера страниц будут ставиться прямо в тексте. При этом мы используем следующее издание: *Стеблин-Каменский М. И.* Баллада в Скандинавии // Скандинавская баллада. С. 211–243.

⁷ *Пропл В. Я.* Морфология волшебной сказки. М., 2001. С. 107.

⁸ *Гаспаров М. Л.* Очерк истории европейского стиха. М., 1989. С. 115.

⁹ *Ошис В. В.* Указ. соч. С. 37.

- ¹⁰ Жирмунский В. М. Глава 14. Лирика // Алексеев М. П. и др. История зарубежной литературы — Средние века. Возрождение. Изд. 3-е. М., 1978. С. 172.
- ¹¹ Русский перевод: Костер Ш. де. Сир Галевин // Костер Ш. де. Фламандские легенды. М., 1975. С. 56–129.
- ¹² Nijhoff M. Heer Halewijn. Een gedicht in negen tableaux // Nijhoff M. De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poezie. Amsterdam, 1994. P. 109–141.
- ¹³ Восторженный отзыв об «Аватере» Нейхофа см. в кн.: Бродский И. А. Как читать книгу // Бродский И. А. Письмо Горацию. М., 1998. С. 13. Три обширные публикации переводов из Нейхофа, в том числе поэм «Аватер» и «Время Ч», а также прозаических сочинений «Перо на бумаге» и «О собственном творчестве», см. в журнале «Звезда»; с 1999 г. в Петербурге ежегодно проводятся «Нейхофовские чтения» с участием русских и голландских поэтов и литературоведов.
- ¹⁴ См., например, анонимный обзор «Голландские юмористы» // Вестн. иностр. лит. 1896. № 2. С. 213–214; а также: Половцева Е. Н. Предисловие к публикации: Фредерик ван Эден. Маленький Йоганнес // Вестн. Европы. 1897. № 10. С. 550.
- ¹⁵ Цит. по: Черневич М. Н. Шарль де Костер и его «Фламандские легенды» // Костер Ш. де. Фламандские легенды. М., 1975. С. 257.
- ¹⁶ Nijhoff M. Over eigen werk // Nijhoff M. De pen op papier. P. 262.
- ¹⁷ Цит. по: van den Akker W., Dorleijn G. Aantekeningen // Nijhoff M. De pen op papier. P. 276.
- ¹⁸ Цит. по: Черневич М. Н. Указ. соч. С. 265.
- ¹⁹ См. издание этого, возможно, более архаичного варианта баллады: Lied van Heer Halewijn // Lodewick H. J. M. F. Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Eerste deel. 's Hertogenbosch, 1969. P. 44–46.
- ²⁰ Так его характеризует З. Т. Гражданская (История зарубежной литературы XX века. М., 1989. С. 116).
- ²¹ Костер Ш. де. Указ. соч. С. 83.



А. В. Савицкая (Санкт-Петербург)

МОДНАЯ ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА

В разные периоды жизни языкового коллектива определенный набор лексики становится «модным», т. е. отличается высокой частотностью употребления. Сам термин «модная лексика» появляется в шведском языкознании уже в начале XX в., однако привлекать более пристальное внимание исследователей и термин, и обозначаемая им лексика начинают с 1970-х гг. В 1970 г. появляется сборник статей, посвященных шведским модным словам¹, в котором дается одно из первых развернутых определений данной лексической группы. Его автор, У. Панелиус в качестве главной отличительной черты модных лексических единиц выделяет их быстрое распространение в языке, как правило на относительно недолгий период². Впоследствии исследователями был выделен еще ряд характерных признаков модной лексики, однако, говорить о том, что термин обрел строгое универсальное определение, было бы, пожалуй, преждевременным. Так, Л.-Г. Андерссон в качестве неперменной составляющей определения, помимо «временного фактора» и высокой частотности употребления, выделяет наличие тех или иных семантических изменений³. Новый лексико-семантический вариант у ставшего модным слова или выражения может возникнуть как за счет сужения или расширения значения, так и в результате метафорического переноса. Заметим, что в целом ряде случаев толчком к подобным изменениям является на сегодняшний день прямое влияние английского языка (*arkitekt* < *architect*, *koncept* < *concept*, *hög profil* < *high profile*). Л. Мелин, проанализировав модную лексику за 1970–1992 гг., пришел к выводу, что наиболее типичное модное слово — это метафора, к тому же имеющая в языке ряд синонимов⁴. Актуальность последнего уточнения со всей наглядностью иллюстрирует пример К. Грюнбаум с одним из лидеров современной модной лексики — с глаголом *fokusera*. Оказавшись на переднем крае моды, этот глагол обрел в языке 15 синонимов (*uppmärksamma*, *inrikta sig på*, *fästa blicken på*, *sätta ljuset på*, *låta ljuset*

falla på, sätta i belysning, ha i blickfånget, sätta i centrum, göra till medelpunkt, koncentrera sig på, rikta intresset mot, lägga tyngdpunkten på, fästa sig vid, hålla fram, lyfta fram), которые он, в силу своего модного статуса, с успехом и заменяет⁵.

Модную лексику нередко соотносят со сленгом. Думается, однако, что правы те исследователи, кто видит ряд существенных различий между этими лексическими пластами. Ведь сленг — это все же в первую очередь молодежная лексика, а модные слова используются представителями разных поколений, в силу чего они имеют как отличную от сленга тематическую направленность, так и иную сферу применения. Тем не менее сленг и модная лексика обнаруживают и ряд общих черт. Аналогично сленгу модная лексика со временем утрачивает свою актуальность и вызывает определенное раздражение у самих носителей языка. Думается, что взаимоотношение сленга и модной лексики очень удачно отразил Л.-Г. Андерссон, кратко охарактеризовавший модную лексику как «*fint folks slang*» «сленг светских людей»⁶.

Сложность определения термина «модная лексика», вероятно, объясняется тем, что эта группа очень разнообразна по своему составу, и далеко не всегда можно с уверенностью сказать, чем именно обусловлено попадание в нее той или иной лексической единицы. Так, исследовавший 148 модных слов Л. Мелин обнаружил, что только 39 из них стали модными, начав обозначать какие-то новые понятия. Остальные же ранее имели в языке общепринятые синонимы⁷. Почему же слова становятся модными? Л.-Г. Андерссон выделяет две модели распространения лексики в языке, образно определяя их как «модель воровства яблок» и «модель заболевания гриппом». Он отмечает, что процесс воровства яблок происходит осознанно, в случае если мы видим в нем нечто привлекательное, в то время как гриппом мы заражаемся непроизвольно⁸. Действительно, часть новой для нас в каком-то отношении лексики мы, стремясь идти в ногу со временем, сознательно включаем в свою речь, в то время как другая ее часть проникает туда, помимо нашего желания, благодаря, прежде всего, средствам массовой информации и рекламе.

Вместе с тем во многих случаях попадание лексики в разряд «модной» может объясняться определенными экстралингвистическими или лингвистическими факторами. Среди первых могут быть выделены следующие факторы:

1. Актуализация тех или иных проблем в жизни шведского общества. Так, забота об экологии, повышенное внимание к собственному здоровью и здоровому образу жизни или развитие информационно-технических средств в разное время создавали благоприятную основу для появления в языке множества модных слов. Списки модных слов оказывают неоценимую услугу человеку, интересующемуся страноведением. По перечню слов, приведенному в уже упомянутом сборнике 1970 г., легко определить, что среди проблем, занимавших

умы шведов в конце 60-х гг. были, например, охрана окружающей среды, употребление наркотиков или дискриминация по половому признаку. В данном контексте представляется важным заметить, что в перечне присутствуют как сами «ключевые» слова (*miljö* 'окружающая среда', *knapk* 'наркотики', *könsroll* 'роль полов'), так и целые ряды производных, совершенно «прозрачных» по своей семантике. Когда же среди модной лексики фиксируется значительное количество производных сложных слов, семантика которых затемнена, следует «скорее» говорить о том, что исходное слово уже превратилось в некую модную добавку, а значит, с момента актуализации проблемы прошло уже какое-то время. Это наглядно иллюстрируют многочисленные композиты с компонентом *miljö-*, появившиеся в 70-е гг.

2. Вызвавшие большой резонанс международные события. Вызывающие всеобщее внимание события также часто влекут за собой либо актуализацию определенной, уже имеющейся в языке лексики, сопровождающуюся возникновением новых лексико-семантических вариантов, либо появление новых лексических единиц, тут же делающихся модными. Так, в результате произошедшей в Советском Союзе перестройки в шведском языке появилось новое заимствование из русского, которое на рубеже 80–90-х гг. стало использоваться на страницах шведской прессы уже применительно к местным проблемам. В 1990 г. газета «Экспрессен» (04.03) писала: «I 60 år har svenska planerare sysslat med att dela in staden i separata, väl kontrollerbara zoner. Tiden är mogen för en perestrojka i stadsplanering. 'В течение 60 лет шведские планировщики занимались тем, что делили город на отдельные, легко контролируемые зоны. Сейчас в городском планировании назрела необходимость перестройки'». Потрясшая всю Швецию катастрофа парома «Эстония» перевела в категорию модной лексики технический термин *bogvisir* 'носовой визир', так как, согласно официальной версии, именно неплотно закрытый носовой визир послужил причиной катастрофы. На страницах газет середины 90-х гг. появилось выражение «ехать с открытым носовым визиром» (*köra med öppet bogvisir*), означающее: оказаться в зоне риска. Заметим также, что подобная лексика по мере удаления события во времени обычно утрачивает свою актуальность, а следовательно, как раз и отвечает одному из критериев определения модной лексики — высокой частотности употребления в какой-то ограниченный промежуток времени. И именно для модной лексики такого происхождения этот временной промежуток установить бывает легче всего.

3. Высказывания ведущих политиков и крупных общественных деятелей. Свой вклад в создание модной лексики, безусловно, вносят ведущие политики, крупные общественные деятели и другие популярные личности, чьи высказывания часто цитируются средствами массовой информации. Ярчайшим представителем «творцов» русской модной лексики может, вероятно, быть назван В. С. Черномырдин. Свои «творцы» существуют и в Швеции. В 1991 г. во время

предвыборной кампании лидеры партии «Новая Демократия» использовали слоган *drag under galoscherna*, имея в виду, что Швеции необходимо интенсифицировать экономику и другие сферы общественной жизни. Новая партия тогда прямо ворвалась в шведский парламент, а выражение сразу же попало в разряд модных. В 1995 г. занимавшая тогда пост вице-премьера правительства Швеции Мона Салин заявила о том, что после выдвинутых в ее адрес обвинений в незаконном использовании государственных средств ей необходим «тайм-аут» (*time out*). М. Салин воспользовалась спортивным термином в его переносном значении: «небольшой перерыв в деятельности», и именно в этом значении слово сразу же получило широкое распространение.

Пограничное место между экстралингвистическими и чисто лингвистическими факторами занимает, вероятно, сильнейшее американское влияние, которое испытывает сегодняшняя Швеция. Английский язык все больше проникает в различные сферы деятельности, от политики, экономики и науки до попкультуры. Однако влияние английского языка проявляется не только в моде на употребление английских слов вместо шведских или на уже отмеченное ранее активное использование семантических заимствований. Калькируемые английские выражения, становясь модными, довольно часто дают толчок к созданию новых шведских оборотов с аналогичной метафорой. Например, заимствованное в 70-х гг. выражение: *få kalla fötter* < *get cold feet* «испугаться, смалодушничать по какой-то причине», став широко употребительным, побудило шведов к созданию целого спектра аналогичных выражений с противоположным значением: *ha varmt/bra/bättre/mycket/mer/ordentligt/torrt/torrare på fötterna*.

Влияние английского языка сказывается в ряде случаев и в создании модной лексики по традиционным для шведского языка словообразовательным моделям, т. е. под непосредственным воздействием лингвистического фактора. В обзоре новой лексики за 1998 г. Л. Муберг говорит, в частности, о моде на словообразовательный суффикс *-ism* (*islamism*, *IT-ism*, *budskapism*), возникшей, по ее мнению, как следствие появления несколькими годами раньше структурно-семантических заимствований типа: *ålderism* < *ageism*, *favoritism* < *favo[u]ritism*⁹. Другим примером такой модной тенденции, обычно связываемой с английским влиянием, может служить участвовавшее в последние десятилетия употребление глаголов с «излишними» поствербями. Сама по себе такая модель сложного глагола типична для шведского языка, но в последнее время к глаголам начинают добавлять постверб *upp*, не оказывающий, по мнению лингвистов, никакого влияния на семантику исходного глагола: *starta upp*, *örna upp*, *svara upp mot kraven*.

Судьба модной лексики складывается по-разному. Некоторые лексические единицы находятся в этой группе относительно недолго. В то же время целый ряд слов длительное время продолжают оста-

ваться высокочастотными в силу особенностей шведского словообразования, где наиболее продуктивным способом создания новой лексики является основосложение. Если оказавшееся по тем или иным причинам модным слово начинает широко эксплуатироваться в основосложении, то оно надолго становится неотъемлемой частью активного словарного состава. В 1990 г. в шведском языке фиксируется появление нового существительного *frossa* со значением «изобилие, пиршество», образованного от глагола *frossa* «жадно есть, объедаться» по аналогии с уже существовавшим ранее омонимом со значением «лихорадка». И уже на протяжении 90-х гг. в языке появляется целый ряд композитов с таким вторым компонентом: *faktafrossa*, *filmfrossa*, *fruktfrossa*, *pizzafrossa*, *räkfrossa*, *tulpanfrossa*, *åkfrossa*.

Одной из предпосылок попадания слова в разряд модных, как уже было отмечено, является модификация его семантики. В случае же, когда слово становится высоко продуктивным компонентом композита, его семантика, как правило, подвергается дальнейшим изменениям, нередко ведущим к частичной или полной делексистализации. Характерно, что некоторые вторые компоненты композитов, выделенные как особо высокочастотные в списке модных слов 1970 г. (-*riktig*, -*vänlig*), в 1981 г. У. Турелль уже, по сути дела, рассматривает как полуаффиксы¹⁰. На современном материале этот процесс удачно иллюстрирует пример Л.-Г. Андерссона со словом *faktor*¹¹. Его первоначальное значение 'множитель, коэффициент' было использовано при создании композита *solskyddsfaktor* 'степень защиты от солнца', который в свою очередь положил начало целой серии модных в 90-х гг. композитов — «согипонимов»: *hippfaktor*, *kultfaktor*, *kändisfaktor*, *käckhetsfaktor*, *nördfaktor*, *trendfaktor* osv. В большинстве случаев второй компонент такого композита является лишь некой модной добавкой к первому, ничего не прибавляя к его значению. Отметим также, что Л.-Г. Андерссон говорит о том, что к 2000 г. компонент -*faktor* утрачивает свою притягательность, хотя он и не исключает новой активизации данной модели. В то же время в вышедшем в 2000 г. «Словаре новых слов»¹² второй компонент -*faktor* выделяется в отдельную словарную статью и снабжается пометой, свидетельствующей о повышенной частотности употребления, а также большим количеством примеров.

Среди модных на сегодняшний день вторых компонентов композитов обращает на себя внимание компонент -*kramare*. Дело в том, что такого самостоятельного слова в шведском языке не существует. В 1987 г. среди появившихся за этот год неологизмов регистрируется сложное существительное *tradkramare* 'обнимающий дерево'. Его возникновение связано с акциями движения «зеленых», направленными на защиту лесов от вырубки. Тогда люди действительно стояли, обхватив руками деревья. Данный композит был образован по модели, сочетающей в себе основосложение и аффиксацию, поскольку его второй компонент — это производное от глагола *krama* 'обни-

мать'. Однако этот окказиональный композит положил начало целому ряду композитов — «согипонимов»: *bilkramare*, *brokramare*, *kärnkraftskramare*, *ordkramare*, *sjukhuskramare*, *skattekramare*, *Kohlkramare*. Здесь мы видим, что возникшее как второй компонент композита слово с достаточно «прозрачным» прямым значением приобретает переносное значение 'защитник, сторонник' и способствует созданию модной лексики. Упомянутый выше «Словарь новых слов» уже включает второй компонент *-kramare* как отдельное заголовочное слово, снабжая его комментарием о высокой частотности употребления и отсылками к приведенным выше композитам.

В качестве первых компонентов композитов модные слова особенно часто используются в рекламе, в названиях товаров и различных фирм. Значение слова при этом несущественно, а главным является его модный статус, привлекающий внимание потенциального клиента. Так, чрезвычайная популярность слова *miljö* 'окружающая среда' способствовала появлению в Швеции конца 60-х гг. универсамов, называющих себя *miljövaruhus*, и загадочных рождественских подарков *miljöklappar* вместо классических *julklappar*¹³. В начале 90-х гг. Б. Сигурд отмечает особую популярность компонента *Euro* (*Euroways*, *Europolitan*, *Europost*)¹⁴, что явно объясняется возникновением интереса к созданию ЕС.

Аналогичные тенденции, особенно в названиях различных фирм, легко проследить и на отечественной почве. Однако, в силу особенностей русского языка, роль словосложения в создании модной лексики для рекламы далеко не столь велика. Ее авторы значительно чаще просто транслитерируют модную на данный момент иностранную лексику. В результате, например, на смену популярным в свое время «шопам» приходят многочисленные «бутики», а в зрительных залах появляются «эсклюзивные места».

Хотелось бы также отметить, что одна из главных особенностей модной лексики — ее высокая частотность употребления — во многих случаях создает определенные проблемы при переводе. Человеку, работающему в области устного перевода, необходимо уделять такой лексике особое внимание, поскольку быстрый подбор удачных русских эквивалентов здесь далеко не всегда возможен. Наиболее легко это сделать, естественно, в тех случаях, когда мы имеем дело с семантическими заимствованиями из английского. Они, правда обычно несколько позже, часто появляются и в русском языке. Например, у нас уже есть «архитекторы» внешней политики, «концепты» экономических реформ, «пилотные проекты», разного рода «ниши» и даже «альтернативная» энергетика. Интересно, что некоторые выражения, выходящие в шведском языке на передний край моды, в русском языке уже давно являются неотъемлемой частью фразеологии. Мы, например, раньше научились «поднимать планку» (*höja ribban*) и «загонять друг друга и самих себя в угол» (*måla in sig i ett hörn*). Если шведы только в последнее время начали активно

издавать и посылать разного рода «сигналы» (få/sända ut signaler), то нам некоторые виды «сигналов» хорошо знакомы по недавнему прошлому. В то же время, мы хоть и можем «фокусировать внимание на проблемах», но пока еще не научились «фокусировать вопросы или проблематику» (fokusera en viss fråga), видеть «фокус в романах» (ett slags fokus i romanen) и достигать полностью «сфокусированного» состояния (att vara totalt fokuserad). А в результате, чрезмерная популярность глагола fokusera может вызвать проблемы при переводе, не говоря уже о модной лексике, более тесно «привязанной» к шведским реалиям.

Модная лексика всегда вызывала и будет вызывать к себе неоднозначное отношение. Она может раздражать, ее можно не принимать, с ней можно мириться, ей можно симпатизировать, но игнорировать факт ее существования в языке нельзя. Широкое распространение модной лексики и высокая частотность ее употребления, пусть и в ограниченный период времени, делает ее, безусловно, заслуживающей внимания исследователей. А исследователь-иностранец, изучая модную лексику, может к тому же извлечь для себя много полезной страноведческой информации.

¹ Svenska modeord. Red. av O. Panelius och T. Steinby. Lund; Gleerups, 1970.

² Panelius O. Modeorden // Svenska modeord. Lund; Gleerups, 1970. S. 7.

³ Andersson L.-G. Vi säger så. Norstedts Ordbok. 2000. S. 196.

⁴ Melin L. Modeord under tjugo år // Språkvård. 1993. № 2. S. 9.

⁵ Grünbaum C. I sällskap med språket. Stockholm, 2000. S. 89.

⁶ Цит. по: Melin L. Op. cit. S. 9.

⁷ Melin L. Op. cit. S. 14.

⁸ Andersson L.-G. Op. cit. S. 21.

⁹ Moberg L. Nya ord och uttryck under 1998 // Språkvård. 1999. № 1. S. 24.

¹⁰ Thorell O. Svensk ordbildningslära. Stockholm, 1981. S. 15.

¹¹ Andersson L.-G. Op. cit. S. 196–198.

¹² Nyordsboken. Svenska språknämnden och Norstedts Ordbok. 2000.

¹³ Grünbaum C. Ordet miljö — i olika miljöer // Språkvårdsstudier / Red. av B. Molde. Stockholm, 1974. S. 153.

¹⁴ Sigurd B. Att tillverka varumärken // Språkvård. 1993. № 3. S. 11.



О. А. Смирницкая (Москва)

NOMINA DICENDI В НАЗВАНИЯХ ЭДДИЧЕСКИХ ПЕСНЕЙ

Специалисты по эддической поэзии обычно придают основополагающее значение классификации ее жанров. Можно, однако, видеть известный парадокс филологического знания в том, что, на каких бы научных позициях ни стояли авторы тех или иных работ по эддическим жанрам, они, как общее правило, не проявляют интереса к обозначениям отдельных разновидностей песней, которые содержатся в самих их названиях¹. Современным ученым, судя по всему, представляется не столь существенным, что имели в виду древние исландцы, обозначая одни песни как *kviða*, а другие — как *ljóð* или *þula*. В энциклопедической статье К. Ширы (где за основу берется классическая классификация жанров А. Хойслера) указывается, правда, что *kviða* — это древнее обозначение эпико-драматических песней (*doppelseitige Ereignislieder*, по Хойслеру), подтверждение чему мы находим, например, в такой образцовой (и, как обычно считается, одной из наиболее архаичных в «Эдде») эпико-драматической песни, как *Atlakviða*². При этом, однако, остается в тени тот факт, что другая героическая песнь, в жанровом отношении наиболее близкая к *Atlakviða*, известна из основной рукописи «Эдды» (CR) как *Hamðismál*. И напротив, три песни о Гудрун, которые принято рассматривать как образец позднего жанра героических элегий (*Standortlieder*, или *Situaitonslieder*, по Хойслеру), носят в CR название *Guðrúnarkviða*; четвертая же песнь о Гудрун известна как *Guðrunarhvöt*. Во всех подобных расхождениях между названиями и научными построениями видят обычно проявление нетерминологичности эддических *nomina dicendi* в названиях песней, а тем самым и повод не принимать их во внимание, в том числе в переводах. *Guðrúnarkviða*, *Harbarðsljóð*, *Rígsþula* равным образом переводятся просто как «песни» (*Lieder*, *lays*) — о Гудрун, о Харбарде, о Риге.

Название *Rígsþula*, впрочем, должно быть отмечено особо. Не все *verba dicendi*, встречающиеся в названиях эддических песней, были обойдены вниманием филологов. Напротив, наиболее редкие и экзотичные из них давно закрепились в науке как термины, не подлежащие переводу. Любой специалист по древнеисландской литературе знает, что *þula* (тула) — это «перечень имен», а *senna* (сенна) — «перебранка». Не приходится спорить с тем, что перечни имен и перебранки, широко засвидетельствованные в древнеисландских памятниках, представляют незаурядный интерес³. Не спорят и о терминах. Но в случае, если эти «ученые» термины, вольно или невольно, выдаются за исконные, они неизбежно оказываются фиктивными.

Так, говоря о тулах, нельзя сбрасывать со счета тот факт, что перечни имен (за исключением неясного примера «Тулы Торгрима») ⁴ не обозначались данным словом в самой древнеисландской литературе. Так называемая «тула карликов» в «Прорицании вельвы» — это все же *dvergja tal* (*Vsp.* 12; 16). Название *Rígsþula* представляет собой единственный случай употребления слова *þula* в «Эдде», но перечни имен занимают в этой песни не большее место, чем, например, в *Grimnismál*. Поэтому только гипнозом ученой терминологии может быть объяснено часто встречающееся утверждение, что, как общее правило, др.-исл. *þula* — это версифицированный перечень имен и лишь в единичных случаях данное слово относится к иным стихотворным текстам (подразумевается *Rígsþula*). В пространном комментарии Урсулы Дронке к *Rígsþula* сообщается много важного о содержании и жанровых особенностях данной песни, но нет ни слова о том, почему она названа «тулой»⁵. По-видимому, и Урсула Дронке полагает, что ученые, условившиеся называть тулой перечень собственных имен, более правы, чем те исландцы, традицию которых они изучают.

Необходимо повторить, однако, что предлагаемая работа — это ни в коей мере не критика общепринятых терминов (которыми пользуется и сам автор), но лишь попытка взглянуть на такие слова, как *kviða*, *mál*, *ljóð*, а также *þula* и *senna*, в названиях песней изнутри самой эддической традиции, т. е. применить семантические критерии к их изучению. Но возможно ли найти такие критерии? Ведь исследователь *verba dicendi* в названиях песней лишен главного семантического ориентира — контекста, если только не считать контекстом сами песни, смысл которых должны прояснить их названия.

Общие ориентиры для анализа обнаруживаются, однако, в структурных указаниях самого языка, а именно в парадигматике интересующих нас *nomina dicendi*. Все они могут быть развиты на два парадигматических класса, один из которых составляют имена, принадлежащие к оп-основам («слабые»), другой же формируется остальными *nomina dicendi* («сильными») независимо от конкретного типа их склонения. Представим весь материал в виде таблицы:

NOMINA DICENDI

ǫp-основы («слабые имена»)

Другие типы склонения («сильные имена»)

(*saga* (<*segja*, слб. 3) / *Grettis saga*)

kviða (<*kveða*, слн. 5) / *Helgakviða*

senna (<*senna*, слб. 1) / *Lokasenna*

þula (<*þylja*, слб. 1) / *Rígsþula*

h

ср. (*kviðr* / *qviðr norna*)

(*kvæði* / *skálda kvæðum*)

mál (~*mæla*, слб. 1) / *Grímnismál*

ljóð (~*ljóða*, слб. 2) / *Harbarðsljóð*

söngur (~*syngva*, слн. 3) / *Grottasöngur*

spá (~*spá*, слб. 1) / *Völuspá*

hvöt (~*hvetja*, слб. 1) / *Guðrúnarhvöt*

В ходе дальнейшего анализа я надеюсь показать, что парадигматическая форма *nomina dicendi* *мотивирована в языке*, она служит противопоставлению эддических жанров по наиболее общему (и важному для понимания эддических жанров) семантическому признаку. Подобное предположение с самого начала может показаться читателю фантастическим. Поэтому необходимо подкрепить его ссылкой на некоторые бесспорные или по крайней мере легко проверяемые факты.

— Парадигма *ǫp-основ* женского рода представляет собой германскую инновацию⁶. Она получила исключительную продуктивность в древнеисландском и породила множество лексических новообразований. Не менее половины из 94 простых *ǫp-основных* существительных в «Старшей Эдде» не имеют нескандинавских соответствий; большинство их образовано по конверсии от имен других классов или от глаголов.

Все три *ǫp-основные nomina dicendi* в эддических названиях, а также слово *saga*, рассматриваемое ниже в качестве «прототипического», образованы по конверсии от глаголов (см. таблицу). Правда, и сильные имена в общем случае связаны отношениями конверсии с соответствующими глаголами. Но существенную роль играет направление конверсии. Сильные имена не являются, собственно, *девербативами*: это примарные, *непроизводные* имена, большинство из которых принадлежит общегерманскому корнеслову. Напротив, *ǫp-основные nomina dicendi* суть новообразования. Заметим, что это относится не только к таким *исландизмам*, как *senna* и *þula*, но также к словам *saga* и *kviða*, грамматически переоформленным в древнескандинавском. Так, *kviða* с его фонетически необъяснимым корневым *i* наиболее убедительно объясняется как результат парадигматического расщепления *kviðr*, *-i-*, м. р. // др.-англ. *cwide*, др.-сканд. *quidi*, др.-в.-нем. *quiti*, ж. р.⁷ Слово *kviðr* не встречается в названиях, но я присоединяю его к перечню сильных имен, имея в виду в дальнейшем прокомментировать категориальный смысл данного расщепления. Подобным же образом правомерно видеть скандинавскую инновацию в слабом склонении слова *saga*; в самом деле, др.-англ. *sagu* принадлежит к *ǫp-основам*, как первоначально и др.-в.-нем. *saga*

(ср. др.-в.-нем. *ōn*-основное существительное со значением лица — *fora-saga* «прорицательница»)⁸.

— К *ōn*-основам принадлежат сокращенные наименования ряда известных саг. В некоторых из таких наименований еще можно было бы видеть застывшую падежную форму (*Sturlunga*, *Eyrbyggja*, *Landnáma*), но ту же форму имеют и *Egla*, *Njála*, *Grettla*. Своего рода прозвищами в форме слабого склонения ж. р. снабжаются и известные рукописи: *Fagrskinna*, *Morkinskinna*, *Hrokingskinna* (собрания королевских саг; ср. *skinn* «кожа»), *Hungvaka* (жития епископов Скальхольта), *Rimbegla* (трактат по компутистике) и др.⁹. Существуют, правда, и такие названия рукописей, как *Flateyjarbók*, *Ágrip* или *Grágás*. Но их иносистемность в отдельных случаях может быть объяснена действием тех или иных частных факторов.

Так, заметим, что к *ōn*-основам принадлежат сокращенные названия саг и рукописей саг, но не сводов исландских законов. Как обратил внимание А. Либерман, по крайней мере два из них носят «птичьи имена»: *Grágás* «дикий гусь» и *Gullfjóðr* «золотое перо» (но *Hryggjarstykki* «a kind of a duck» — это прозвание королевских саг Эйрика Оддссона). Либерман высказал предположение, что среди птичьих имен может найти свое место и *Edda*. Указав на сомнительность известных этимологических гипотез имени *Edda* (к *edda* «прабабушка», или к *oðr* «поэзия», или к *Oddi* — названию хутора, где учился Снорри), он выдвинул свою собственную, объясняющую это имя как диминутив к др.-исл. *æðr* «гага»¹⁰. Заслуживает внимания, однако, еще одна гипотеза, восходящая к Магнусу Оулавссону (1609) и получившая развитие в работах С. Карлссона и Э. Фолкса. Согласно данной гипотезе, название *Edda* иронически переименовывает лат. *edo* в значении «творю, сочиняю»¹¹. В качестве аналогичного образования (и основного аргумента в пользу данной этимологии) оба автора ссылаются на «Сагу о фарерцах», герой которой в ответ на расспросы, что он выучил из Священного Писания, отвечает: *Pater noster ok kredduna*¹². Заметим, что эта самобытная версия лат. *credo* прижилась в языке: совр. исл. *kredda* имеет значение «суеверие». Можно было бы прибавить к данному примеру и рн.-шв. *rgubba*, *rgobba* «школьный карцер» — от лат. *proba*¹³. Во всех случаях, при их очевидных различиях, имеет место однотипная фамильяризация школьного латинского слова. Принимая данное объяснение и для *Edda*, мы увидим в ее названии (или, скорее, прозвании) остроумное противопоставление исландской традиции, о которой трактует Снорри, ученому латинскому сочинительству. Автор «Эдды» прячет свое лицо за традицией, а исландская поэтика представляется как общее, «самобытное» достояние всех исландцев. О Снорри, как известно, нигде не говорится как об авторе «Эдды»; в некоторых рукописях сообщается лишь, что он ее «составил» или «велел составить»¹⁴.

Можно сформулировать теперь основной тезис настоящей работы. Все *ōn*-основные *nomina dicendi* в названиях эддических песней,

а также однотипное им слово *saga* обозначают именно такие «само-бытные» тексты — слово по преданию, не предполагающее фигуры автора (говорящего), его сочинившего или сказавшего в определенной коммуникативной ситуации. Все имена иных («сильных») типов склонения, напротив, содержат отсылку к конкретному речевому акту и к авторитетному говорящему. В соответствии с этим форма родительного падежа в названиях с *ōp*-основными именами отсылает к объекту сообщения, а в названиях с «сильными» именами — к его субъекту, т. е. к говорящему. Ниже я попытаюсь обосновать данный тезис на материале конкретных *verba dicendi*, выделяя наиболее существенные или спорные моменты.

Удобно взять в качестве образца наиболее изученное слово *saga*, хотя оно употребляется только в названиях прозаических текстов¹⁵. По своей внутренней форме *saga* — это просто «рассказ» или «рассказанное». При этом вопрос: «Чей рассказ?» был бы по отношению к *sage* незаконным, ибо повествование в ней не допускает мысли не только об индивидуальном авторе, но и о рассказчике — хранителе устной традиции¹⁶. Иными словами, безоговорочная правдивость *sağ* об исландцах в представлении их аудитории определялась не личными качествами рассказчиков, их правдивостью и памятью¹⁷, но прежде всего тем, что саги вообще не оставляют места для субъективного элемента в повествовании. Саги, как известно, ссылаются на общее знание («так говорят», «об этом ничего не рассказывают» и т. п.), но не на конкретных его носителей. Поэтому из древнеисландской литературы почти ничего нельзя узнать о бытовании устных *sağ* в исландском обществе, т. е. о конкретных коммуникативных ситуациях, в которых те или иные саги рассказывались¹⁸. И когда Снорри Стурлусон, не считаясь с этим умолчанием традиции, говорит в своем Прологе к «Отдельной *sage* об Олаве Святом» о реальных условиях бытования саги в устах отдельных рассказчиков, он выступает тем самым и как ее «критик», т. е. признает неизбежность в ней неосознанного вымысла и ненадежность ее как исторического источника (сравнительно со стихами скальдов): *En sogur þer er sagðar ero. þa er þatt hett at eigi sciliz aulum a einn veg. en sumir hafa eigi minni þa er fra liðr hverning þeim var sagt* «А относительно рассказанных *sağ* есть та опасность, что не все понимают их одинаково, и некоторые с течением времени не могут удержать в памяти то, что им было рассказано» (SO, 2)¹⁹.

Обратимся к эддическим *nomina dicendi*. То, что было сказано выше о *sage*, в большой мере относится к эддическим *KVIÐUR* — песням, представляющим собой слово по преданию²⁰. *Kviða* — это, по преимуществу, песнь о героях; при этом ниоткуда не следует, что данное обозначение связывалось с относительной ролью в ней повествовательной и прямой речи. В самом деле, прямая речь персонажей (например, в так называемых «героических элегиях») принад-

лежит тому же героическому прошлому, что и сами события, т. е. не составляет отличного от него временного плана. Иными словами, прямая речь, может быть, и содействует драматизации сюжета, но не разыгрывается перед аудиторией как некое «драматическое представление» (ср. ниже о мифологических *mal*). *Saga* — это то, что *er sagt*; *kviða* — то, что *er kveðit*, т. е. рассказывается об этом прошлом в стихах и в эпическом размере форнюрдислаг. Эддическая проза сообщает: *Þetta er enn kveðit um Guðrúno* «Вот что еще рассказывается о Гудрун»; и непосредственно вслед за этой фразой в рукописи следует песнь, называемая *Guðrúnarkviða*.

Место слова *kviða* в общей системе *nomina dicendi* дополнительно проясняется следующими фактами.

— Как *kviður* обозначаются и некоторые скальдические песни, воссоздающие, хотя в значительной степени и условно, жанровые особенности эддических песней о героях. *Arinbjarnarkviða* Эгиля Скаллаgrimссона, *Hallmundarkviða* в «*Care* о Греттире» и *Æfikviða* (позднее название ряда строф Греттира в той же *care*) различны во многих отношениях, но все они содержат связный рассказ о каком-либо событии саги или жизнеописание, подводящее черту под деяниями ее героя. Полутролль Халльмунд произносит свою *Hallmundarkviða* перед смертью. Умозрительно рассуждая, название песни может быть понято двояко — как «Песнь Халльмунда» (так оно переведено в русском издании саги) либо как «Песнь о Халльмунде»²¹. Учитывая все сказанное, следует, однако, отдать предпочтение второму пониманию: название песни эпизирует деяния Халльмунда и уподобляет его героям сказаний.

— В исландской филологической традиции песни о героях обозначаются как *hetjukvæði* (а песни о богах соответственно как *goðakvæði*). Слово *kvæði* (ср. р., -ia-) имеет в современном исландском языке предельно обобщенное значение и может относиться к любому стихотворному произведению. Однако весьма сомнительно, чтобы эддические *kviður* могли обозначаться в древности как *kvæði*. Существует, правда, одно не вполне ясное место в Прологе к «Кругу Земному», где Снорри сообщает, что он следовал в своем сочинении также *fornum kvæðum eða söguljóðum* (Hkr, 1)²². Господствует точка зрения, что под «древними песнями» Снорри подразумевал эпическую поэзию о древних временах в размере форнюрдислаг. Но единственные примеры *kvæði*, упомянутые Снорри в данном месте Пролога, — это генеалогические поэмы скальдов Тьодольва Хвинского и Эйвинда Погубителя Скальдов. Обе поэмы возводят генеалогию скандинавских правителей к «древним» (легендарным) временам, и кажется более обоснованным предположение, что их в первую очередь и имел в виду Снорри под «древними песнями»²³. Во всех других случаях др.-исл. *kvæði*, несомненно, относится к поэзии скальдов, форма родительного падежа служит всегда отсылкой к автору: *í kvæðum hans*, *í kvæðum skálda þeira*, *er váru með Ólafi konungi*. Суще-

ствует, правда, скальдическая поэма Торбьёрна Хорнклови, известная как Haraldskvæði «Песнь о Харальде»; но это название было дано ей современными исследователями, равно как и другое ее название — Hrafnsmál «Речи ворона»²⁴.

— Как было упомянуто выше, слово kvíða представляет собой новообразование, результат парадигматического переоформления kvíðr (-i-, м. р.), также сохранившегося в языке. Знаменательна функциональная дифференциация обоих слов: kvíðr широко употребляется в языке (особенно в языке права) со значением «приговор», тогда как отделившееся от него, поменявшее род и перешедшее в слабую парадигму слово kvíða принадлежит поэтическому мета-языку и служит обозначением эпической поэзии, представляемой как данность традиции. Самый знаменитый пример употребления kvíðr в «Эдде» — это завершающая максима «Речей Хамдира»: Hmð 30. 7–8. Qveld lifir maðr ecci / eptir quið norna «Никто не избежит норн приговора» (пер. А. И. Корсуна). Итак, kvíða (как и saga) *правдива*, ибо представляет собой слово по преданию и не исходит от конкретного говорящего; приговор kvíðr *истинен*, ибо выносится властью имеющим и сбывается.

К тому же типу, что и kvíðr, принадлежит слово MÁL, встречающееся в основном в названиях мифологических песней²⁵, сочиненных в форме монолога или диалога и в размере льодахатт. Хотя почти все эддические mál содержат разнообразные мифологические сведения, их функция несводима к дидактике (Wissendichtung, Spruchdichtung), а форма прямой речи — к условностям жанра. В работах последних десятилетий (некоторые результаты которых были обобщены в книге Т. Гуннела «The Origins of Drama in Scandinavia»²⁶) получили развитие важные наблюдения Б. Филлпоттс, возводившей эддические «речи» к ритуалу («прототеатру») ²⁷. В песнях, обозначаемых как mál, разыгрывается мифологическое действие, и сами они — ярчайший пример *речей как действия*. Речи эти направлены внутри сюжета песней на разрешение мифологической коллизии и обращены к адресату-сопернику. Они движут сюжет песни, поскольку от их эффективности зависит ее развязка (ср. о *Grimnismál*²⁸ и об *Alvíssmál*²⁹). Существенно, что мудрость, в них содержащаяся, изречена в критической ситуации испытания и близости к смерти. Бог (или в *Skirnismál* посланец бога — Скирнир) предсказуемым образом побеждает в этих испытаниях, а обитатель иных миров, будь то конунг Гейррёд, карлик Альвис или великан Вафтруднир, гибнет либо вынужден признать свое поражение (великанша Герд).

В *Hávamál* нет внутрисюжетного адресата. Ее единственный адресат (предполагаемый, разумеется, и всеми остальными «речами») — это слушатель, к которому обращены речи Одина, восходящие от простой житейской мудрости к высшему, сакральному знанию (о композиционной структуре песни³⁰). Может быть, существенно, что бог в скандинавских мифологических песнях — в отличие, на-

пример, от эпифании античных божеств — является людям как бог говорящий, изрекающий истину.

Значение слова LJÖÐ требует более подробного обсуждения. В основных эддических рукописях оно встречается только в названии *Hárbarðsljóð*. Данная песнь, очевидно, не могла бы быть названа *mál*, хотя она и представляет собой диалог-состязание, движущий действие и приводящий к предсказуемой развязке. Но речи в *Hárbarðsljóð*, в отличие от речей в жанре *mál*, заведомо не содержат мифологической премудрости и не имеют драматических последствий: Один под видом перевозчика Харбарда просто морочит Тора, рассказывая о своих приключениях с великанами, и отводит ему глаза, вынуждая в конце концов искать другую переправу.

Какой же смысл вкладывался традицией в слово ljóð в названии этой комической песни? В работах об эддических жанрах данный вопрос, насколько мне известно, не ставился: песнь трактуется как перебранка (и спор идет в основном о том, к какому типу перебранок она ближе — к «сенне» или к «сравнению мужей»³¹), а ljóð в ее названии переводится просто как Lied — «песнь».

Примем, однако, во внимание, что, хотя слово др.-исл. ljóð и может, вообще говоря, иметь значение «песнь», «песня» (например, в названии христианской скальдической поэмы *Sólarljóð*), в мифологических контекстах оно обозначает прежде всего «магическую песнь», «заклинание». Существенно, что в данном своем значении ljóð ассоциируется прежде всего с Одним, верховным ljóðasmiðr, обладающим магической властью над словом. Контексты хорошо известны. В главе 6 «Саги об Инглингах» говорится, что Один «владел искусством менять свое обличье как хотел. Он также владел искусством говорить так красиво и гладко, что всем, кто его слушал, его слова казались правдой» (КЗ, 13)³². Колдовским умениям Одина посвящена глава 7; в ней, в частности, сказано, что всем своим искусствам Один «учил рунами и песнями, которые называются заклинаниями» — *teð rúnun ok ljóðun þeim, er galdrar heita* (Нкр, 10; *galdrar* — более специальное обозначение заклинаний). Далее упоминаются заклинания (ljóð), с помощью которых Один открывал курганы.

Не эти ли особые умения Одина мы наблюдаем в действии в фарсовой ситуации песни *Hárbarðsljóð*? Он меняет обличье и с большим искусством сбивает с толку своего простодушного соперника. Его власть над словом травестируется в комической ситуации песни. В одной из частей *Hávamál*, известной как ljóðatal, Один перечисляет восемнадцать заклинаний, произносимых им в серьезных ситуациях — во врачевании, в битве, против пожара, против ведьм и т. п. В нашей же песни он просто заговаривает Тора себе на потеху, выступая как «режиссер» подстроенной им перебранки.

Некое магическое действо разыгрывается и в других песнях (не входящих в основной эддический корпус), обозначаемых в исландской традиции как ljóð. Песнь, известная как *Darraðarljóð* («Сага

о Ньяле», гл. 157), характеризуется обычно как переходная между эддической и скальдической поэзией. С одной стороны, она включена в контекст саги и относится к исторической битве при Клонтарве. Но с другой стороны, «какие-то» женщины, которые поют ее за ткацким станком, — это валькирии. Название песни отсутствует в саге, но оно происходит из исландской традиции и так или иначе связывается с ее рефреном (*vindum, vindum / vef dargaðar*), а также и с именем *Döggúðr* — человека, который, согласно саге, слышал эту песнь³³.

Промежуточное положение *Darradarljóð* между скальдической и эддической поэзией оставляет разные возможности для толкования первого компонента в ее названии. Так, *dargaðar* может быть формой род. п. от *dargaðr* «копье, дрот» (слово, известное из ряда скальдических стихов)³⁴. Сочетание *vef dargaðar* в рефрене читается в этом случае как «ткань копья», а название *Dargaðarljóð* — как «песнь копья», т. е. потенциальный кеннинг битвы. Данное толкование могло бы найти замечательное подтверждение в одной из древнейших рукописей «Саги о Ньяле» (*Möðruvallabók*, сер. XIV в.): строка 10.7 песни содержит в этой рукописи совершенно аналогичный кеннинг битвы — *geirljóð* «песнь копья». Кеннинг этот вынесен отдельной статьей во 2-е издание *Lexicon Poeticum*, подготовленное Финнуром Йоунссоном³⁵. Однако Финнур Йоунссон отвергает его как «ошибочный» и отдает предпочтение другому кеннингу (восходящему к рукописи *Graskinna*, нач. XIV в.) — *geirfljóð* «жена копья», т. е. «валькирия». Этот последний кеннинг мы и находим в большинстве изданий саги, как, разумеется, и в стандартном издании поэзии скальдов (*Skj B*)³⁶, подготовленном Финнуром Йоунссоном³⁷. Справедливо ради нужно сказать, что кеннинг *geirfljóð* дает вполне осмысленный текст: *Drl 10. 5–8. Enn hinn nemi, / es heyrir a // geirfljóða hljóð / ok gumum segi* «Пусть тот воспримет, кто слушает, глас валькирий и мужам расскажет». Но не менее осмысленный текст дает и кеннинг *geirljóð* в составе строки из *Möðruvallabók 10.7: geir ljóða fiold* «Пусть тот воспримет» множество песней (заклинаний) копья». «Песни копья» в устах валькирий предсказывают ход битвы.

«Скальдическое» значение *dargaðr* «копье» не исключает, однако, и мифологического. Как рассказывается в саге, за валькириями наблюдал и слышал их песнь человек по имени *Döggúðr*. Многие исследователи придерживаются мнения (восходящего к работе А. Хольтсмарк³⁸), что это имя возникло из ошибочного истолкования выражения *vefr dargaðar*. Но существуют аргументы и в пользу его исконности: «Имя *Döggúðr* — человека, прислушивающегося к *Darradarljóð*, звучит в данном контексте как имя Одина, традиционно выступающего как советчик мудрых женщин»³⁹. Имя *Döggúðr*, в частности, находит параллель в таком засвидетельствованном имени Одина, как *Váfuðr* (*Grm 54, 5*), и может значить, как и это последнее, — «блуждающий»⁴⁰. Название песни в его мифологическом варианте значит «Песнь Дёрруда»: валькирии поют свою магиче-

скую песнь и предсказывают исход битвы при Клонтарве, но песнь их инспирирована Одином.

Hyndlóljóð (в русском переводе «Песнь о Хюндле») известна из *Flateyjarbók*. Содержание данной песни весьма разнородно, и нет необходимости здесь на нем останавливаться. Но смысл ее названия — тот же, что и в рассмотренных случаях, — разъясняется, как можно думать, из ее заключительной строфы (слова Фрейи, обращенные к великанше): Hdl 50. 1–4. Orðheill þin scal / engo ráða, // Þóttu, brúðr jötuns, / bölví heitir «Наговор твой не будет иметь силы, хотя ты, великанша, злом угрожаешь».

Косвенно к нашему материалу примыкает и *Gróttasöngur*, известная из «Младшей Эдды». Как сказано у Снорри, великанши Фенья и Менья «kvæði ljóð þau, er kallat er Gróttasöngur» (SnE, 107)⁴¹. Заманчиво было бы перевести название песни по аналогии с *Darraðarljóð* (с которой эта «трудова́я» песнь имеет много общего) как «Песнь Гротти». Но все же такой перевод был бы недостаточно обоснован: он не опирается на модель кеннинга и не находит прямой поддержки в тексте. Представляется, однако, существенным, что Снорри обозначает эту песнь как *ljóð* (мн. ч.)⁴²: великанши, ставшие рабынями конунга Фроди, в конце концов намолоти и наколдовали ему вражеское войско и «грядущую гибель для многих».

Обозначения SPÁ «прорицание» (*Völuspá*) и HVÖT «подстрекательство» (*Guðrúnarhvöt*) не требуют комментариев: оба они принадлежат к «сильным» именам (δ-осн., ж. р.) и обозначают речевое действие, направленное от говорящего к адресату.

Особую сложность для анализа представляют два δп-основных слова, SENNA и ÞULA — как вследствие их единичности в названиях песней, так и по причине авторитетности тех терминов, которым они дали начало. Предлагаемое ниже их толкование, несомненно, нуждается в уточнениях.

SENNA. Вошедший в научный обиход термин «сенна» происходит исключительно из названия *Lokasenna*⁴³. Ни в одном другом случае ритуализованные перебранки, известные из саг, прядей и эдических песней, не обозначаются как *senna*. Вместе с тем представляется несомненным, что в данное слово в названии песни вкладывался конкретный и общепонятный смысл, очевидно тот же, что и в глагол *senna*, от которого имя образовано по конверсии. Ссылаясь на *Lokasenna* в «Языке поэзии», Снорри употребляет предикативное высказывание именно с глаголом *senna*: Þá senti Loki þar við öll goð (SnE, 96). Предложная конструкция в данном случае позволяет назвать и оппонентов Локи — «все боги». В названии песни нет предложной конструкции (как ее не бывает и в других названиях эдических песней). Уже это, если вдуматься, делает понимание *senna* как «перебранки» сомнительным: ведь перебранка — это непременно совместное речевое действие, которое не может быть прикреплено к единичному субъекту (другое дело, если бы песня называлась, например, *ásasenna*). Но трудность

эта в значительной степени снимается, если предположить, что *senna* означает не столько само речевое действие, сколько *событие*, сопровождаемое перебранкой, т. е. ссору, зачинщиком которой явился Локи. В данном случае предложная конструкция теряет свою обязательность: композит *Lokasenna* сближается с таким, например, словосочетанием, как *ogrosta Ólafs konungs*, обозначающим событие битвы. Понимание *senna* как «ссора», «раздор», заметим далее, находит поддержку и в том единственном месте «Эдды», где данное слово встречается в стихотворном тексте: *Ghv 1. 1–2. Þa frá ec senno / slíðrfenligsta, // traud mál, talið / af trega stórom*. Удачно перевел это место Б. Топп: «Then heard I tell of quarrels dire, hard sayings uttered of great affliction» (EE, 248)⁴⁴. *Traud mál* при таком понимании — это не вариация к *senna*, а *nomen dicendi* с эпитетом, позволяющий перейти от названного в первой строке события ссоры к прямой речи Гудрун, начинающейся со следующей строфы.

Итак, название *Lokasenna* можно было бы перевести, с известной долей условности, как «Ссора Локи», где Локи — не субъект речи (как, например, Гримнир в *Grimnismál* или Харбард в *Harbarðsljóð*), а зачинщик и участник ссоры, т. е. герой события, о котором рассказывается. Рассказывается же о событии мифологической ссоры так, как ссора происходит, а именно в прямых речах.

Следует особо заметить при этом, что в отличие от множества других мифологических сюжетов ссора Локи с асами с полным правом может быть названа событием. В этом отношении она занимает место рядом со смертью Бальдра. Оба данные мифа событийны, ибо включены в эсхатологическую перспективу скандинавской мифологии, т. е. привязываются традицией к ее основному событию — Гибели богов⁴⁵. Ключевой момент обоих мифов — разрыв Локи с асами; в них совершается перевоплощение Локи, его окончательный переход из стана богов в стан чудовищ. Асы ловят и наказывают Локи. По версии Снорри, в «Видении Гюльви» это случилось после гибели Бальдра (SnE, 60–62), по версии «Старшей Эдды» — после ссоры Локи с асами на пиру у Эгира. Оба рассказа о наказании Локи совпадают почти дословно, но у Снорри есть заключительная фраза: *þar liggir hann í böndum til ragna-ræks* «Так он будет лежать в оковах до Гибели богов» (62). Подобной фразы нет в прозаическом заключении *Lokasenna*. Но весь текст самой песни, как было убедительно показано Х. Клингенбергом, пронизан намеками на Гибель богов, в которой Локи будет сражаться на стороне чудовищ⁴⁶.

Обратимся, наконец, к слову *ÞULA*. Обычно его возводят непосредственно к имени лица *þulr* в значении «жрец, культовый оратор» и соответствующим образом истолковывают: предполагается, что тулами первоначально назывались перечни имен, изрекавшиеся жрецом (тулом). Существует, однако, одна немаловажная трудность, которая заставляет усомниться в данной реконструкции. Я имею в виду в настоящей момент не сомнительность самого понимания слова *þula*

как «перечня имен» (см. об этом начало настоящей статьи), а тот факт, что ни в одном известном случае *nomina dicendi* не образуются от имен лица. Кажется, во всяком случае, не лишенным оснований иное предположение: подобно другим *nomina dicendi* данного лексико-грамматического класса, слово *þula* представляет собой девербатив, образованный по конверсии от глагола *þulja*. Глагол *þulja*, правда, может относиться и к речевой деятельности, как это следует из часто цитируемых строк *Hávamal*: 111. 1–2. *Mál er at þulja / þular stóliá* «Время вещать мне с престола твоя». Но существенно, что глагол имеет более широкое значение и не обязательно связывается с культовой речью. Как это указано в словарях и подтверждается контекстами, *þulja* значит «говорить монотонно, бубнить, бормотать», т. е. характеризует манеру речи, а не ее содержание. Мы не знаем, что бормотал себе под нос (*þuldi*) Ньяль, сторонясь людей, как рассказывается в саге (NS, 136): может быть, он молился, а может быть, просто разговаривал сам с собой, как это свойственно старым людям.

Один *þulgr* со своего престола давал советы Лоддфафиру. И советы эти выделяются среди других его речей своей монотонностью; они построены на постоянных возвратах к одним и тем же формулам, занимающим большую часть строфы (*Háv* 112–137). Возможно, этот глагол подразумевается и в неясном месте *Gróttasöngur*: 3. 1–2. *Þær þyt *þuldu / þögnhorfingar* (в рукописи *þulo*; см. N-K⁴⁷, 297). Фенья и Менья что-то беспрестанно бормочут, вращая жернов, пока не усыпят челядинцев конунга Фроди (строфа 4), и тогда-то их трудовая песнь переходит в заговор (*ljóð*). Этот момент изменения характера песни четко отмечен в строфах 3–5. Также и приехавший в гости глупец что-то себе болтает, как сказано в строфе *Hávamál*: 17. 1–3. *Kópir afglæpriþ er til kynnis kómur, // þylsk hann em eða þrumir* «Глазет глупец, / приехавший в гости, / болтая или молча» (пер. А. И. Корсуна).

«Тула о Риге» (*Rigsþula*), принадлежа к повествовательным песням, отличается от них во многих отношениях, а со стороны самой повествовательной манеры именно тем, что она вся построена на монотонных, мерно членимых ее повторах. Риг пошел по зеленым дорогам, пришел в гости к прадеду и прабабке, преподал им советы, пробыл там три ночи: родился раб (*þræll*); потом снова пошел Риг по дороге, зашел к деду с бабкой, преподал им советы, пробыл там три ночи: родился батрак (*karl*). И так далее — до самой вершины этой винтовой социальной лестницы. Песнь знаменита благодаря содержащейся в ней информации о социальном устройстве архаического общества. В ней множество подробностей древнескандинавского быта. Но в жанровой своей основе она представляет собой высокий прообраз новоисландских фольклорных тул (*þulur*). Тулы эти могут быть весьма различны по содержанию и, так сказать, по степени членораздельности, но все они построены на подобных возвратах и повторах⁴⁸. Сопоставление древней и новых тул может представлять

большой интерес. Но при этом необходимо отталкиваться не от перечней имен, которые филологи условились называть тулами, а от той единственной тулы, которая дана нам.

- ¹ В настоящей работе учитываются, за редкими исключениями, лишь названия, восходящие к рукописям «Старшей Эдды», а также других древнеисландских сочинений.
- ² Schier K. Edda, Ältere // Reallexicon der germanischen Altertumskunde. Begrundet von Johannes Hoops / Hrsg. von H. Beck, H. Jankuhn, et al. 1985. Bd. 6. Lief. 3/4. S. 373.
- ³ Clover C. J. The Germanic Context of the Unferð Episode // Speculum. 1980. Vol. 55. N 3; Davidson E. H. R. Insults and Riddles in the Edda Poems // Edda. A Collection of Essays / Ed. by R. J. Glendinning and Haraldur Bessason. Winnipeg, 1983. P. 25–46; Clunies R. M. Skáldskaparmál. Snorri Sturlusons *ars poetica* and Medieval Theories of Language. Odense, 1987. P. 81 ff.; Гуревич Е. А. Эволюция жанра тулы в средневековой исландской литературе // Проблемы жанра в литературе средневековья. М., 1994. С. 138–174.
- ⁴ Две строфы произведения, известного под таким названием (*Snorri Sturluson*. Edda. København, 1926. Bls. 130–131), действительно содержат перечни коней и волов. Однако остается неизвестным, что представляло собой данное произведение в целом и какое место занимали в нем приводимые Снорри перечни.
- ⁵ Dronke U. The Poetic Edda. Vol. II. Mythological Poems / Ed. with transl., introd., comment. by Ursula Dronke. Oxford, 1997. P. 174–241.
- ⁶ Сравнительная грамматика германских языков. М., 1963. Т. III. Морфология. С. 207.
- ⁷ Vries J., de. Altnordische Etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1961. S. 337–338.
- ⁸ Braune W. Althochdeutsche Grammatik. Halle, 1886.
- ⁹ Faulkes A. Edda // Gripla, II. Reykjavik, 1977. P. 35.
- ¹⁰ Liberman A. Ten Scandinavian and North English Etymologies // Alvissmál. Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens. 1996. N 6. S. 70.
- ¹¹ Karlsson S. Eddukredda // Briari á sextugsafmæl Halldórs Halldorssonar 13 júlí 1971. Reykjavik, 1971. P. 25–33; Faulkes A. Op. cit.
- ¹² Ibid. P. 37.
- ¹³ Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok. Lund, 1925. S. 602.
- ¹⁴ Младшая Эдда / Изд. подгот. О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. Л., 1970. С. 188.
- ¹⁵ Слово *saga* может относиться, однако, к героическим сказаниям, а также к самим событиям героического времени; см., напр., во вступительной прозе «Плача Оддрун»: *um þessu sögo er hér kveðit* «вот, что сказывают об этих событиях».
- ¹⁶ Здесь оставляются в стороне те особые случаи (некоторые королевские саги, часть «Саги о Стурлунгах»), когда имя автора саги известно; см. об этом: Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984. С. 40–41.
- ¹⁷ Ср. случай «Книги об исландцах» Ари Торгильссона Мудрого, сведения которой, в глазах Снорри, достойны доверия именно в силу личных качеств самого Ари и его авторитетных и названных по имени информантов: «Ему рассказывали люди старые и мудрые, — заключает Снорри, — а сам он был любознателен и памятливы» (Круг Земной. М., 1995. С. 101).
- ¹⁸ Показательны единичные отступления от этой общей закономерности, т. е. отдельные эпизоды в древнеисландских сагах или прядях, из которых мы, казалось бы, все же можем что-то узнать о бытовании устной саги. Так, саги, которые Хрольв с мыса Скальм рассказывал на свадебном пиру в Рейкьяхолау («Сага о Торгильсе

- и Хавлиди»), характеризуются в самой саге как *lygisögur* (Sturlunga saga. Reykjavík, 1946. Bls. 27; см. об этом знаменитом эпизоде *Стеблин-Каменский М. И.* Мир саги. Становление литературы. Л., 1984. С. 37–38 и 201–202). То же относится и к саге о великанше Хульд, которую рассказывал герой «Пряди о Стурле» (*Стеблин-Каменский М. И.* Мир саги. Становление литературы. Л., 1974. С. 64–65). Что же касается «Пряди об исландце-сказителе» (*Íslendinga þátr sögufróða*), то ее герой заслужил одобрение Харальда конунга, рассказав ему сагу о его собственных военных походах (Исландские саги. М., 1973. С. 534–535).
- ¹⁹ SO — *Saga Olafs konungs ens helga. Udförligere saga om kong Olav den helige. Efter det aldste fuldständige pergaments haandskriftet i det stor kongelige bibl. i Stockholm / Udg. af P. A. Munch, C. R. Unger. Christiania, 1853.*
- ²⁰ В рукописях к числу *kviður* относятся следующие песни: *Hymiskviða, Þrymskviða, Völungakviða in forna* (название, которым вводится часть HH II, начинающаяся со строфы 14), *Gudrúnarkviða* (три песни), *Sigurðarkviða in skamma, Atlakviða.*
- ²¹ *Шенявская Т. Л.* Поэтическая традиция по сведениям саг об исландцах // Атлантика. Записки по исторической поэтике. М., 1999. Вып. IV. С. 68.
- ²² Hkr — *Heimskringla Snorra Sturlusonar. Konungasögur. I bindi / Um prentun sá Pall Eggert Ólason. Reykjavík, 1946.*
- ²³ *Wessén E.* Om Snorres Prologus till Heimskringlen och till den särskilda Olovssagen // Acta Philologica Scandinavica. N 3. København, 1928–1929. P. 53.
- ²⁴ *Vries J., de.* Altnordische Literaturgeschichte. Bd. I. 2. Aufl. Berlin, 1964.
- ²⁵ К числу *mál* в рукописях «Эдды» относятся песни: *Hávamál, Vafþrúðnismál, Grímnismál, Skírnismál, Alvíssmál*, а также *Atlamál* и *Hamðismál*. В названии *Atlamál*, как можно предположить, проявляется обратное влияние скальдической поэтики, связывающей названия песней с их размером — в данном случае *málahatt*.
- ²⁶ *Gunnel T.* The Origins of Drama in Scandinavia. 1995.
- ²⁷ *Phillipotts B. S.* The Elder Edda and Ancient Scandinavian Drama. Cambridge, 1920.
- ²⁸ *Olsen M.* Fra Edda-forskningen. «Grímnismál» og den høiere tekstkritikk // Arkiv för nordisk filologi. 1933. Vol. 49. P. 263–278; *Schröder Fr. R.* Grímnismál // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübingen, 1958. Bd. 86. S. 341–378.
- ²⁹ *Klingenberg H.* Alvíssmál. Das Lied vom überweisen Zwerg // Germanisch-Romanische Monatsschrift. 1967. Bd. XVII. S. 113–141.
- ³⁰ *See K., von.* Die Gestalt der *Hávamál*. Eine Studie zur eddischen Spruchdichtung. Frankfurt, 1972.
- ³¹ *Bax M., Tineke P.* Two Types of Verbal Dueling in Old Icelandic: The Interactional Structure of the *senna* and the *mannjafnaðr* in *Hárbarðsljóð* // Scandinavian Studies. 1983. Vol. 55. P. 149–174.
- ³² КЗ — *Круг Земной / Подг.: А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.*
- ³³ *Svensson E. Ól.* Íslenzkar bókmenntir i fornöld. I. Reykjavík, 1962. Bls. I, 353; NS — *Njáls saga / Magnús Finnbogason bjó til prentunar. Reykjavík, 1944.*
- ³⁴ *Dronke U.* The Poetic Edda. I. Heroic Poems / Ed. with Translation, Introduction and Commentary by Ursula Dronke. Oxford, 1969. P. 49; *Ганина Н. А.* Vefr ofinn: к толкованию *Njáls saga* 157 // Атлантика. Записки по исторической поэтике. М., 1997. Вып. III. С. 152–153.
- ³⁵ *Lexicon Poeticum antiquæ linguæ septentrionalis / Udg. at ved Finnur Jónsson. 2. udg. København, 1966. S. 176.*
- ³⁶ Skj — *Den norsk-islandske skjaldedigting / Udg. at ved Finnur Jónsson. A. Tekst efter handskrifterne. Første bind. København, 1967. B. Rettet tekst. Første bind. København, 1973.*
- ³⁷ Кеннинг *geirljóð* приводится наряду с другими рукописными вариантами данного места в комментариях к изданию скальдов (Skj A — *Den norsk-islandske*

- skjaldedigtung. København, 1967, S. 421) и к лучшему критическому изданию «Саги о Ньяле», подготовленному Эйнармом Ол. Свейнссоном (BNS IF — Brennu-Njáls // Íslenzk fornrit. XII. Reykjavík, 1954. Bls. 458).
- ³⁸ *Holtmark A.* «Vefr dargáðar» // *Mál og minne*. 1939. Vol. 31. P. 74–96.
- ³⁹ *Dronke U.* *The Poetic Edda*. II. P. 49.
- ⁴⁰ *Ibid.*
- ⁴¹ SnE — *Snorri Sturluson. Edda* / Udg. af Finnur Jónsson. 2. udg. København, 1926.
- ⁴² Словоформа *ljóð* может быть понята как мн. ч. и в названиях песней; ср. мн. ч. *mál* «речи» в названиях.
- ⁴³ *Гуревич Е. А., Матюшина И. Г.* *Поэзия скальдов*. М., 2000. С. 463.
- ⁴⁴ EE — *The Elder Edda of Saemund Sigfusson* / Trans. from the Original Old Norse Text into English by B. Thorpe. London, 1907.
- ⁴⁵ Ср. о событийности мифов и их локализации во времени: *Стеблин-Каменский М. И.* *Миф*. Л., 1976. С. 46–47.
- ⁴⁶ *Klingenberg H.* *Types of Eddic Mythological Poetry* // *Edda. A Collection of Essays* / Ed. by R. J. Glendinning and Haraldur Bessason. Winnipeg, 1983. P. 134–165.
- ⁴⁷ N-K — *Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern* / Hrsg. von G. Neckel. I. Text. 5. verbesserte Aufl. von H. Kuhn. Heidelberg, 1983.
- ⁴⁸ *Ершова Е. О.* *Исландские поздние тулы: Эволюция жанра // Атлантика. Записки по исторической поэтике*. Вып. V. М., 2001.



Albertas Steponavičius (Lithuania, Vilnius)

THE TYPOLOGY OF THE MIDDLE ENGLISH SOUND SYSTEM

1. Introduction

The scope of this paper is limited in that attention is focussed not so much on the analysis of the Middle English sound system in terms of language universals (or near-universals) as on the change of type of the paradigmatic sound system in the Middle English period, at the same time taking into account structural and typological peculiarities of the Old and Modern English sound systems. The importance of Middle English sound and morphological changes from the typological point of view has been specially emphasised by Roger Lass¹. With reference to sound changes, the time span within which the overall restructuring occurred may be specified more exactly. Thus the main idea is that the most radical restructuring of the English paradigmatic sound system occurred not so much in the transitional periods between Old English and Middle English, or between Middle English and Modern English, as in Middle English itself, in the transitional period between early Middle English (the 12th century and the first half of the 13th century) and late Middle English (the latter half of the 13th century and the first half of the 15th century). Illustrations for the text of the paper are provided in the form of overall patterns and matrices. These patterns and matrices present not only the inventory of phonemes, but also the hierarchy of distinctive features (hereafter abbreviated DFs) and oppositions.

The typological evaluation of the sound systems under analysis depends to a great degree on how these systems are modelled. Modelling presupposes naturally some basic principles of analysis, a certain meta-language in terms of which the sound system is described. Because of some modifications in the traditional functionalist approach to phonological analysis, especially with respect to the system of DFs and hierarchies of oppositions, at least a short exposition of some concepts is necessary.

The most important problems of phonological analysis which have to be clarified center on the system of DFs to be used. Among the problems which demand special attention one may point out the need of correlating phonemic features with phonetic ones, a more detailed argumentation in favour of the universally binary structure of DFs, the distinction between universal and language specific features, primary and secondary features, the hierarchical order of DFs and oppositions².

The correlation between phonetic and phonemic features is the core of the problem. Though on the whole we may consider those systems of DFs better in which DFs have clearly stated phonetic correlates, DFs need not be related directly to phonetic features. The same DFs may have different phonetic correlates, and, on the other hand, the same phonetic features may be manifestations of different DFs. What is referred to as a single DF is actually a complex of articulatory and acoustic parameters, and this complex may be different in the realization of different phonemes of the same series. Thus the labial series may consist of purely labial and labio-dental consonants. In many cases of consonantal features referring to the place of articulation the exact points of articulation are phonologically essential. Yet in some cases different, though adjacent, points participate in the production of the same local series; cf. the possibility to classify the English pharyngeal /h/ among the dorsal series, together with dorsals proper, such as /k/, /g/. How the same phonetic features may serve as realizations of different DFs may be illustrated by the distinctions *gliding* (*diphthong*) vs. *nongliding* (*monophthong*), *long* vs. *short*, and *checked* vs. *free*; the free vocalic phonemes may be manifested as diphthongs or long vowels. It is important to realize that DFs are not so much facts of language reality, as concepts of modeling this reality, where arbitrary solutions are to be allowed to a certain degree, for considerations of the economy, consistency, or simplicity of description. This makes us concede the fact that universally acceptable solutions, no matter how desirable, in the description of the same sound corpus can never be achieved. What remains is common sense in judging which solutions offered are closer to reality and more practical.

The relationships between phonemic and phonetic features may be defined more exactly in terms of the binary theories of DFs, as initiated by Roman Jakobson, and Nikolaj Trubetzkoy's system of privative, gradual, and equipollent oppositions. The binarism of DFs is based on the assumption that DFs as elementary entities of the phonological structure must be characterized by most elementary relationships, and binary contrasts are the most elementary of all possible relationships. The practice of phonological analysis, moreover, has shown that the most exact definitions of phonemes and their oppositions seem to be those which are expressed in terms of binary features.

The universally binary structure of DFs is not at variance with Trubetzkoy's privative, gradual, and equipollent oppositions, which are dis-

tinguished according to the relationships between the members of the same opposition. These oppositions must be reinterpreted, however, as phonetic distinctions upon which binary phonemic distinctions may be based. From the point of view of their physical nature, binary features may be termed *privative* when they are based upon the presence and the absence of the same sound property, as voiced and voiceless consonants, or nasal and oral (nonnasal) consonants and vowels, *gradual* when they present different gradations of the same property, as vowels of different degrees of tongue height, and *equipollent* when they are represented by two physically different and logically equivalent properties. In other words, though DFs may be presented as universally binary, they are nevertheless based upon different relations of phonetic features. The privative oppositions are special in that they show the importance of the notion *zero* in phonological analysis (just like in language description in general).

In each separate opposition, one feature is treated as positively expressed and assigned a plus value, whereas its counterpart is treated as negatively expressed and, accordingly, assigned a minus value, irrespective of whether the opposition is privative, gradual, or equipollent. Of course, a positively expressed feature and the respective negatively expressed feature should be considered as two different features and not the same feature with the plus and minus values.

Binary sound features are used to describe not only phonemes, but their allophones as well. Allophones are to be defined as positional realizations of phonemes differentiated by means of phonemically non-distinctive binary features.

One of the principle questions is the hierarchy of DFs and oppositions. DFs may be hierarchically grouped according to the degree of their universality, thus distinguishing *universal* (or *near-universal*) and *language specific* features, or according to their functional significance, thus distinguishing *primary* and *secondary* features. Universal features determine the general structuring of the overall patterns of sound systems, whereas specific features reflect marked typological characteristics of languages. The view advanced here is that the number of universal distinctive features has considerably to be extended. In addition to the traditional universal features *vocalic* vs. *consonantal*, the following consonantal features must be classified as universal as well: *obstruent* vs. *nonobstruent*, *sonorant* vs. *nonsonorant*, *stop* vs. *nonstop*, *apical* vs. *nonapical* (for which the articulatory correlate is the tip and the front part of the tongue), *labial* vs. *nonlabial*, and *dorsal* vs. *nondorsal* (with the back of the tongue as the articulatory correlate). In other words, the structure of consonantal overall patterns is determined, in the first place, by the presence of the universal classes of sonorant and obstruent, nasal and nonnasal, occlusive (stop) and fricative, as well as labial, apical, and dorsal phonemes. For vowels, only the features of aperture, viz., *high* vs. *nonhigh*, and *low* vs. *nonlow*, may be classified among universal. This accounts for the fact why on the whole consonantal systems are more typologically similar, whereas vowels are

more language specific. It is also self-evident that language specific contrasts are more apt to change, even when functionally they are of primary importance. This fully applies to the paradigmatic sound systems of the diachronic layers of English under analysis.

The set-up of hierarchies must be such that oppositions of a higher rank comprise oppositions of a lower rank. It follows from this that subclasses of different classes of phonemes are not structurally and functionally identical and must be set up independently, irrespective of the possible identity of their sound features. Thus sound features, phonemically distinct for one set of phonemes, may be non-distinctive for another (cf. voice in sonorants, or occlusiveness of nasal sonorants; in matrices of phonemes such non-distinctive features are assigned the zero value).

Proceeding from these basic principles of phonological analysis, the paradigmatic sound systems of the Old, Middle, and Modern periods in the history of the English language may be modeled as shown in the overall patterns and matrices of phonemes and DFs in tables 1-16.

Table 1

The overall pattern of the OE consonants

b(:)	d(:)				g(:)
p(:)	t(:)				k(:)
				ǰ(:)	
				ķ(:)	
[f]	ǧ[ǧ]	s[s]	ǧ		h[h x x']
[v]	[ð]	[z]			[ØØ']
f:	ǧ:	s:	ǧ:		h:
m(:)		n(:)			ŋ
w		l(:)	r(:)		j

Table 2

DFs of OE consonant phonemes

	b	b:	d	d:	g	g:	p	p:	t	t:	k	k:	ǰ	ǰ:	ķ	ķ:	f	f:	ǧ	ǧ:	
Consonantal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Long	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Sonorant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fricative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Stop	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Voiced	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	0	0	0	0	0
Nasal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apical	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+
Labial	+	+	0	0	-	-	+	0	0	0	-	-	0	0	0	0	+	+	0	0	0
Dental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alveolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Continuation table 2

	s	s:	ǵ	ǵ:	h	h:	m	m:	n	n:	ŋ	w	l	l:	r	r:	j
Consonantal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Long	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-
Sonorant	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fricative	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stop	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voiced	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasal	0	0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Apical	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Labial	0	0	0	0	-	-	+	+	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Dental	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alveolar	+	+	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	-	-	0

Notes: (1) *consonantal vs. vocalic*, (2) *long vs. short*, (3) *sonorant vs. obstruent*, (4) *fricative vs. nonfricative*, (5) *stop vs. nonstop*, (6) *voiced vs. voiceless*, (7) *nasal vs. nonnasal*, (8) *labial vs. nonlabial*, (9) *apical vs. dorsal*, (10) *dental vs. postdental*, (11) *alveolar vs. postalveolar*.

Table 3

The overall pattern of the OE vowels

i(:)	ū(:)	u(:)	io(:)
e(:)	ō(:)	o(:)	eo(:)
æ(:)		Ń(:)	ea(:)

Table 4

DFs of the OE vowel phonemes

	i	i:	e	e:	æ	æ:	ū	ū:	ō	ō:	u	u:	o	o:	Ń	Ń:	io	io:	eo	eo:	ea	ea:	
Vocalic	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Long	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Gliding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	
Back	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	
Rounded	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
High	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	
Low	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	

Notes: (1) *vocalic vs. consonantal*, (2) *long vs. short*, (3) *gliding (diphthongal) vs. nongliding (monophthongal)*, (4) *back vs. front*, (5) *rounded vs. nonrounded*, (6) *high vs. nonhigh*, (7) *low vs. nonlow*.

Table 5

DFs of the OE vowel phonemes			
b(:)	d(:)		g(:)
p(:)	t(:)		k(:)
		ǰ(:)	
		ķ(:)	
f[f]	ǵ[ǵ]	s[s]	h[h x x']
[v]	[ð]	[z]	
f:	ǵ:	s:	h:
m(:)		n(:)	ŋ
w		l(:)	r(:)
			j

Table 6

DFs of the eMidE consonant phonemes

	b	b:	d	d:	g	g:	p	p:	t	t:	k	k:	ʃ	ʃ:	f	f:	ǰ	ǰ:	s	s:	ǰ	h	h:	
Consonantal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Long	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Sonorant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fricative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stop	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voiced	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apical	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Labial	+	+	0	0	-	-	+	0	0	-	-	0	0	+	+	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Dental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	-	-	-	0	0
Alveolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	-	0	0

Notes: (1) *consonantal vs. vocalic*, (2) *long vs. short*, (3) *sonorant vs. obstruent*, (4) *fricative vs. nonfricative*, (5) *stop vs. nonstop*, (6) *voiced vs. voiceless*, (7) *nasal vs. nonnasal*, (8) *apical vs. nonapical*, (9) *labial vs. dorsal*, (10) *dental vs. postdental*, (11) *alveolar vs. postalveolar*

Table 7

The overall pattern of the eMidE vowels

i(:)	ü(:)	u(:)
e:		o:
Û(:)		Ô(:)
a(:)		

Table 8

DFs of the eMidE vowel phonemes

	i	i:	e:	Û	Û:	a	a:	ü	ü:	u	u:	o	o:	Ô	Ô:
Vocalic	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Long	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Back	-	-	-	-	-	0	0	-	-	+	+	+	+	+	+
Rounded	-	-	-	-	-	-	-	+	+	0	0	0	0	0	0
High	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Mid	-	-		+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+

Notes: (1) *vocalic vs. consonantal*, (2) *long vs. short*, (3) *back vs. front*, (4) *rounded vs. nonrounded*, (5) *high vs. low*, (6) *mid vs. nonmid*

Table 9

The overall pattern of the lMidE consonants

b	d		g
p	t		k
			ʃ(:)
			ʃ(:)
f	ǰ	s	ǰ
v	ǰ	z	
m		n	ŋ
w		l	r
			j

Table 10

DFs of the lMidE consonant phonemes		b	d	g	p	t	k	ʃ	ç	f	ğ	s	ğ	h	v	ð	z	m	n	ŋ	w	l	r	j
Consonantal		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sonorant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Stop		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0
Fricative		-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0
Voiced		+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+	-	-	-	-	-
Apical		-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-
Labial		+	0	-	+	0	-	0	0	+	0	0	0	-	+	0	0	+	0	0	+	0	0	-
Dental		0	0	0	0	0	0	0	0	+	-	-	0	0	+	-	0	-	0	0	-	0	0	-
Alveolar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	-	0	0	0	+	0	+	0	0	+	0	0	-

Notes: (1) *consonantal vs. vocalic*, (2) *sonorant vs. obstruent*, (3) *stop vs. nonstop*, (4) *fricative vs. nonfricative*, (5) *voiced vs. voiceless*, (6) *nasal vs. nonnasal*, (7) *apical vs. nonapical*, (8) *labial vs. dorsal*, (9) *dental vs. postdental*, (10) *alveolar vs. postalveolar*

Table 11

The overall pattern of the lMidE vowels									
i	u		ei	ii	iu		uu		
Û	Ú	Ô	Ûi	ee	eu	ou	oo		
a			aa			Ûu	Ôu	ÔÔ	
						Ûu			

Table 12

DFs of the lMidE vowel phonemes		i	Û	a	Ú	u	Ô	ei	Ûi	ii	ee	ÛÛ	aa	iu	eu	Ûu	ou	Ôu	Ŋu	uu	oo	ÔÔ
Vocalic		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Checked		-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Front		+	+	0	-	-	-	+	+	+	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Back		-	-	0	-	-	-	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+
High		+	-	0	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	+
Mid		-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Closing		0	0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	0	0	0	+	+	+	-	-	-

Notes: (1) *vocalic vs. consonantal*, (2) *checked vs. free*, (3) *front vs. nonfront*, (4) *back vs. nonback*, (5) *high vs. low*, (6) *mid vs. nonmid*, (7) *closing vs. level*.

Table 13

DFs of the lMidE vowel phonemes

p		t		k
b		d		g
			ç	
			ʃ	
f	ğ	s	ğ	h
v	ð	z		
m		n		ŋ
w		l	r	j

Table 14

		DFs of the ModE consonant phonemes																								
		p	t	k	b	d	g	ʒ	ʃ	f	ǰ	s	ǰ	v	ð	z	i	h	m	n	ŋ	w	l	r	j	
Consonantal		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Sonorant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	
Stop		+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
Fricative		-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fortis		+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
Nasal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+	-	-	-	-	
Apical		-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-	+	+	-	
Labial		+	0	-	+	0	-	0	0	+	0	0	0	+	0	0	0	-	+	0	-	+	0	0	-	
Dental		0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	-	-	0	+	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alveolar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	-	0	0	+	-	0	0	0	0	0	0	+	-	0

Notes: (1) *consonantal vocalic*, (2) *sonorant vs. obstruent*, (3) *stop vs. nonstop*, (4) *fricative vs. nonfricative*, (5) *fortis vs. lenis*, (6) *nasal vs. nonnasal*, (7) *apical vs. nonapical*, (8) *labial vs. dorsal*, (9) *dental vs. postalveolar*, (10) *alveolar vs. postalveolar*.

Table 15

The overall pattern of the ModE vowels									
i	u	ii	iÛ	uu	uÛ				
e	Û	o	ei	eÛ[Û:]	ou	oÛ[Û:]	oi		
æ		Ĝ		ÛÛ		vÛ[v:]	vi		

Table 16

		DFs of Modern English vowel phonemes																		
		i	e	æ	Û	u	o	Ĝ	ii	ei	iÛ	eÛ	ÛÛ	uu	Ñu	uÛ	oÛ	ÑÛ	oi	Ñi
Vocalic		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Checked		+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Front		+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Back		-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Central		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+
High		+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-
Low		-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+

Notes: (1) *vocalic vs. consonantal*, (2) *checked vs. free*, (3) *front vs. nonfront*, (4) *back vs. nonback*, (5) *central vs. noncentral*, (6) *high vs. nonhigh*, (7) *low vs. nonlow*

2. A contrastive analysis of Old English and early Middle English sound systems

2.1. Consonants

In terms of the DFs according to the manner of articulation, the late Old English consonants are contrasted as: (1) *long vs. short*, (2) *obstruent vs. sonorant*, (3) *stop vs. nonstop*, (4) *fricative vs. nonfricative*, (5) *voiced vs. voiceless*, (6) *nasal vs. nonnasal*. From the point of view of the DFs according to the place of articulation, the late Old English consonants are

further contrasted as: (7) *apical* vs. *nonapical*, (8) *labial* vs. *nonlabial* (*dorsal*), (9) *dental* vs. *postdental*, (10) *alveolar* vs. *postalveolar* (for the overall pattern and for the specification of the individual Old English consonants in terms of the suggested DFs see table 1 and table 2).

As there are differences of opinion on the phonological interpretation of the Old English consonantism and the approach suggested here is on some points novel, the given overall pattern and DFs need some comments.

Length in Old English consonants is considered as an inherent feature. This is in accord with Roger Lass's³ presentation. Richard Hogg's approach, however, is more problematic⁴. On the one hand, he speaks of the feature of length as phonologically contrastive for consonants⁵. On the other hand, he analyses long consonants as geminates and presents them as /bb/, /pp/, etc., that is, as biphonemic. The main argument in favour of such interpretation is an assumption that already «by the period of the written texts they only occurred intervocalically over syllable boundaries»⁶. Contrary to this, the following arguments for the monophonemic interpretation of Old English long consonants may be put forward. First of all, if one assumes that length is an inherent DF for vowels, then the same assumption seems to hold good for consonants as well. Secondly, the variation of single and double consonant letters in such forms as *bedd* — *bed*, *eall* — *eal*, *mann* — *man* practically throughout the whole Old English period may quite well attest that long consonants were found word finally as well, although evidently in free variation with their short counterparts and gradually yielding ground to the latter towards the end of the period. Thirdly, in disyllables and polysyllables, an intervocalic long consonant may be interpreted as the coda of the preceding syllable⁷. Thus this syllable is marked as closed and as distinct from an open syllable with a short consonant; cf. *sett-an* 'set' vs. *me-tan* 'measure', *mē-tan* 'meet'. It must be admitted that analysis is more complicated in cases when a morpheme boundary seems to lie within long consonants, as in *ǣnne* ac.sg. 'one', *ǣrre* adj. 'earlier', *mētte* pret. 'met', *lǣdde* pret. 'led'⁸. It may be argued that at least such forms have biphonemic geminates. It is more likely, however, that such forms present cases of morpheme fusion at long consonants (cf. *sende* 'sent', instead of **sendde*).

The Old English consonantal contrast of length was well established paradigmatically, although restricted syntagmatically in that long consonants were not found word initially. Thus length, although language specific, was a primary distinction in Old English consonants. The consonants which did not contrast as short and long in pairs were quite few. As a matter of fact, such are /w/, /j/, and /ŋ/ (if the latter is interpreted as a separate phoneme). The contrast /ǰ/—/ǰ:/, although problematic, can still be argued for. Much like short fricatives in word initial and word final positions and long fricatives intervocalically, this consonant is invariably voiceless. This could possibly be accounted for by its origin. This consonant is the result of the phonemization of the phonemic cluster of the

voiceless consonants /sk/, and as Hogg⁹ reasonably assumes, the result of the change intervocalically would be the long /ǵ:/ ("the geminate /ǵǵ/", in Hogg's terms). Word initially, however, where only short consonants were possible, it had to be interpreted as the short /ǵ/. The distribution of /ǵ/ and /ǵ:/ was complementary (in that the short /ǵ/ did not occur between vowels). Nevertheless, their contrast could be phonemic, as /ǵ/ groups naturally with the short consonantal phonemes, and /ǵ:/, with the long ones. Thus the rise of the opposition /ǵ/ - /ǵ:/ is another example of the so-called paradigmatic phonologization in the history of English (cf. the rise of the Old English opposition of the short /æ/ - /ǣ/ under the paradigmatic pressure of the opposition of the longæ /i:/ - /ī:/, or the rise of the Old English short diphthongs under the paradigmatic pressure of the long diphthongs¹⁰). However, because of the defective distribution this opposition may have been lost earlier than the quantitative oppositions of the majority of other consonants, presumably towards the end of the Old English period.

There are some problems and differences of opinion concerning affricates, with respect to their phonemic status, as well as their quantitative, modal and local distinctions. Roger Lass¹¹ distinguishes affricates as separate phonemic items, on a par with the other stops in the series /p t k k/, /b d ĵ g/ and /p: t: k: k:/, /b: d: ĵ: g:/ . Thus the Old English affricates are distinguished as short and long, and their contrast to stops is shown as a local one. Richard M. Hogg¹² defines the Old English affricates (just like the present-day affricates) as "the combination of a dental stop and a palatal sibilant, hence /k/ and /ĵ/". The long affricates are transcribed phonemically by him as /tʃ:/, /dʒ/. The interpretation of long affricates as a combination of three consonantal phonemes would be especially open to doubt. Yet equally doubtful would be an a priori assertion that affricates are necessarily combinations of consonants. However, in a later publication of the same year, Hogg¹³ presents a clearer and apparently modified view on the Old English affricates. Here both of the affricates are characterized phonetically as «a dental stop whose release is accompanied by friction resulting in a palatal sibilant of relatively short duration» and, what is especially important, it is clearly stated that they are viewed as monophonemic. In the general consonant system for Old English, these affricates are assigned a separate modal series, and their point of articulation is shown as between dental and palatal local series¹⁴.

Although not language universal, monophonemic affricates are a separate and quite common type of consonantal phonemes. The main problems of affricates are their differentiation from phonetically similar bi-phonemic consonantal clusters and their specification in terms of modal and local DFs. As monophonemes, they indicate a certain model of their structure so that we can describe them in terms of the DFs relevant for the obstruents whose integral part they are. According to the interpretation suggested here, the Old English affricates constitute a separate modal series of stop fricative phonemes whose local DF is specified simply as

apical, although phonetically their point of articulation is the same as that of /ǰ(:)/ and /r(:)/ (*postalveolar*). Judging from differences in spelling, these affricates contrasted originally as short and long: /k/⟨c⟩-/k̄:/⟨cc⟩, as in *cild* 'child', *þecen* 'roof', *rice* 'kingdom', *dīc* 'ditch' against *þeccan* 'cover', and /ĵ/⟨g⟩-/ĵ̄:/⟨cg gg cgg⟩, as in *sengan* 'sing', *þing* 'thing' against *secgan*, *secggan* 'say', *secg*, *segg* 'sedge'. However, length contrast in affricates may have been lost towards the end of Old English, that is, earlier than in the other consonants. To begin with, length distinctions may be more difficult to retain in affricates because of their complex phonetic nature. Besides, the short /ĵ/ was found only after /n/. Thus because of distributional restrictions, the contrast /ĵ/-/ĵ̄:/ was functionally insignificant. This had inevitably to affect the stability of the phonological contrast not only of the voiced /ĵ/-/ĵ̄:/, but of the voiceless /k/⟨c⟩-/k̄:/ as well. It is significant that ⟨cg⟩ is sometimes found for ⟨g⟩, especially in Northumbrian and late texts¹⁵.

The short and long fricative phonemes of the dorsal series are transcribed as /h/, /h:/, in accordance with the most regular spellings ⟨h⟩, ⟨hh⟩ for these phonemes. The short /h/ is reconstructed as a phoneme with a wide range of allophonic variation.

When reconstructing the late Old English consonant system one has to make allowance for the presence of highly language-specific voiceless sonorants, transcribed phonemically as /L/, /R/, /N/, /W/ (/Ĥ/). In Campbell's¹⁶ interpretation, the voiceless sonorants are represented in Old English writings by the word initial spellings ⟨hl hr hn hw⟩, as in *hlāf* 'loaf', *hrēosan* 'fall', *hnutu* 'nut', *hwēol* 'wheel'. Thus Campbell assumes that voiceless sonorants were part of the consonant system throughout the Old English period. Karl Brunner defines these initial sonorants as aspirated consonants which became voiceless with the loss of /h/ before /l/, /r/, /n/ in late Old English and then were replaced by the corresponding voiced consonants, although the reflex of /hw/ persisted as aspirated and voiceless much longer¹⁷. Jacek Fisiak¹⁸ and Jerzy Welna¹⁹ speak here of the simplification of the clusters with /h-/ into monophonemic voiceless consonants. In other words, it is a case of phonemization of phonemic clusters (on the possible sources of new phonemes see Steponavičius²⁰). The voiceless sonorants as the outcome of the phonological merger of the clusters /hl-/ , /hr-/ , /hn-/ , and /hw-/ are quite convincingly attested by the occasional spellings ⟨lh rh nh⟩ for the reflexes of /hl hr hn/, respectively, by the spelling ⟨wh⟩ for the reflex of /hw/, and by the presence of the voiceless /Ĥ/ in Modern English dialects; in addition, it is instructive that in later Old English poetry the original /hl/, /hr/, /hn/ and /hw/ alliterate no longer with one another, but only with themselves²¹.

Finally, some justification is necessary for the phonemic treatment of [ŋ]. Considering its complementary distribution with respect to [n] ([ŋ] was found exclusively before the dorsal consonants /g/ and /k/), this is certainly problematic. Nevertheless, there are arguments for such a treatment as well. First of all, it is the use of the rune *ing* for [ŋ] alongside the

rune *nēd* for [n]; allophones are not normally indicated in spelling. Secondly, since [ŋ] belonged to the dorsal series, one of the three major local series of consonants, it could be reinterpreted as the dorsal sonorant nasal phoneme /ŋ/ even when retaining its complementary distribution (a case of the so-called paradigmatic phonologization). It is also instructive that /ŋ/ retains traces of complementary distribution even in Modern English, in such forms as *single*, *tango*, *drink*.

The early Middle English consonants may be defined and arranged into an overall pattern on the basis of the same DFs as those of the Old English consonants (cf. tables 1–2 and tables 5–6). Thus there are no marked differences between the late Old English and the early Middle English paradigmatic systems of consonants. One of the differences may have been the presence of voiceless sonorants in late Old English and their loss in early Middle English. One may also point out the changes [Ø] > [w] and [Ø'] > [j]; these must be specified as changes in the allophones of /h/ and the syntagmatic replacements /h/ [Ø] > /w/ and /h/ [Ø'] > /j/ in such words as OE *dragan* > eMidE *draien*, *drawen* 'draw' and OE *nigon* > eMidE *niien* 'nine', respectively. Otherwise both Old English and Middle English consonants continue to contrast as *short* vs. *long*.

2.2. Vowels

The Old English overall pattern of vocalic phonemes is reconstructed as a system of: (1) long and short vowels; (2) diphthongs and monophthongs; (3) back and front vowels; (4) rounded and nonrounded vowels; (5) vowels of three different degrees of tongue elevation. Alternatively it might be said that the following vocalic features were distinctive in Old English: (1) *long* vs. *short*; (2) *gliding* vs. *nongliding*; (3) *back* vs. *front*; (4) *rounded* vs. *nonrounded*; (5) *high* vs. *nonhigh*; (6) *low* vs. *nonlow* (see table 3 and table 4). From the point of view of the contrasts of height, the West Mercian vowel system was different from the overall pattern in that there was a four-degree height contrast amongst short vowels. As a result of the second fronting, the mid vowels contrasted here as mid high and mid low, i.e., /e o/ vs. /Û Ö/²². The height contrasts amongst diphthongs need also specification, with respect to both diachronic layers and dialects. Diphthongs of three degrees of tongue height, /io(:) eo(:) ea(:)/, may be reconstructed only in the language of some of the earliest written records (8th–9th cc.), and most certainly in Northumbrian. In Kentish and West Saxon in the 8th–9th centuries, in Mercian a little later, probably in the 9th century, the opposition of the diphthongs /io(:)/ and /eo(:)/ was lost. In the language of early West Saxon writings there were short and long diphthongs spelt <ie>. These diphthongs, /ie(:)/, are the result of the merger of the i-mutated diphthongs /iü(:)/ (< [iu(:)], [eu(:)] and /eü(:)/ (< [æu(:)]), as well as the result of the diphthongization of /e(:)/ after palatal consonants²³. Phonemically they must be specified as *high*,

on a par with the lost /io(:)/, and thus even in the late 9th century the West Saxon diphthongs preserved a three-degree height contrast, i.e., /ie(:) eo(:) ea(:)/. But by the 10th century /ie(:)/ had been monophthongized, and there remained only the diphthongs of two-degree tongue height, just like in Mercian and Kentish. The original three-degree height contrast /io(:)/ vs. /eo(:)/ vs. /ea(:)/ was possibly preserved during the whole Old English period only in Northumbrian (or at least in some of its dialects)²⁴. The contrast *back* vs. *front* was primary, whereas the contrast *rounded* vs. *nonrounded* was secondary. The feature of rounding was distinctive only for front vowels. In addition, the low front /æ(:)/ had never had a rounded correlate. Nevertheless, it naturally groups with the other front nonrounded vowels and may be specified as *nonrounded*. The Old English vowels of the front rounded series may be characterized, moreover, as unstable phonemes. In the Kentish dialect rounding lost its relevance in the late 9th — early 10th centuries. In the majority of the other dialects rounding as a distinctive feature was preserved only in the phoneme /ü(:)/, while /ö(:)/ had merged with /e(:)/ (on front rounded vowels and their unrounding see²⁵).

Finally, a few remarks must be made on the nasal vowels, or, to be more exact, on the reflexes of these vowels in the language of the Old English writings. Nasal vowels can be reconstructed in Proto-Old English. The long /ā:/, /ī:/, /ū:/ originated from the short /a i u/ before the clusters /nh mf nġ ns/ when these vowels and the following nasal sonorants before fricatives phonemized into long nasal vowels. In the period of the oldest written records the Proto-Old English nasal vowels /ā:/, /ī:/, /ū:/ are found already denasalized to /o:/, /i:/, /u:/, respectively, yet the development of the low /ā:/ must have differed greatly from the development of the high /ī:/, /ū:/. In contrast to the short-lived /ī:/ and /ū:/, the low /ā:/ proved to be more stable and led to notable further modifications of the vowel system. One such modification is the replacement of /e:/ (or /æ:/) before nasals: the reflexes of the Proto-Germanic /e:/ before nasals are not /æ:/ (WS) or /e:/ (non-WS), as usual, but /o:/, which suggests the one-time presence of /ā:/ in such forms as *mōna* 'moon'. Moreover, under the paradigmatic pressure of /ā:/, the short nasal /ā/ appeared before nasal consonants, in such forms as *mann* 'man', *nama* 'name', *land* 'land', *sang* 'sang, song'. When the long /ā:/ had been lost and syntagmatically replaced by /o:/, its short counterpart, as a completely isolated phoneme, could not survive for a long time either. The process of denasalization is attested in spelling. In the early writings (mainly from the 9th century) of the Anglian, West Saxon and Kentish dialects, /ā/ is spelt out with ⟨a⟩ and ⟨o⟩ interchangeably. This interchange may be regarded, naturally, as due to the absence of a separate symbol for /ā/. Yet it may reflect the phonemic instability of /ā/ and its confusion now with /Ń/, now with /o/. Beginning with the tenth century, the forms with the original /ā/ are spelt out with ⟨a⟩ in the writings of almost all the dialects. This attests to the loss of the short nasal vowel

and its replacement by / \tilde{N} /. In the ninth century the forms with the original / \tilde{a} / are spelt out only in West Mercian. It may be argued that here / \tilde{a} / changed to / \tilde{O} /, a mid low back vowel which contrasted with the mid low front / \tilde{U} /. A truly well-grounded description of the evolution of nasal vowels may be found in Yakov Krupatkin's articles²⁶.

The transition from Old to Middle English vowel systems may be said to be marked first of all by the loss of the front rounded vowels in the Northern and East Midland dialects, as well as in part of the Southwestern dialect, in the 11th–12th centuries, although in West Midland and the majority of Southwestern the front rounded vowels were retained up till the 15th century. There are also no diphthongs of the Old English type in the early Middle English vowel system, but these were already lost in the 10th–11th centuries, i. e., before, according to our dating, the Middle English period began. Significant differences between Old English and early Middle English vowel systems appeared as a result of changes of the low vowels and the lengthening of vowels in open syllables. The opposition of the short / \tilde{a} -/ \tilde{N} / must have been lost in the 11th–12th centuries. Phonetically the process is described as lowering of / \tilde{a} / to [a] and fronting of / \tilde{N} / to the same value²⁷. In other words, the prevailing type of the phonetic manifestation of the resultant phoneme must have been a front and somewhat lower than / \tilde{a} / vowel, which is therefore phonemically transcribed as /a/. Consequently, the original /e/ and /o/ could also acquire a more open articulation, and thus they may be transcribed phonemically as / \tilde{U} / and / \tilde{O} /. The development of the long / \tilde{a} -/ \tilde{N} :/ was connected above all with the rounding and raising of / \tilde{N} :. It is usually said that / \tilde{N} :/ became rounded and rose to reach the level of / \tilde{O} :/ in the Midlands and the South in the 12th–13th centuries, whereas in the North it was either preserved without change or fronted²⁸. The phonetic prerequisites for the change of the long / \tilde{a} -/ \tilde{N} :/ must have been, however, like those for the short / \tilde{a} -/ \tilde{N} :/²⁹. In the eleventh or twelfth century / \tilde{a} :/ raised to [\tilde{U} :], and thus / \tilde{N} :/ had two possibilities of further development when /a/ (the result of the merger of / \tilde{a} -/ \tilde{N} /) lengthened to /a:/: to be fronted and merge with /a:/, or rise to the position of the mid low vowel / \tilde{O} :. The first type of change took place in the Northern dialects, as may be inferred from the spellings and further development of such forms as *bain* (< OE *bān* 'bone'), *lair* (< OE *lār* 'lore'), *raid* (< OE *rād* 'riding'; cf. ModE *raid*). The second type occurred in the Midland and Southern dialects, interpreting the result of the lengthening of /a/, as well as the vowel of such French loanwords as *cas* (> ModE *case*), *las* (> ModE *lace*), *pas* (> ModE *pace*), whereas the original / \tilde{N} :/ was reinterpreted as the low mid / \tilde{O} :. According to this view, the rounding of / \tilde{N} :/ is a concurrent, purely phonetic, change, which, however, was important in that it contributed to the distinction between / \tilde{U} :/ and / \tilde{O} :/, and between /a:/ and / \tilde{O} :. The Northern / \tilde{O} :/ is the result of the lengthening of /o/. Although the interpretation of /a/ and /a:/ as typically front vowels is well founded³⁰, these phonemes may have had more retracted positional realizations as well, as in the

neighbourhood of the (phonetically) velar /w/ (cf. MidE *straw(e)*, *clawe*, *was*'), or before the (phonetically) velar /l/, /h/[x] (cf. MidE *all*, *callen* 'call', *auhte* 'ought'). Therefore they are specified in terms of DFs simply as *low* (see tables 11–12).

3. Change of type of the paradigmatic sound system in late Middle English

The most radical restructuring of the English sound system occurred within the late Middle English period itself. In consonants, the correlation *long* vs. *short* was lost and the correlation *voiced* vs. *voiceless* was extended in that fricatives began to contrast as voiced and voiceless as well. As a result of these changes, the late Middle English consonant system became rather different from the early Middle English consonant system and less different from the Modern English consonant system, at least in the number of consonant phonemes and their arrangement, although the primary language specific distinctions were still different (*voiced* vs. *voiceless* for late Middle English consonants, and *fortis* vs. *lenis* for Modern English consonants, cf. tables 9–10 and tables 13–14).

In vowels, the correlation *long* vs. *short* was replaced by the correlation *checked* vs. *free*. From the structural and the typological point of view, the latter change is of the greatest consequence. The language specific distinction *checked* vs. *free* in the late Middle English vocalic system is of a primary type as all the vowels are specified as either *checked* or *free*. Naturally, it implies that this pair of distinctive features should be included into the universal inventory of distinctive features. As far as I know, the distinction *checked* vs. *free* was introduced into phonological analysis by Nikolaj Trubetzkoy in his *Grundzüge der Phonologie*, yet he specified these features as prosodic, whereas here they are classified among inherent distinctive features. Checked vowels, the marked members of the opposition *checked* vs. *free*, are sounds with abrupt recede, and free vowels, with slow, or free, recede. Phonetically, checked vowels are what may be called short monophthongs, and the free vowels are manifested as gliding sounds (diphthongs) and long vowels (which show a tendency to gliding, cf. the vocalic segments in such English forms as *more*, *mar*, *fir*); nevertheless, the vowels of the two latter types constitute a single tightly-knit subsystem.

My description of the rise of the correlation *checked* vs. *free* and its prerequisites may be summed up as follows³¹.

First of all, all the previous quantitative changes of vowels and especially lengthening in open syllables had strongly unbalanced the vocalic correlation *long* vs. *short*. Yet the main reason for the replacement of the correlation *long* vs. *short* by the correlation *checked* vs. *free* was the appearance of new vocalic segments as a result of changes of the

dorsals [Ø], [Ø], [w], or in the neighbourhood of the dorsals [x], [x:]³². The process must have begun with the change of [Ø] to [j] in forms in which [Ø] was palatalized after front vowels unless a back vowel directly followed, for example, in *dæg* 'day', *dæg*es gen.sg., *næg(e)* 'nail', *weg* 'way' (but not in *wegas* 'ways', *nigon* 'nine'). This change may be dated back to earliest Old English writings, such as the earliest Mercian glossaries and Kentish charters and glosses. It is evidenced by the spellings (ei æi) instead of the standard (eg æg), as in *dei* (5x) 'day' Charter 1510 (Charter 42 in Sweet 1885), *grei* 'grey' Corpus 967, *meihanda* 'relative' Charter 1200 (Charter 38 in Sweet 1885), *wæi* (pret. of *wegan* 'move') Kentish Glosses 274. It is quite possible to suppose that the final [-j] in tautosyllabic [i(:)j], [e(:)j], [æ(:)j] could be further changed to [-i] even at this early date. Yet such [-i] could be at least in free variation with [-j] which is clearly suggested by the compromise spellings <eig æig>. These spellings are characteristic of late West Saxon and late Northumbrian texts, but they are also noted in the earliest writings, such as the Corpus *seign* 'sign' 2093, *grëig* 'grey' 850³³. Subsequently [Ø'] must have appeared after a front vowel even when a back vowel directly followed, in such forms as *nigon* 'nine'. In early Middle English such [Ø'] changes to [j] as well: *nigon* [niØ'on] > *nii*en [nijÛn]. Towards late Middle English, with the vocalization of [-j] to [-i] and the loss of length distinctions in preceding front vowels, the following monophonemic vocalic segments arise³⁴: /i:/ (< [ij], [i:j], as in MidE *nine* < OE *nigon* 'nine', MidE *stīle* < OE *stīgol* 'stīle'), /ei/ (< [Ûj], [e:j], as in MidE *wei*, *wey* < OE *weg* 'way', MidE *tweye*, *tweyne* < OE *twēgen* 'two'), /Ûi/ (< [aj], [Û:j], as in MidE *dai*, *day* < OE *dæg* 'day', MidE *grei*, *grey*, *gray* < OE *græg* 'gray'). Analogous *i*-gliding segments arose before the palatal voiceless dorsal fricative [x'] by way of the following changes: [ex'] > [eix'], as in MidE *fehten* (< OE *feohtan*) > *feihten* 'fight', [ix'] > [iix'], as in MidE *niht*, *night* (< OE *neaht*, *niht* 'night'). In West Midland and Southern dialects there was also an *i*-gliding segment with the front rounded initial element [ü-]: /üi/ (< [ÿj], as in WM, S *druie*, *druye*, *dru*e, *dru* < OE *drǣge* 'dry'). On the other hand, a set of *u*-gliding monophonemic segments appeared as a result of the vocalization of the postvocalic /w/ (which could also go back to the voiced velar dorsal fricative [Ø])³⁵: /uu/ (< [u(:)w] < [u(:)Ø], as in MidE *foul*, *fowl* < OE *fugol* 'bird', MidE *bouwe*, *bow* < OE *būgan* 'to bow'), /ou/ (< [o:w], as in MidE *growe* < OE *grōwan* 'grow', or from [Ōw], [o:w] < [o(:)Ø], as in MidE *boie*, *bow(e)* < OE *boga* 'bow', MidE *plōwes* < OE *plōgas* 'ploughs'), /Ōu/ (< [Ō:w], as in MidE *blowe*, *blow* < OE *blāwan* 'blow', or from [Ō:w] < [Ō:Ø], as in MidE *owen*, *owe* < OE *āgan* 'possess'), /Ņu/ (< [Ņw], as in MidE *clau*, *clawe*, *claw* < OE *clawu* 'claw', or from [Ņw] < [ŅØ], as in MidE *lawe* < OE *lagu* 'law'), /iu/ (< [i:w], as in MidE *tīwesdai*, *tewesday*, *tuesday* < OE *tīwesdæg* 'Tuesday'), /eu/ (< [e:w] < [ö:w] < [eo:w], as in MidE *neowe*, *newe* < OE *nēowe* 'new'), /Ûu/ (< [Û:w] < [æ:w], as in MidE *lewed*, *leude*, *lewd* < OE *læwede* 'lay', MidE *hewen*, *hew* < OE *hēawan* 'hew'). Analogous segments arose when

an [-u] glide developed between a back vowel and the voiceless velar dorsal fricative [x]: [Ńux] (< [Ńx], as in MidE *tauhte*, *taught* < OE *tahte* 'taught'), [oux] (< [Ōx], [o:x], as in MidE *doughter* < OE *dohtor* 'daughter', MidE *ynogh*, *ynough* < OE *genōh* 'enough'), [Ōux] (< Ō:x) < [Ń:x], as in MidE *doh*, *dough* < OE *dāh* 'dough'). Proceeding from Luick's³⁶ description of Middle English diphthongs, Welna³⁷ dates the rise of Middle English monophonemic diphthongs at c. 1200. In any case, it may be safely inferred that in the 13th century the correlation *long vs. short* was already replaced by the correlation *checked vs. free*. At the time, the subsystem of free vowels consisted of out-gliding diphthongs in [-i] and [-u], and long vowels which can also be presented as gliding monophonemes within the same series and tongue height, i.e., as level gliding sounds, for example, /i:/ = /ii/, /a:/ = /aa/, /ū:/ = /ŪŪ/, etc.³⁸ Level free vowels are opposed to closing free vowels (see tables 11–12). This vocalic system was not well balanced, therefore shortly after it underwent radical modifications. First of all, the contrasts between /ei/ and /Ūi/, /eu/ and /Ūu/, /ou/ and /Ōu/ were lost, and, on the other hand, /oi/ appeared with such French loanwords as *chois* 'choice', *joye* 'joy'. In the course of the 14th century /ou/ before [x] could be narrowed into /uu/, as in *plough* [ploux] > [pluux] (ModE *plough* [plŃu]), /ei/ before [x'] was replaced by /ii/, as in *hēh* > *heih*, *heigh* > *high*, and /eu/ was replaced by /iu/. In the period of the fourteenth through the sixteenth century the level free vowels („long monophthongs“) underwent a series of mutually related changes the outcome of which was their replacement in Standard Modern English by outgliding vowels in [-i] and [-u]. These changes, known as the Great Vowel Shift (hereafter abbreviated GVS), are, however, only a rearrangement, loss or addition of phonemes within the primary correlation *checked vs. free*. The same applies to the changes as a result of the vocalization of /r/, which gave rise to the free gliding vowels in [-Ū]. From the point of view of the primary distinction *checked vs. free* there is in principle no difference between late Middle English and Modern English vowels, and the GVS may be interpreted in a wider and a narrower sense. The GVS in the wider sense begins with the establishment of the correlation *checked vs. free* towards the beginning of late Middle English and continues with the Modern English raisings and diphthongizations of vowels, as well as vowel changes connected with the vocalization of /r/ in Modern English. The GVS in the narrower sense is limited to the latter changes. Naturally, the GVS even in the narrower sense fully deserves the honorific „Great“. Viewed from a teleological point of view, the GVS led to an integration of the free vowels into a more closely knit and therefore more stable system.

¹ *Lass R.* Phonology and morphology / Ed. Norman Blake. 1992. P. 23.

² *Steponavičius A.* On the correlation of phonetic and phonemic distinctions / Ed. M. P. R. Van den Broecke, A. Cohen. 1984. P. 651–653; *Id.* English historical phonology. Moskva, 1987. § 28–34.

- ³ *Lass R.* Op. cit. P. 41.
- ⁴ *Hogg R. M.* Phonology and morphology / Ed. Richard M. Hogg. 1992. P. 89–95; *Id.* A grammar of Old English. Vol. 1. Phonology. Blackwell, 1992. P. 27–43.
- ⁵ *Hogg R. M.* A grammar of Old English. § 2.46.
- ⁶ *Ibid.* § 2.46, 2.78.
- ⁷ *Steponavičius A.* English historical phonology. § 119.
- ⁸ *Pilch H.* Altenglische Grammatik. München, 1970. § 8.1.
- ⁹ *Hogg R. M.* A grammar of Old English. § 2.64.
- ¹⁰ *Krupatkin Y. B.* From Germanic to English and Frisian // *Us Wurk: Meidielingen fan it Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins.* Jiergong 19, 3: 49–71. 1970; *Steponavičius A.* English historical phonology. § 51, 137, 140.
- ¹¹ *Lass R.* Op. cit. P. 41.
- ¹² *Hogg R. M.* Phonology and morphology. P. 93.
- ¹³ *Hogg R. M.* A grammar of Old English. § 2.65.
- ¹⁴ *Ibid.* § 2.79.
- ¹⁵ *Brunner K.* Altenglische Grammatik (nach der angelsächsischen Grammatik von Eduard Sievers neubearbeitet). 2nd ed. Halle (Saale), 1951; § 2.67.
- ¹⁶ *Campbell A.* Old English grammar. Oxford, 1959. § 50.
- ¹⁷ *Brunner K.* Op. cit. § 217. Anm. 2.
- ¹⁸ *Fisiak J.* A short grammar of Middle English. Pb. I: Graphemics, phonemics and morphemics. Warszawa, 1968. § 2.63.
- ¹⁹ *Welna J.* A diachronic grammar of English. Pb. I: Phonology. Warszawa, 1978. § 2.46. 3.149.
- ²⁰ *Steponavičius A.* English historical phonology. § 48–54.
- ²¹ *Brunner K.* Op. cit. § 217. Anm. 2.
- ²² *Steponavičius A.* English historical phonology. § 111, 147–150; *Id.* On the phonetic and phonological interpretation. P. 496.
- ²³ *Steponavičius A.* English historical phonology. § 143, 141.
- ²⁴ *Luick K.* Historische Grammatik der englischen Sprache. Vol. I. P. I. Cambridge, Massachusetts, 1964. § 358; *Bülbring K.* Op. cit. § 111.
- ²⁵ *Steponavičius A.* English historical phonology. § 109, 180; *Hogg R. M.* A grammar of Old English. § 2.16–18, 5.170 ff, 5.194–5.
- ²⁶ See especially: *Krupatkin Y. B.* Op. cit.; see also: *Steponavičius A.* English historical phonology. § 133–134, 149; *Id.* On the phonetic and phonological interpretation of the reflexes of the Old English diphthongs in the *Ayenbite of Inwytt* / Ed. I. Taavitsainen, T. Nevalainen, P. Pahta, M. Rissanen. 2000. P. 496; *Hogg R. M.* A grammar of Old English. § 3.13–14, 3.22–23, 5.3–6.
- ²⁷ *Lass R.* Op. cit. P. 44.
- ²⁸ *Fisiak J.* Op. cit. § 2.31; *Welna J.* Op. cit. § 3.64–65.
- ²⁹ *Lass R.* Op. cit. P. 45.
- ³⁰ *Lass R.* English phonology and phonological theory. Cambridge, 1976. P. 122–123, 129; *Steponavičius A.* Middle (and Old) English prerequisites for the Great Vowel Shift / Ed. J. Fisiak. 1997. P. 564, 565.
- ³¹ For details see: *Ibid.*
- ³² *Kviatkovskij V. A.* Fonologičeskie problemy velikogo sdviga glasnyx v anglijskom jazyke [Phonological problems of the Great Vowel Shift in English] // *Issledovanija po fonologii* [Phonological studies]. M., 1966. P. 385–393; *Ivanova I. P., Čaxoĵan L. P.* Istorija anglijskogo jazyka [A history of the English language]. M., 1976. § 67–68; *Stockwell R. P.* Perseverance in the English vowel shift / Ed. J. Fisiak. 1978. P. 337–348; *Stockwell R. P., Minkova D.* The English vowel shift: problems of coherence and explanation / Ed. D. Kastovsky, G. Bauer. 1988. P. 355–394.
- ³³ *Hogg R. M.* Phonology and morphology. § 48–54.

- ³⁴ *Berndt R.* Einführung in das Studium des Mittelenglischen. Halle (Saale), 1960. S. 50–57; *Fisiak J.* Op. cit. § 2.46; *Welna J.* Op. cit. § 3.92–95.
- ³⁵ *Berndt R.* Op. cit. P. 57–64; *Fisiak J.* Op. cit. § 2.47–49; *Welna J.* Op. cit. § 3.96–3.114.
- ³⁶ *Luick K.* Op. cit. § 257–258, 372–373, 378, 399, 404.
- ³⁷ *Welna J.* Historische Grammatik and Middle English diphthongal system / Ed. D. Kastovsky, G. Bauer. 1988. P. 421–424.
- ³⁸ *Steponavičius A.* Middle (and Old) English prerequisites for the Great Vowel Shift. P. 569.



А. А. Хлевов (Санкт-Петербург)

О ГЕОГРАФИИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА АРХАИЧЕСКОЙ СКАНДИНАВИИ

Попытка изобразить непротиворечивую картину пространства, соответствующего скандинавской мифологии, а также адекватно исследовать космографию этой мифосистемы неизбежно наталкивается на ряд проблем. Отрывочность сведений об отдельных локациях скандинавского мифологического пространства, их внутренней структуре и взаиморасположенности приводит к определенной условности при воссоздании карты этого мира. Крайняя, вполне категоричная и совершенно справедливая, оценка возможностей реконструкции мифологического пространства и времени, как известно, сформулирована М. И. Стеблин-Каменским в его знаменитом «Мифе»: «В эддических мифах пространство существует только как его конкретные куски. Другими словами, оно прерывно. Именно поэтому невозможно составить карту мира эддических мифов»¹. Заведомая беспомощность исследователя, определяемая этой максимой, тем не менее не может остановить все новые и новые попытки упорядочить или графически локализовать части мифологического пространства древних скандинавов.

Причины подобного упорства очевидны. Прежде всего стоит напомнить, что для большинства других мифологий, созданных человеком, даже примерная локализация не представляется возможной. Однако более важен другой факт. Принятие тезиса М. И. Стеблин-Каменского отчасти исключает из мифа как живой и развивающейся системы важнейшую и ключевую фигуру — его творца и носителя, каковым являлся каждый человек, воспринимавший мифологическое предание или размышлявший о нем. В условиях очевидного «сенсорного голодания» человека архаического времени сам процесс осмысления и домысливания мифологических событий составлял, несомненно, один из важнейших потоков в сознании каждого отдельно взятого члена общества. Несомненно, что при этом

каждый локус мифа как-то размещался в возникавшей картине. Разумеется, здесь речь идет прежде всего о неких общих и, если угодно, даже архетипичных представлениях, свойственных большинству членов общества. Разумеется, эти представления реконструируются нами с высочайшей долей условности, ибо воссоздание мысленных конструкций на дистанции в одну-две тысячи лет при условии невозможности интервьюирования респондента, с точки зрения психологии, например, вообще является безнадежным занятием.

При этом неопровержимо, что люди всегда как-то пространственно представляют себе то, о чем размышляют, а также и то обстоятельство, что наличествуют достаточно существенные всеобщие закономерности в этой виртуальной картине, без каковых поле мифа распадается, переставая быть актуальным для своих потребителей и творцов. Именно это единство взгляда на миф и мифологический мир и является одним из основных культурообразующих факторов, удерживая культуру от энтропии: наряду с общим «мифологическим либретто» у единокультурных индивидуумов наличествует и определенная «мифологическая сценография», в конечном итоге некий виртуальный образ мифологической действительности — вариативный, но в общих чертах достаточно сходный.

Несомненно, с течением времени трансформировались функции и отдельные стороны деятельности богов, одни из них сменяли других на лидирующих позициях в пантеоне, т. е. менялась и пересматривалась мифологическая история. Однако география мифа была существенно более стабильна — если о стабильности пространства мифа вообще можно говорить. Ведь каждый человек, мысливший мифологическими категориями или обдумывавший поступки небожителей, создавал в своем сознании собственный уникальный мир богов. Устоявшегося образца не было и не могло быть. Только отдельные эпизоды мифа, попадавшие в арсенал декоративно-прикладного искусства, могли быть зримо отражены в пластике или графике и при посредстве этого служить определенным визуальным ориентиром. Сцена же мифологического действия целиком — по сути своей гораздо более обширная, чем реально осознаваемый человеком мир, сколь бы он ни был велик, — никогда, разумеется, не реконструировалась во всей полноте. В силу этого мы можем говорить лишь о среднестатистическом миропонимании, в основных своих чертах сходном у большинства членов общества, о том самом «коллективном бессознательном», от которого допустимо отталкиваться при построении нашей схемы.

То, насколько мы вправе навязывать носителям мифологии реконструированный нами образ «их» мира, — вопрос отдельный и болезненный. Очевидно, ровно настолько, насколько мы вообще вправе заниматься реконструкцией мировоззрения и представлений людей другой эпохи. Без принятия этого обстоятельства как неизбежного допущения мы окажемся в ситуации невозможности исследователь-

ской работы вообще. Поэтому предлагаемые выводы не могут быть рассмотрены как нечто окончательное и исчерпывающее. Для нас наиболее интересным является то, что попытки реконструкции некоторых пространственных представлений могут выводить нас на умозаключения, относящиеся к дифференциации слоев мифотворчества — на возможность сепарирования того, что в мифе может принадлежать эпохе, более ранней, нежели эпоха викингов, возможно, являясь праосновой мифа.

Чрезвычайно интересен также опыт мифологической географии, который предпринят в работах Е. М. Мелетинского (в частности, в знаменитом докладе «Скандинавская мифология как система»)². Впрочем, здесь мы имеем дело скорее с конструкцией, при создании которой автор оперирует абстрактными понятиями — несомненно, чуждыми самим носителям мифологической традиции. Взгляд Мелетинского — это взгляд человека нашего времени на картину мироздания архаического человека. При всей глубине этих изысканий сама сверхзадача не может быть признана нами окончательной — главной и основной является реконструкция мифологического пространства в том виде, в каком оно представлялось современникам, людям, для которых мифологическая традиция была актуальна.

Не пытаясь объять необъятное, мы предлагаем сфокусировать внимание на двух аспектах мифологической географии, связанных как с проблемой перемещения героев, так и с относительным взаиморасположением основных локусов мифологического пространства Севера, и попытаться рассмотреть те следствия, которые могут простекать из подобного анализа.

Кругозор древнего северянина был, несмотря на развитие мореплавания, все же относительно ограничен (речь идет об эпохе, предшествующей походам викингов). Косвенным подтверждением этого является то, что практически нигде в мифах многочисленным путешествующим героям не приходится преодолевать открытые водные пространства, моря. Переправа через реки, долгий путь по горам, лесам и долинам — все это встречается довольно часто, а вот дальние поездки на кораблях, переезды на другие континенты или далекие острова — отсутствуют. На наш взгляд, причиной этого является сравнительно раннее возникновение всех основных мифологических сюжетов, связанных с путешествиями. Они складывались в эпоху, когда основным направлением приложения внутренних сил развивавшегося общества была внутренняя колонизация необжитых пространств центральной и северной части Скандинавского полуострова, не связанная с морскими путешествиями.

Вторым источником подобной путевой тематики в рамках мифологии было, несомненно, Великое переселение народов, когда германские племена и отдельные их представители перемещались по еще более обширным пространствам континентальной Европы. Именно подобные сухопутно-континентальные поездки были типичны для

творцов мифов и песен о путешествиях; именно к этой эпохе, как и к более ранним периодам, следует отнести время их оформления.

Так, в Поездке Скирпира главный герой отправляется в путь в страну великанов, Йотунхейм, «по влажным нагорьям к племени турсов»³. Возвращаясь из своего восточного путешествия, Тор в Песне о Харбарде подходит к некоему проливу, через который ему надлежит переправиться, однако пролив этот не является большим препятствием, а переправа осуществляется достаточно регулярно и постоянно действующим перевозчиком на лодке⁴, т. е. перед нами явно не морское пространство: его можно переплыть⁵, перейти, хотя и промокнув, вброд⁶, а в конце концов Тор выясняет, что, несмотря на отказ Харбарда, сможет к утру обойти протоку посуху⁷. В Песне о Хюмире боги верхом отправляются на восток, за реку⁸. Дальние перелеты в образе птиц⁹ также имеют своей целью пусть и дальние, но отнюдь не заморские страны. Даже Вёлунда (эта песнь, впрочем, уже принадлежит другому кругу — кругу героической поэзии) заключают на острове неподалеку от берега, на вполне типическом *sker* — шхере, каковыми усеяны прибрежные воды Датских проливов. Подобные

примеры можно множить.

Сопоставление количества упоминаний о более или менее дальних путешествиях богов в виде графической схемы — в тех случаях, когда имеется хоть незначительный намек на характер путешествия, было ли оно сухопутным, воздушным или, скажем, смешанным, — дает любопытные результаты. В приведенных схемах учтен упомянутый характер преодолеваемых пространств. При этом сочетания трех различных ландшафтных типов и воздушного океана, в случаях, когда они оговорены, занесены как в один, так и в другой разряд. То есть если персонаж (персонажи) едет по суше, но при этом переправляется через реку (реки), то балл заносится и в первую, и во вторую категорию, и т. д. В таблице указаны абсолютные цифры упоминаний. Разумеется, некоторые из поездок спорны, так как не всегда совершенно точно можно удостовериться в том, как именно ас или турс-йотун отправляется соответственно в Йотунхейм или в Асгард. Однако

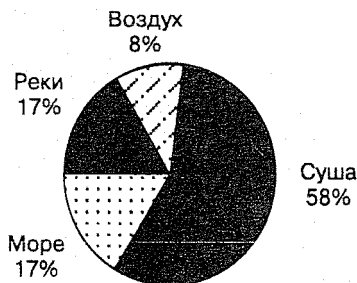


Схема 1. Количество упоминаний о путешествии богов на материале «Старшей Эдды»

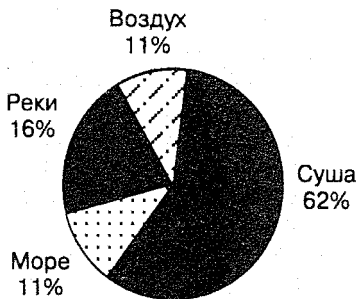


Схема 2. Количество упоминаний о путешествии богов на материале «Младшей Эдды»

таких непроясненных мест явное меньшинство, и на общий результат они существенного влияния не оказывают.

Т а б л и ц а

Путешествия богов

Характер путешествия	Песни о богах	
	«Старшая Эдда»	«Младшая Эдда»
Суша	7	24
Море	2	4
Реки	2	6
Воздух	1	4

Оба упоминания моря в старшеэддических Песнях о богах имеют в виду рыбную ловлю в открытом море, на которую отправляются персонажи (в том числе охота Тора на Мирового Змея), т. е. по сути дела не имеют прямого отношения к путешествиям как таковым. Знаменитая поездка Тора к Утгарда-Локи связана с классическим совмещением ландшафтов — она совершается по суше, но при этом Тор переправляется через море. При учете этого обстоятельства доминирование суши в первом случае становится еще более очевидным.

Вышеупомянутая глубочайшая условность мифологического пространства приводит к тому, что в одно и то же место благополучно можно отправиться разными способами — Бальдр отплывает в Хель на погребальной ладье, а Хермод отправляется туда же вызволять его по суше, форсируя вброд реки. В нескольких случаях упоминаются поездки на мифологических животных (в особенности верхом на восьминогом коне Одина Слейпнире), которые скачут «по суше, водам и воздуху». В этом варианте путешествие не теряет своей «сухопутной» сути, хотя под ногами коня может быть и морская поверхность. В любом случае, это не плавание на корабле. Вообще единственным в собственно мифическом повествовании классическим путешествием команды на корабле является только финальное пришествие темных сил в день Гибели богов, день Рагнарёкк.

Чрезвычайно показательное совпадение масштаба диаграмм. И в том и в другом случае наблюдается явно выраженное доминирование сухопутного способа путешествий, причем даже в сопоставимых, почти идентичных, долях.

Разительным, полным контрастом этому выступают непосредственно соседствующие с Песнями о богах Песни о героях «Старшей Эдды». В них воссоздан типичный антураж эпохи викингов. Несмотря на то что практически все сюжеты являются производными от событий эпохи Великого переселения народов, реалии морских походов настолько прочно доминируют в них, что составление диаграммы практически не представляется возможным. Спорадические перемещения героев посуху чаще всего являются переходом от места десантирования с корабля до места битвы или встречи с другим персонажем.

Естественно, присутствуют и пешие переходы и поездки верхом, но безраздельно доминирующим является стиль морских походов, документирующий создание этих произведений и окончательную шлифовку сюжетов в период Венделя — эпохи викингов.

Точно та же ситуация присутствует в «Эдде» Снорри. Примерно в середине «Языка поэзии» стиль повествования резко меняется. Как только автор переходит от кеннингов и хейти, употребляемых по отношению к асам, к иллюстрациям из нормальной человеческой (читай — дружинной) жизни, происходит резкая перемена декораций. На смену едзящим верхом, ходящим и летающим над горами богам приходят до боли знакомые морские конунги, которые, кажется, почти не способны ходить вообще — без корабля их жизнь практически немислима и самая ближняя поездка приобретает форму морского плавания. Этот резкий контраст неоспоримо свидетельствует о одновременности формирования двух слоев — эпического и мифического — в наследии Севера, а также, вероятно, и о сложении их в разных географических условиях.

Если предположить, что как путешествие Тора к Утгарда-Локи, так и разнообразные сюжеты «Старшей Эдды», связанные с поездками богов и героев, складывались или принимали окончательную форму в эпоху викингов, то остается совершенно непонятным упорное игнорирование в них богатейшей морской практики и корабельного антуража, в изобилии присутствующих в королевских и родовых сагах. Сложение этих сюжетов в Исландии (многие реалии путешествий как будто бы вполне вписываются в исландский пейзаж) столь же маловероятно в силу того, что исландцы в еще большей степени, чем европейские скандинавы, были народом моря, живя на тончайшей полоске суши по краям острова посреди океана.

Симптоматично, что все три корабля, упоминаемые в эддической традиции, — Хрингхорни, принадлежащий Бальдру, в котором этого бога и сжигают, спустив корабль на воду; Скидбладнир, волшебный корабль Фрейра, сворачиваемый как платок, когда он не нужен; наконец, Нагльфари, корабль из ногтей мертвецов, мрачное судно, на котором приплывут погубители мира в день последней битвы, — все они, при своей внешней громадной значимости для мифологического повествования, лежат как бы в маргинальной плоскости. Первый нужен лишь как важнейший элемент погребального обряда Бальдра. Второй, при всех своих неординарных качествах, не используется хозяином, по крайней мере в известных мифах. Фактически он пребывает в состоянии боеготовности, ожидая последней битвы богов. К тому же Скидбладнир — классический парусный корабль эпохи викингов, хотя и принадлежащий «старому», «допоходному» богу, и в этом смысле, несомненно, детище завершающего эволюцию язычества периода. Еще более откровенно эта «одноразовая» сущность проявляется у Нагльфари, которому надлежит стать одним из главных действующих лиц завершающей сцены эпохи асов.

Таким образом, корабельный антураж занимает явно незначительное место в мифологических построениях скандинавов. Несомненно, что именно эта часть мифологической истории является одной из наиболее поздних, всецело принадлежащих эпохе викингов и своеобразному «дружинно-корабельному» самосознанию, свойственному определенным слоям общества в этот период.

Особенно отчетливо это заметно на фоне кельтской (ирландской) традиции, располагающей в своем арсенале богатым набором «путешествий», каковые зачастую совершаются морским путем. При этом переселенцам на Острова приходилось преодолевать лишь Ла-Манш, который трудно назвать серьезной преградой для любой эпохи, а дальних и массовых заморских походов ирландцы не предпринимали (переселение нескольких десятков или сотен монахов-отшельников в Исландию и туманные намеки на открытие пути в Новый Свет не в счет). Рядом с весьма свободно чувствующими себя на морских волнах ирландцами сугубо сухопутные скандинавы, путешествующие пешком порядком, верхом или на упряжных животных, могли бы вызвать недоумение, если бы не принимать во внимание хронологическую разнесенность эпох формирования данных традиций. Архаический же характер оригинальной редакции ядра северной мифологии данную проблему снимает весьма убедительно.

Это ни в коем случае не заслоняет важной роли морских путешествий в германском обществе. Ладья из Хьёртшпринга, относящаяся практически к тому же времени, что и путешествия знаменитого массалиота Пифея, демонстрирует, что его сообщения об активных морских перемещениях северных народов вполне справедливы. Пифей и сам мог в этом убедиться, ибо проделал часть своего пути на судах аборигенов. Однако реалии морских путешествий, тем не менее, практически не оставили следа в мифах. Остается либо признать континентальную локализацию прародины именно того круга мифов, который стал ядром скандинавской системы, либо искать причины в принципиальном пренебрежении к морской атрибутике в угоду сухопутной. Второе предположение не лишено основания, так как основные культовые места в Скандинавии — Еллинге, Уппсала — располагались хотя и недалеко от моря, но отнюдь не на морском берегу. Однако, как представляется, это слишком «кружной» путь.

По-видимому, это один из относительно нечастых случаев, когда мы с определенной долей уверенности можем сепарировать архаический слой мифологических конструкций от более поздних наслоений, достаточно надежно реконструируя фрагменты ментальности эпохи, предшествовавшей походам викингов.

Другой аспект, вызывающий пристальный интерес, — взаимная локализация участков мифологического пространства. Текст «Младшей Эдды» явственно указывает на концентрический характер мироздания скандинавской мифологии: земля «снаружи округлая, а кругом нее лежит глубокий океан»; по берегам океана боги «отвели земли

великанам (йотунам), а весь мир в глубине суши оградили стеною для защиты от великанов. Для этой стены они взяли веки великана Имира и назвали крепость Мидгард»¹⁰. Утгард известен нам прежде всего по знаменитому путешествию Тора — хотя и несущему колоссальную смысловую нагрузку и ряд сюжетов притчево-универсального характера, но выглядящему немного инородным элементом. Появление некоего Утгарда-Локи (вопрос, убедительно не разрешенный пока никем) — не то вполне самостоятельного персонажа, не то отделившегося двойника известного, «нашего» Локи; помещение Утгарда в довольно жесткие рамки ограды с привязкой к востоку¹¹ — все это, несомненно, свидетельствует о географических новшествах, проникавших в миф исподволь и зафиксировавшихся в нем в относительно более позднюю эпоху. Такова же судьба Йотунхейма: песни повествуют о поездках Тора на восток, к великанам, и об истреблении там таковых как о чем-то традиционном — это и в самом деле одна из его важнейших мифологических функций (см. Песнь о Харбарде).

Таким образом, Утгард и Йотунхейм оказываются достаточно тесно связанными между собой — как в силу географического соседства где-то на востоке, так и в силу темной, демонической сущности их обитателей. Рискнем предположить, что изначально топография была такова: Утгард концентрически опоясывал мир людей и совпадал с Йотунхеймом — возможно, они были просто идентичны. Архаический слой мифа, связанный с космогоническими историями и созданием всего сущего, явственно выдвигает на передний край противостояния силам добра и света именно великанов: они составляют особую, предначальную расу, искони враждебную как людям, так и богам. Все остальные персонажи — темные альвы, карлики и т. д. — отступают на второй план и серьезной угрозой не являются. В этом контексте и восточная географическая привязка страны великанов, как и Утгарда, выглядит достаточно поздним элементом, относящимся к тому самому «урезанию» территории враждебных сил, о котором шла речь выше. К тому же эта восточная локализация вовсе не универсальна — Локи в одном случае отправляется «на север, в Страну Великанов»¹², да и другие фрагменты мифов, весьма многочисленные, часто связывают прибежище Йотунов с севером. Упорная фиксация внимания слушателя на севере и востоке, позволившая М. И. Стеблин-Каменскому сформулировать универсальный вывод о том, что «местонахождением злого, страшного и враждебного людям бывает в эдических мифах обычно либо восточная, либо северная окраина» мироздания¹³, на наш взгляд, без сомнения, принадлежит более поздней эпохе детализации мифа. Если хронологически эта детализация и не совпадает с эпохой викингов, то по крайней мере вряд ли может быть относима к очень древним временам.

Симптоматичен в этом смысле конец путешествия Тора к Утгарда-Локи: «Лишь услышал Тор эти речи, схватился он за свой молот и высоко занес его. Но только хотел ударить — исчез Утгарда-Локи.

Идет он тогда назад к городу и замышляет сокрушить его. Но видит одно лишь поле, широкое да красивое, а города и нет. Повернул он и пошел своим путем назад...»¹⁴ Мифологическое наследие, несомненно, чаще содержит в себе примеры мистификаций, своего рода навешенных галлюцинаций, являющихся взору героя некую реальность, нежели примеры обратного — умышленного сокрытия реальности от чьих-либо глаз. Как бы то ни было, закрадывается серьезное подозрение — не был ли весь Утгард в этой редакции именно такой мистической реальностью, разово сотворенной силами зла для создания проблем неутомимому борцу с нечистью Тору? Это кажется более логичной версией, нежели предположение о том, что Утгард просто стал невидимым. Во всяком случае, данный эпизод лишний раз подчеркивает некоторую эфемерность «огражденного» Утгарда и непрочность его топографической привязки.

Таким образом, изначально в скандинавской и, возможно, в общегерманской мифологии существовало представление об Утгарде — внешнем мире, исполненном сил зла и недоброжелательном по отношению к человеку и божествам, и мир этот равномерно окружал Мидгард — «свою» землю, ту, где можно прожить в относительной безопасности. Этот Утгард изначально не был четко дифференцирован по отношению к Йотунхейму, лишь много позже локализованно-му на востоке или севере.

Однако безусловным центром, или, вернее, вершиной, мироздания является Асгард — жилище богов-асов. Его абсолютная и относительная локализация, быть может, и менее темна, чем в случае с Утгардом, но полной ясности нет и здесь. Так, в Асгард можно приехать¹⁵, и отдельные персонажи из мира людей этим пользуются. Однако мало того, что это все же уникальное явление, как в случае с конунгом Гюльви, на «показаниях» которого и строятся практически все наши представления о локализации и топографии Асгарда, — на проверку выясняется, что все, что увидел и услышал Гюльви, — лишь результат видения, насланного предусмотрительными асами во избежание получения путешественником правдивой информации. Примечательно, что то же самое происходит и с другим «лазутчиком», желающим поближе познакомиться с устройством жилища богов, Эгиром, путешествием которого открывается «Язык поэзии»: асы радушно его принимают, но и здесь не обходится без чар. Таким образом, визуальный ряд Асгарда — такой, каким он отпечатывается в нашем сознании, — это лишь то, что боги сочли нужным сообщить о себе человечеству, и именно так воспринимали, видимо, эту информацию современники и «потребители» мифов. То есть мы принуждены иметь дело с двухуровневой реконструкцией. Стоит также отметить, что восточная локализация Асгарда в бассейне Дона¹⁶ никак не связана с традиционной дифференциацией сторон света скандинавской мифологии и имеет совершенно другие истоки легендарного свойства, как и вся *Stora Sviðþjóð*.

Асгард — не только своеобразный центр и лучшее место в мироздании (быть в центре мира — означает быть ближе к богам¹⁷). Одновременно он вознесен над прочими обитаемыми локациями и «общим уровнем» мифологического пространства. На фоне явно одноуровневых мира людей и мира злых сил Асгард находится где-то высоко — возможно, на самом небе, как о том свидетельствуют два эддических фрагмента, посвященные описанию моста Биврёст, ведущего как раз на небеса¹⁸. Любопытно, что при этом весьма многочисленны отсылки к небесному расположению отдельных палат и чертогов, принадлежащих асам.

Вознесенность Асгарда напрямую, собственно, нигде не фиксируется. Асгард окружен природой — по крайней мере Локи выманивает Идунн в лес, который, судя по всему, расположен где-то неподалеку¹⁹. В отличие от людей великаны вполне свободно подходят к Асгарду и даже временами оказываются внутри его ограды²⁰ — едва ли не столь же просто, как и сами асы — в Йотунхейме. Биврёст фигурирует в мифе лишь в качестве несомненного пути, по которому двинется войско противников асов в день конца света, Рагнарёкк, но не как обязательный элемент дороги в Асгард. Либо путешествие по этому мосту, идентифицируемому с радугой, являлось для идущих в Асгард чем-то само собой разумеющимся, либо это был не единственный, а лишь символически нагруженный путь, своего рода ритуальная дорога.

Асгард, безусловно, не являлся для древних скандинавов чем-то запредельным и недостижимым — для того, чтобы попасть туда, обычному человеку необходимо было обладать лишь большим желанием, умом и расположением богов. Для сверхъестественных существ этот путь и подавно не представлял проблемы; они находились с асами в состоянии мира, прерывавшегося военными стычками (или, напротив, вражды, прерывавшейся мирными соглашениями), и в этом смысле уж точно были на одном уровне. Интересно и то, что Асгард, судя по всему, равно граничит с миром людей и Утгардом-Йотунхеймом, по крайней мере боги вполне свободно попадают из одного мира в другой — хотя и преодолев какое-то расстояние, но, однако же, не осуществляя качественного перехода. В отличие от Утгарда и Йотунхейма мы не располагаем определенными указаниями на то, в какой именно стороне света находится Асгард. Это в свою очередь работает на вертикальную схему его локализации, хотя ничего и не доказывает. Вероятно, первоначально Асгард имел традиционно центральное и несколько вознесенное месторасположение в мифологическом мире германцев. Небесная его локализация, вероятно всего, относится к более поздней детализации мифа — наверняка не без влияния негерманских (читай: иудео-христианских) мифологических систем. Вместе с тем изначально Асгард не был отделен непреходимым барьером от остальных «миров», будучи органической частью мироздания, как были ею и сами асы, — ведь

их превосходство основывалось по существу только на определенных сверхъестественных способностях и некотором запасе «благости», которая сводилась к борьбе против великанов и прочей нечисти, т. е. на достаточно прагматических для людей достоинствах. При этом проблема разнородности и взаимопроникновения в древнейшем мифологическом сознании, похоже, разрешалась весьма безболезненно, и то, что нам кажется нелогичным, могло даже не вызывать вопросов: выражаясь в стилистике Эдды — много удивительного сотворили асы...

Учтем, что мир вокруг древних германцев таил в себе множество неизведанных уголков, был далеко не познан ими. На пространствах Европы, в ее лесах, могли располагаться многочисленные «асгарды» и «утгарды», которые могли видеть другие люди и рассказывать о них. В этом смысле искать сторону света, где можно было бы расположить жилище богов, было совершенно излишне. Более того, архаические жители европейского континента, судя по всему, были лишены средиземноморского эгоцентризма. Полагать себя центром вселенной, а собственное капище — «пупом Земли», воспринимать окружающие племена как варваров — все это ни в малой степени не может быть спроецировано нами на тот мир, в котором жили германцы, да и кельты тоже. Поэтому как самоуничижительное размещение своего мира на окраине ойкумены и возведение богов на недостижимый престол, так и оттеснение небожителей куда-то в сторону не нашло отражения в древнескандинавской мифологической космографии. Асы жили отдельно, но все же где-то среди людей, вполне возможно, что за ближайшим лесом, а если с ними не удавалось запросто встретиться, то лишь потому, что им самим этого в данный момент не очень хотелось.

Несмотря на однозначную архетипичность и универсальность верхнего, небесного расположения мира светлых богов, свойственную подавляющему большинству мифологических систем, не стоит считать ее изначально присущей германской мифологии. Равнинный по преимуществу характер ландшафта, отсутствие четко выраженных неровностей рельефа, а также вытекающая отсюда высочайшая популярность (как и среди кельтов, а также и других классических лесных этносов) разного рода сакрализованных рощ и лесов позволяют предполагать, что архаический Асгард, «Асгард изначальный», скорее всего, был вписан в подобный сакральный лес как обжитая и благоустроенная асами поляна.

Впрочем, кельты, разместив богов на Островах Блаженных, все же вытеснили своих небесных руководителей за пределы своего мира. Однако здесь могла сработать следующая логика: кельтский мир выплеснулся в Британию, затем с британского берега оказался распространённым на Ирландию. Возможно, эта череда переселений (пять больших переселений — от Кессар с Финтаном до Туата Де Данан; а ведь были и более мелкие острова вокруг Британских и

между Британией и Ирландией, куда тоже кто-то уходил и переселялся) натолкнула на мысль, что где-то дальше есть и другие, куда как более благословенные, островные земли. В данном случае, впрочем, мы оставляем без внимания и самоочевидный конструктор, предполагающий в качестве прамодели Островов Блаженных классическую традицию *Ultima Thule* в одной из ее многочисленных редакций.

Во внутренней топографии Асгарда также непросто разобраться. Здесь в полной мере проявляется та самая прерывность пространства, составленность его из отдельных миров, которые упоминаются мифологическим повествованием лишь постольку, поскольку возникает нужда в сиюминутной характеристике места действия, и не предполагают никакой систематизации и строгой пространственной привязки. Нам неизвестно точное число чертогов асов, хотя и можно предположить, что каждому из них принадлежало отдельное жилище или, что более верно, пиршественный зал. Довольно вариативны и термины, которые применяются к описанию различных локусов: обиталищ, чертогов асов. Сам Асгард — конечно, укрепленное поселение: элемент — *garðr* мог бы истолковываться и как «двор», если бы не прямое указание на то, что Асгард — крепость: «*Ok er hann kom inn í borgina...*» («И когда он вошел в крепость...») ²¹ сказано в «Младшей Эдде» о прибытии в Асгард конунга Гюльви. Что касается его внутренних подразделений, то для их характеристики употребляются различные термины: *hus* («дом») — например, Вингольв; *salr* («палата», скорее «пиршественный зал»); *höll* (сходно с предыдущим) — Палата Высокого, в которой оказывается вопрошающий Гюльви. Особенно часто применяется термин *staðr* («место, жилище, с явным тяготением к понятию «становище, стойбище, стоянка») — он употребляется при описании Альвхейма (обиталище светлых альвов), Брейдаблика (собственности Бальдра), Химинбьерга (палат Хеймдалля) и большинства «персональных покоев» асов; как составная часть названия жилища зачастую может выступать и традиционной *heimr* в значении «место». При описании Палаты Высокого — *Hava höll* — упомянуто, что в ней много *mörg gölf* — не палат, как традиционно переводят на русский язык, а собственно очагов, которых в жилище действительно могло быть несколько. В данном случае перед нами полная копия того типа домостроения, который является организующим стержнем и связующим звеном эпох для Севера — типа длинного дома с рядным расположением нескольких очагов по продольной осевой линии, дома, являвшегося на протяжении многих столетий местом сакрального пира, как открывавшего канал общения с богами, так и цементирувавшего земной социум путем подтверждения и возобновления горизонтальных и вертикальных связей между людьми.

Человек творил мир своих богов по образу и подобию своего мира, в полном соответствии с известной формулой Вольтера: «Бог создал человека, а человек — Бога». Поэтому Асгард — лишь спроециро-

ванный на мир богов хутор германцев. Можно бесконечно рассуждать о времени формирования этого представления. Переход от достаточно крупных поселений в форме деревень к типу хуторского жития, отмечаемый в период активного движения народов в Европе, сам по себе ни о чем не говорит. Несмотря на родственные связи — весьма, к тому же, многоуровневые и своеобразные — среди асов, однозначно признать их либо родом или племенем, либо все же лишь большой патриархальной семьей невозможно.

Поэтому, говоря о «хуторе богов», мы не вкладываем никакого конкретно-исторического значения в это выражение. Невзирая на обилие топонимов и порой весьма подробные описания самих чертогов, приходится признать, что никакой реальной исторической информации о времени формирования географии Асгарда из мифа почерпнуть не удастся. Косвенным указанием может служить лишь то, что в целом Асгард производит впечатление типично сухопутного поселения. Единственным упоминанием о наличии в его окрестностях моря является сюжет с препровождением в Хель трагически опочившего Бальдра, да еще сам факт наличия кораблей Хрингхорни и Скидбладнира²². Впрочем, и в данном случае неясно, сколь далеко от Асгарда находился этот берег и как долог был путь до него — в мифе такие проблемы решались абсолютно болезненно и непротиворечиво путем простого игнорирования. Однако, как и сами корабли, эти сюжеты выглядят в целом как раз имплантацией эпохи викингов, которая не могла принять без изменений мир богов, в котором отсутствовало море. В общем же Асгард выглядит как неплохо укрепленное типичное архаическое поселение, аналогичное тем, которые возникали в период железного века во всех регионах Европы по меньшей мере с гальштатского времени, поселение, окруженное недружественным миром, что погружает время его оформления как мифологически мыслимой реальности в то самое архаическое время — с полной, увы, безнадежностью отслеживания на этом пути каких-либо абсолютных, хотя бы и приближительных, дат.

Суммируя, мы приходим к выводу, что большинство мифологических сюжетов, как и сама «география» мира богов, складывались не только ранее начала массовых заморских походов викингов, но и до времени активных внешних морских экспансий вообще, т. е. по меньшей мере *до вендельского времени*. Нижнюю границу формирования этой традиции мы указать, естественно, не в силах, однако вполне возможно, что она простирается до весьма архаичных эпох, связанных с совершенно младенческим и примитивным состоянием общества.

Сухопутное по преимуществу пространство эдического мифа вполне совпадает по своим ландшафтным характеристикам с регионом Северной и Центральной Германии, где происходило формирование германского этнического единства. Тема собственно древнегерманской мифологии весьма болезненна, так как мы не вполне отчетливо представляем путь преемственности от общегерманского

к скандинавскому в мифе. Однако кажется совершенно закономерным, что география мифа оформилась и законсервировалась не в Скандинавии и Ютландии, а на континенте, среди собственно континентальных племен германцев. Эпохой, когда это могло происходить, оказывается период не позднее V в., когда племенной быт германцев был разрушен, племена по большей части уже поменяли свое местоположение, а христианство все более активно вступало в свои права среди обитателей вновь созданных королевств. Нижняя датировка также проблематична, однако наиболее отвечающим времени формирования сюжетного и географического наполнения мифов продолжает представляться период Великого переселения народов.

Таким образом, можно с определенной долей уверенности утверждать, что ядро северной мифологии складывалось не позднее V в. н. э. в континентальной Европе, а затем подверглось окончательной шлифовке в период Вендельского времени в Скандинавии и Ютландии, окончательно сформировавшись к началу эпохи викингов.

Возможно, что мифотворчество как таковое стало просто гораздо менее популярным в эпоху массовых заморских походов. На смену ему пришли иные формы реализации собственной творческой потенции — в частности, скальдическое искусство, а позднее — саги. В каком-то смысле социум повзрослел, и миф перестал ощутимо совершенствоваться — «досочиняться». Миф уже тогда стал, как для Снорри в «Младшей Эдде», иллюстрацией и фоном — нисколько не теряя при этом своей религиозной функции как «священной истории». Изменения вносились, однако они не меняли ни основ содержания, ни антуража мифов. Видимо, именно среди таких новшеств находились географическая дифференциация Йотунхейма и Утгарда, их привязка к сторонам света и т. д. К эпохе викингов, вероятно, должны быть отнесены многие сюжеты, связанные с приключениями богов, однако география мифа творилась раньше; мир, в котором действовали мифологические герои, несомненно, древнее VIII столетия. При этом весь процесс оформления древнегерманской, а затем и древнескандинавской мифологии был в целом все же относительно кратковременным. Отчасти этим объясняется высокая внутренняя цельность скандинавской мифологии, ощущаемая не только в «Младшей Эдде» (авторской), но и в фольклорной «Старшей Эдде». Время создания ядра мифологии было исторически весьма кратким — равным условному понятию «историческая эпоха». Отсюда ощущение того, что мифология Севера создана «на одном дыхании». «Калевала», в которой есть реалии как каменного века, так и весьма развитого средневековья, — в этом смысле памятник неизмеримо более рыхлый и аморфный. Эддическая же традиция при панорамном обзоре намного более унитарна и монолитна. Учитывая, что начало творения германо-скандинавских мифов отследить мы не в силах, объяснение этой «краткосрочности» творения можно найти в достаточно раннем завершении процесса, после которого мифоло-

гия подвергалась преимущественно косметическим доработкам. Поскольку историческое развитие подчинено законам прогрессии, т. е. каждый последующий отрезок эволюции проходит существенно быстрее предшествующего, в скандинавской мифологии мы видим пример достаточно консервативной традиции, сохранившей черты глубокой архаики и фактически в ней же и оставшейся, так как гораздо более динамичные эпохи уже не смогли существенно повлиять на сложившееся целое.

-
- ¹ *Стеблин-Каменский М. И.* Миф. Л., 1976. С. 33.
 - ² *Мелетинский Е. М.* Скандинавская мифология как система. М., 1973.
 - ³ Младшая Эдда. М., 1994. С. 10.
 - ⁴ Там же. С. 1–4.
 - ⁵ Там же. С. 47.
 - ⁶ Там же. С. 13.
 - ⁷ Там же. С. 54–58.
 - ⁸ Там же. С. 5–7.
 - ⁹ Песнь о Трюме // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 9.
 - ¹⁰ Младшая Эдда. С. 25–26.
 - ¹¹ Там же. С. 29.
 - ¹² Там же. С. 99.
 - ¹³ *Стеблин-Каменский М. И.* Указ. соч. С. 40.
 - ¹⁴ Младшая Эдда. С. 78.
 - ¹⁵ Там же. С. 17.
 - ¹⁶ Сага об Инглингах II // Круг Земной. М., 1995.
 - ¹⁷ *Элиаде М.* Священное и мирское. М., 1994. С. 61.
 - ¹⁸ Младшая Эдда. С. 29–30, 37.
 - ¹⁹ Там же. С. 99.
 - ²⁰ Там же. С. 100, 114.
 - ²¹ Там же. С. 17.
 - ²² Там же. С. 65, 83.



А. В. Циммерлинг (Москва)

О СПЕЦИФИКЕ СИНТАКСИСА

Автор этой статьи принадлежит к поколению, испытавшему влияние М. И. Стеблин-Каменского в основном заочно — по его трудам в области германского и общего языкознания, поэтике древнескандинавских памятников и замечательным переводам последних на русский язык. По ходу моей деятельности мне неоднократно приходилось возвращаться к проблемам, поднятым М. И. Стеблин-Каменским, и решениям, предложенным в его работах. Размышляя о почти непредставимом разнообразии публикаций Михаила Ивановича — от поэтики исландской саги до основ фонологии, — я понимаю теперь, что он всю жизнь возвращался к волновавшей его теме — доказательности лингвистических и филологических методов. Эта тема наиболее остро звучит в замечательной книге «Спорное в языкознании» (1974). Одна из статей, включенных М. И. Стеблин-Каменским в данный сборник, носит название «О предикативности»; впервые она была опубликована в 1956 г. В этой статье М. И. Стеблин-Каменский подчеркивает тавтологичность понятия «предикативность», используемого в традиционном языкознании в значении «то, что делает предложение предложением», или «то, что делает сказуемое сказуемым»¹. Тем не менее «предикативность», парадоксальным образом, — нужное слово, так как способность быть сказуемым может быть присуща членам предложения и их элементам, которые сами не являются сказуемыми тех элементарных предложений, где они представлены, ср. англ. I see him *come*, We all went home, He *remaining behind*². Вообще, между структурой предложения и логической формой суждения нет прямой связи³. Напротив, между предикативностью и суждением такая связь есть, ибо «наличие сказуемого (т. е. предикативности) в предложении указывает на способность этого предложения выражать суждение»⁴. В данном случае, насколько я понимаю, критика М. И. Стеблин-Каменского построена на том, что, хотя лингвистическая терминология выводима из логико-философской, между языковыми и логическими структурами нет прямой со-

относительности: можно выделить разные уровни репрезентации предикативных объектов, но теория должна учитывать отсутствие изоморфности между этими уровнями.

Наблюдения за ходом лингвистической мысли в конце XX в. убеждают, что комплекс поднятых М. И. Стеблин-Каменским проблем актуален в полной мере, только центр тяжести дискуссии переместился с пары понятий «сказуемое/предикат» на пару «подлежащее/субъект»⁵. При этом многие авторы, отрицавшие универсальность категории подлежащего, пытались вывести ее из предположительно более ясных формально-грамматических, или когнитивных, сущностей, элегантно называемых «привилегированной именной группой», «темой», «психологическим/коммуникативным субъектом» и т. п. Данные попытки заслуживают специального разбора. В настоящей заметке мы хотели бы, следуя металингвистическому подходу М. И. Стеблин-Каменского, предложить свой вариант ответа на более общий вопрос:

— В чем специфика синтаксиса?

или:

— Что именно делает синтаксис синтаксисом?

1. Предмет синтаксиса

В научной литературе вопрос о предмете синтаксиса ставится либо как вопрос о месте синтаксического компонента в том механизме распознавания и порождения, который принято называть грамматикой, либо как вопрос о специфике синтаксических единиц (предложения, словосочетания и т. п.) или синтаксических отношений (например, субъектно-предикатных, субъектно-объектных отношений, отношений управления, согласования и т. п.).

Авторы большинства работ дают определения синтаксиса в рамках некоторой глобальной доктрины (грамматика Хомского, модель «Смысл \Rightarrow Текст», функционализм, когнитивизм и т. п.), предположительно пригодной для описания всех языков мира⁶. Но такие определения непосредственно отвечают лишь на вопрос о задачах синтаксиса в данной доктрине, и их можно отвергнуть вместе с исходными допущениями. К примеру, Н. Хомский в работах разных лет настаивал на том, что роль синтаксиса состоит в построении упорядоченного дерева предложения с бинарным членением из заданного в словаре исходного набора морфологически неохарактеризованных элементов (так называемый базовый компонент синтаксиса)⁷. Этот подход был опробован на материале английского языка и одновременно заявлен в качестве метода построения универсальной грамматики. Многие противники Хомского отметили, что при описании других языков информацию о согласовательных свойствах слов проще ввести в разделе морфологии⁸, а эвристический прием ввода мор-

фологических категорий в процессе порождения «синтаксических деревьев» удобен из-за специфических черт английского языка (малого числа морфологических показателей и жесткого порядка слов, где смежные элементы регулярно оказываются в иерархических отношениях⁹. Если отрицать существование морфологически неохарактеризованных элементов, часть синтаксических (в хомскианском понимании) правил будет ненужной¹⁰. Очевидно, такое решение в свою очередь не удовлетворит тех, кто отвергнет допущение о том, что грамматические правила действуют над словами с полным набором аффиксов и флексий.

Некоторые ученые предлагают отталкиваться от материала конкретного языка и подбирать для него ту теорию, которая проще и объясняет больше фактов. Радикальное проведение подобного подхода сводится к тезису о том, что единого определения синтаксиса нет¹¹ и что его компетенция зависит от типа языка (флексия, агглютинация, корнесоляция, инкорпорация, фиксированный/свободный порядок слов)¹². В работах подобного толка можно встретить эпатирующие тезисы вида «в языке К есть и морфология, и синтаксис», «в языке L нет синтаксиса», «в языке M нет морфологии», так как «информацию, называемую в описании языка К „правилами синтаксиса“, при описании языка L удобно дать в разделе о классах слов»¹³, а при описании языка M, напротив, всю информацию о классах слов вводить правилами синтаксиса¹⁴. Данный путь возводит удобство описания в ранг главного принципа грамматики, что делает перспективы теоретической лингвистики туманными.

Остается третий путь — ограничить круг понятий, необходимых для общей теории синтаксиса и максимально независимых от выбора доктрины; при данном подходе правомерно потребовать, чтобы теория синтаксиса не зависела от решения вопроса об автономности формы языка от значения, ср. дискуссию между генеративистами и структуралистами¹⁵. Главным ориентиром при этом становится сравнение синтаксиса естественных и искусственных языков.

Греческий термин *σύνταξις*, как известно, значит «упорядоченный строй», «составление», «построение». В формальных языках, примерами которых служат языки комбинаторной логики и алгоритмические языки, под «синтаксисом» понимают совокупность правил вывода и теорем о свойствах данной аксиоматической системы¹⁶. В естественных языках «синтаксисом» обычно называют совокупность правил, позволяющих строить правильные с точки зрения носителя данного языка сложные объекты («предложения», «правильно построенные синтаксические структуры»), состоящие из слов или блоков слов («элементарных составляющих», «синтаксических групп») данного языка. Из этого видно, что общим для синтаксиса формального и естественного языков служит понятие *исчисления* (цепочек символов, высказываний, предикатов), опирающееся на оценку *правильно/неправильно*. Оценка *правильно/неправильно* рас-

пространяется на сложные синтаксические объекты, которые могут быть оценены как неправильные, даже если их элементы аномалий не содержат¹⁷.

Данный факт является главным основанием в пользу признания двухуровневой природы синтаксиса. Чтобы процедура порождения/распознавания правильно построенных структур работала эффективно, нужно ввести уровень элементарных составляющих, сохраняющих свою дискретность в составе сложных объектов. Дискретность, т. е. принципиальная вычленимость элементов, — специфическая черта синтаксиса как уровня организации естественного языка, а не свойство формализма; с помощью порождающей грамматики можно порождать не только предложения, но и любые другие структурные объекты, например слоги, морфемы или словоформы. Однако по отношению к системам с элементарными объектами, меньшими чем слово, условие дискретности не соблюдается. Так, русское предложение *Васька вчера понадкусывал котлет на кухне* задает целый ряд иерархических отношений (между подлежащим и сказуемым, между основным глаголом и обстоятельством времени и т. д.) и линейных отношений (предложение начинается с подлежащего *Васька*, предлог *на* непосредственно предшествует существительному *кухня* и т. д.), причем все слова данного предложения остаются его непосредственными составляющими, т. е. показывают нижний предел синтаксической членимости. Нетрудно убедиться, что сложное выражение *понадкусывал*, состоящее из сегментов *по-*, *над-*, *кус-*, *ыва-*, *-л*, не удовлетворяет критерию дискретной вычленимости морфов. Приставка *по-* присоединяется слева не к корню *-кус-* и даже не к соседней приставке *-над-*, а к производящей основе надкусывать [над[кусывать]] → [по[над[кусывать]]], нет и не может быть такого уровня организации словоформы *понадкусывал*, на котором две приставки *по-* и *над-* одновременно присоединяются к основе **кусывать*; равным образом, грамматически правильное выражение *покусывал* (ср. рус. *Васька несильно покусывал своего хозяина*) не может быть признано непосредственной составляющей выражения *понадкусывал*, несмотря на то что все его составные части являются морфемами этого слова¹⁸. Столь же иллюзорна провозглашенная Е. Куриловичем¹⁹ аналогия между предложением и слогом: слог как интегральная сущность несводим к линейной последовательности экспонентов фонем, а фонемы не являются дискретными, однозначными вычленимыми, отрезками звучащей речи.

2. Ранги и единицы синтаксиса

В большинстве работ допускается, что сложные синтаксические объекты, называемые *конструкциями*, имеют нетривиальные свойства, не выводимые из свойств составляющих, но обуслов-

ленные функцией или значением данного класса выражений, отсюда термины *предикатная / атрибутивная конструкция, конструкция пассива, конструкция придаточного, посессивная конструкция, адресатная конструкция* и т. п. В других концепциях необходимость выделения двух уровней, или рангов, в синтаксисе отрицается. Это возможно либо за счет того, что информация об элементах предложения, касающаяся их способности формировать некоторый набор «конструкций» в языке L, закладывается в определение словарных единиц данного языка (сочетаемостьные ограничения, модель управления, перечень занимаемых позиций, стандартная ролевая семантика и т. д.)²⁰, либо за счет того, что все свойства синтаксических структур в языке L выводятся из правил универсальной грамматики²¹. Значимость противопоставления двух- и одноранговых концепций синтаксиса преувеличена. Расхождения между ними касаются не столько статуса синтаксических единиц, сколько соотношения синтаксиса и морфологии. Редукционистские концепции первого типа, объявляющие синтаксические структуры проекцией морфологических или лексических ограничений языка L, предлагают рассматривать правила построения словосочетаний и предложений в разделе морфологии, а редукционистские концепции второго типа, напротив, стремятся свести всю грамматику к синтаксису.

Концепций, где отрицалась бы дискретность элементарных синтаксических единиц, как будто нет. Однако статус минимальных единиц синтаксиса может определяться по-разному. Большинство ученых признают минимальной составляющей предложения словоформу, т. е. устойчивый комплекс морфем, способный формировать осмысленное сообщение в изолированном употреблении и линейно неразложимый на меньшие компоненты, обладающие указанным свойством²². С. Андерсон учитывает в качестве синтаксических элементов клитики, которые он трактует как значащие элементы, переходные между морфемами, т. е. минимальными значащими единицами и словоформами²³. Для решения большинства проблем синтаксического описания представление о континууме значимых единиц излишне. Традиционная точка зрения, признающая минимальной единицей синтаксиса словоформу, а не морфему, заслуживает предпочтения.

Термин «уровень» в литературе, посвященной проблемам синтаксиса, часто резервируется не для соотношения элементарных и сложных единиц, а для обозначения отношения синонимии или близости предложений, имеющих разную внутреннюю форму, например рус. *У него есть дом* и *Он имеет дом*, англ. *John built the house* и *The house is built by John*. Для описания преобразований, связывающих между собой подобные предложения, Н. Хомский ввел понятие *глубинной структуры*²⁴. Обычно глубинная структура понимается как инвариант относительно всего множества синтаксических преобразований предложения (ср., однако, возражения, выдвинутые против

этой точки зрения²⁵). Допущение о наличии языка глубинных структур необязательно; в последних версиях грамматики Хомского его нет.

3. Аспекты синтаксиса

Имеет смысл различать три аспекта синтаксиса по типу отношений между единицами: а) *иерархические отношения*, б) *линейные отношения* и в) *отношения части и целого (полноты/неполноты)*. Некоторые авторы резервируют термин «синтаксические отношения» лишь для иерархических отношений²⁶. Альтернативный подход состоит в том, чтобы признать все механизмы, регулирующие отношения линейного порядка элементов и необходимость их эксплицитного наличия/отсутствия, собственно синтаксическими, если они носят *запретительный* характер²⁷ и блокируют появление структур определенного вида; в этом случае они могут быть названы *синтаксическими ограничениями* (constraints, conditions).

Понятие синтаксического ограничения — краеугольный камень любой теории синтаксиса, понимаемого как процедура исчисления сложных объектов, складывающихся из дискретных элементов. Понятие грамматического как *регулярного* и *обязательного*²⁸, необходимое для адекватного описания грамматических значений и значений морфологических категорий²⁹, для описания синтаксических явлений — слишком слабое средство. При выделении синтаксических категорий³⁰ критерий *грамматическое* = *обязательное* уместен: можно постулировать категорию «синтаксического наклонения», принимающую значения «сообщение», «вопрос», «императив», «восклицание», и доказывать, что она присуща предложению англ. John often kisses Mary в силу того, что любое законченное предложение английского языка является сообщением, или вопросом, или императивом, или восклицанием. Но описать за счет введения новых категорий запрет на вставку обстоятельства often между финитным глаголом kisses и прямым дополнением Mary нельзя. Если взять множество линейных перестановок, сохраняющих смысл «Джон часто целует Мэри», то окажется, что одной аномальной комбинации *John kisses often Mary соответствует более одной грамматичной, ср. John often kisses Mary, John kisses Mary often. Отсюда следует, что критерий обязательности по отношению к форме сложного синтаксического выражения не всегда проходит: наличие запрета на некоторое сочетание элементов не означает, что лишь одно сочетание тех же элементов будет правильным. В свою очередь чисто формальная модель грамматики как системы запретов не годится для морфологии, так как игнорирует проблему грамматического значения. Тем самым морфология и категориальная грамматика, с одной стороны, и теоретический синтаксис, — с другой, опираются на разные критерии грамматической правильности.

Иногда против представления о синтаксисе как системе нормативных запретов выдвигают тот довод, что при перестановке элементов некоторого предложения или их опущении порой возникают грамматичные предложения³¹. Это недоразумение: понятие запрета должно применяться для отсева неправильно построенных структур, а не для доказательства того, что данная цепочка элементов является единственно возможной.

4. Предложение

А. М. Пешковский определял синтаксис как «отдел грамматики, в котором изучаются формы словосочетаний»³². Другие авторы признают теории словосочетания и предложения подразделами синтаксиса. Некоторые представители редуccionизма объявляют основной единицей синтаксиса слово (словоформу), но оговаривают, что такой подход годится не для всех языков³³. Напротив, классики европейского структурализма считали основной единицей синтаксиса элементарное, т. е. независимое, монопредикатное предложение и отмечали особый статус предложения как максимальной единицы языка и минимальной единицы речи, обладающей предикативностью, т. е. соотношенной с внеязыковой действительностью³⁴. Е. Курилович и П. Дидериксен особо настаивали на том, что законченное предложение является *замкнутой структурой* и не может выступать в качестве элемента другой структуры³⁵; при таком подходе им, естественно, пришлось делать оговорку о том, что части *сложноподчиненного* предложения структурной замкнутостью не обладают.

Стремясь обосновать специфику предложения, Э. Бенвенист писал, что в отличие от «фонемы, морфемы и слова (лексемы)», имеющих «дистрибуцию на своем уровне и употребление на высшем», «для предложений не существует ни законов дистрибуции, ни законов употребления»³⁶. Он утверждал также, что предложение «не составляет класса различных единиц», что все типы предложений сводятся к одному — «предложению с предикативностью» и что «разных видов предикации не существует». Эти положения Бенвениста явно неприемлемы. Чтобы объяснить воспроизводство предложений в любом языке, нужно изучать их форму и понять запреты, накладывающиеся на их дистрибуцию; так, в русском языке структурная схема $N_{\text{dat pers}} - V_{\text{link}} - P_{\text{red}}$, ср. рус. *Ему было весело*, предполагает, что позиция $N_{\text{dat pers}}$ занята одушевленным существительным. Чтобы понять значение предложения рус. *Мне было весело*, нужно, кроме того, отвергнуть тезис о том, что разных видов предикации не существует, и выделять разновидности предикации в предложениях вроде рус. *Ему весело, Он веселый, Он веселится*, что задолго до появления обсуждаемой работы Бенвениста (1962 г.) было сделано Л. В. Щербой³⁷.

Данный пример показывает, что помимо конкретных, актуализованных в речи предложений, разбором которых предлагал ограничиться Бенвенист, необходимо изучать абстрактные предложения как грамматические шаблоны, порождаемые по определенным правилам: в отечественной лингвистике это было впервые последовательно сделано в вышедшей под редакцией Н. Шведовой «Грамматике современного русского литературного языка»³⁸.

Итак, синтаксис естественного языка строится как процедура исчисления сложных структурных объектов, складывающихся из дискретных единиц. Минимальной синтаксической единицей является словоформа. Условие дискретности элементарных единиц не всегда соблюдается на других уровнях организации языка. Максимальной единицей синтаксиса служит предложение, изучаемое в двух основных аспектах: как конкретная единица и как член класса единиц. В компетенцию синтаксической теории входит изучение всех аспектов, касающихся линейного развертывания, иерархической организации и отношений типа часть / целое, устанавливающихся внутри предложения, а также изучение всех факторов порождения классов предложений, в том числе анализ соотношения предложений и сверхфразовых единств, предложений и групп меньше предложения, а также анализ регулярных соответствий между структурными схемами классов предложений и сущностями плана содержания. Специфическим для синтаксиса является понятие грамматического запрета. Порождение конкретных предложений и воспроизводство классов предложений обеспечиваются системой запретов. Понятия грамматически правильного как обязательного для синтаксической парадигматики недостаточно. И наоборот, чисто формальная модель грамматики как системы запретов не годится для морфологии, так как игнорирует проблему грамматического значения. Данный факт служит серьезным аргументом против редукционистских концепций грамматики, сводящих порождающее / распознающее устройство либо только к синтаксису, либо только к морфологии.

¹ Стеблин-Каменский М. И. Спорное в языкознании. Л., 1974. С. 39.

² Там же. С. 41.

³ «По-видимому, логическая двучленность, т. е. способность выражать суждения, вообще отнюдь не обязательно подразумевает грамматическую „двусоставность“, т. е. наличие не только сказуемого, но и подлежащего, и наоборот, грамматическая двусоставность, т. е. наличие в предложении не только сказуемого, но и подлежащего, вовсе не обязательно подразумевает, что субъект суждения будет в таком предложении совпадать с подлежащим» (Стеблин-Каменский М. И. Спорное в языкознании. Л., 1974. С. 46).

⁴ Там же. С. 44.

⁵ Keenan E. L. Towards a universal definition of «subject» // Subject and topic / Ed. Ch. Li. New York, 1976. P. 303–333; Козинский И. Ш. О категории «Подлежащее» в русском языке // Институт русского языка АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. М.,

1983. Вып. 156; *Kibrik A. E.* Beyond subject and object: Toward a comprehensive relational typology // *Linguistic Typology*. 1997. P. 279–346.
- ⁶ *Пешиковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. С. 64; *Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса. Публикации ОСиПЛИ. Серия переводов. М., 1972. Вып. 1. С. 19–21, 71–74; *Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. М.; Вена, 1997. Т. 1. С. 207–219. (*Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 38/1*); *Бенвенист Э.* Общая лингвистика / Пер. с фр. М., 1974. С. 138–140; *Anderson S. P.* The Wackernagel revenge // *LANG*. 1993. Вып. 1. P. 68–93.
- ⁷ *Хомский Н.* Синтаксические структуры // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. II. М., 1962. С. 412–527; *Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса.
- ⁸ *Поливанова А. К.* Что такое синтаксис? // Типология и теория языка: от описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. М., 1999. С. 104.
- ⁹ *Nash D.* Topics in Warlpiri Grammar. Outstanding dissertations in linguistics. Cambridge, 1986. P. 154; *Мельчук И. А.* Указ. соч. С. 269–270.
- ¹⁰ *Nash D.* Op. cit. P. 13.
- ¹¹ *Поливанова А. К.* Указ. соч. С. 99.
- ¹² Там же. С. 105; *Hale K.* Warlpiri and the grammar of non-configurational languages // *Natural Language and Linguistic Theory*. 1983. V. 1. P. 5–47; *Anderson S. P.* Op. cit. P. 69, 84, 89, 95.
- ¹³ Подобные утверждения нередко делают ученые, описывающие флективные языки с большим числом словоизменяемых показателей (санскрит, варльпири, русский). Выражается мнение о том, что ряд языков лишен «синтаксических правил» или «синтаксических отношений» (см.: *Kibrik A. E.* Op. cit. P. 287, 299).
- ¹⁴ По данному шаблону выстроена гипотеза К. Хейла о так называемых конфигурационных языках (*Hale K.* Op. cit.). К. Хейл предлагает делить языки на два класса, исходя из того, легко ли построить для них упорядоченное дерево предложения с бинарным членением. Если нет, то язык объявляется лишенным «базового компонента синтаксиса».
- ¹⁵ *Хомский Н.* Синтаксические структуры. С. 449, 518; *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985. С. 237.
- ¹⁶ *Математическая энциклопедия*: В 5 т. М., 1984. С. 1182–1185.
- ¹⁷ Ср. прежде всего аномальные цепочки из реально существующих слов. Н. Хомский приводит примеры, где неправильность возникает из-за нарушения линейного порядка, ср. англ. *sincerity frighten may boy the, англ. *boy the frighten may sincerity (см.: *Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. С. 72). Более отдаленное отношение к данной проблеме имеют конструкции с правильно построенными цепочками из фиктивных словарных единиц, имеющих реально представленные в данном языке грамматические показатели вроде рус. *Глокая куздра штеко будланула бокра* (Л. В. Щерба), англ. *Pirots karulize elatically*, или конструкции с правильно построенными цепочками из реально существующих словарных единиц, лишенных стандартной семантической интерпретации вроде англ. *Colorless green ideas sleep furiously*, букв. «Бесцветные зеленые идеи яростно спят» (Н. Хомский). Статус таких выражений как *правильных/неправильных* интуитивно неочевиден и зависит от соглашений, принимаемых в данной грамматической концепции. Н. Хомский в работе 1957 г. «Синтаксические структуры» пытался с помощью таких конструкций доказать автономность формы от значения (см.: *Хомский Н.* Синтаксические структуры С. 449, 518). Р. О. Якобсон, критикуя Хомского со структуралистских позиций, утверждал, что любое грамматически правильное предложение осмысленно (см.: *Якобсон Р.* Избранные работы. С. 237). По моему мнению, подобные конструкции непосредственно иллюстрируют постулат о примате грамматического значения над лексическим значением, а к обоснованию специфики синтаксиса прямого отношения не имеют.

- ¹⁸ Данный пример наглядно показывает, что при рассмотрении сегментных единиц морфологии (морфов, словоформ) нельзя отвлекаться от их плана содержания (см.: *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967. С. 22–33).
- ¹⁹ *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 35.
- ²⁰ *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 360; *Nash D.* Op. cit. P. 13, 164.
- ²¹ *Chomsky N.* A Minimalist Program for Linguistic Theory // The view from building 20 / Ed. K. Hale, S. L. Keyser. Cambridge, 1993; Любопытно, что внешне теории двух данных типов имеют мало общего. Теории первого типа служат для обоснования специфики языков со свободным порядком слов и богатой морфологией, их авторы подчеркивают, что в таких языках элементом построения предложений служат отдельно взятые морфологически охарактеризованные слова, а группы членов предложения («глагольная группа», «именная группа») неразвиты (см.: *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 363; *Nash D.* Op. cit. P. 13, 164). Число субстанциональных элементов предложения может быть велико, набор классов слов устанавливается для каждого языка отдельно. Теории второго типа развиваются в рамках универсальной грамматики, их авторы постулируют существование строго ограниченного числа субстанциональных элементов («лексических категорий»), которые трактуют как группы — «глагольная группа», «именная группа», «группа прилагательного», «предложная группа» (см.: *Chomsky N., Lasnik H.* Syntax in generativen Grammatik // Syntax: An International Handbook of Contemporary Research. Berlin; N. Y., 1993. P. 513), утверждается, что предложения всегда складываются из предварительно упорядоченных групп.
- ²² Данный критерий является слишком сильным, что побуждает И. А. Мельчука допустить разные степени коммуникативной самостоятельности словоформ и выделять разные степени «автономности», т. е. способности к самостоятельному употреблению. Так, в русском примере *Профессор читает газету* все три словоформы признаются «сильно автономными», поскольку они могут формировать однословные сообщения (ср. *Что делает профессор? — Читает*), а в его французском соответствии фр. *Le professeur lit un journal* такому критерию удовлетворяют лишь обе именные группы, в то время как глагол *lit* «читает» признается «слабо автономным», как «остаток от полного высказывания после вычитания из него всех сильно автономных знаков» (см.: *Мельчук И. А.* Указ. соч. С. 160; *Бенвенист И.* Указ. соч. С. 134). Нетрудно заметить, что критерий «слабой автономности» основан на допущении о том, что все элементы «полных высказываний» принадлежат одному уровню, а такое знание, вопреки И. А. Мельчуку, может быть получено только путем синтаксического анализа, т. е. построения дерева предложения, а не путем перебора «полных высказываний» как синтагматических объектов. *Мельчук И. А.* Указ. соч. С. 158.
- ²³ *Anderson S. P.* Op. cit. P. 76–83.
- ²⁴ *Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса.
- ²⁵ *Падучева Е. В.* О семантике синтаксиса. М., 1974. С. 23; Понятие синонимии предложений, используемое для обоснования понятия глубинной структуры Е. В. Падучевой, само опирается на презумпцию существования уровня, на котором происходит отождествление смыслов предложений, имеющих разный состав и (или) порядок элементов.
- ²⁶ *Kibrik A. E.* Op. cit. P. 287.
- ²⁷ *Ross J. R.* Constraints on variables in Syntax. Ph. D Dissertation, MIT. 1967.
- ²⁸ См. эксплицитное определение критериев обязательности и регулярности в работе: *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967. С. 25.
- ²⁹ Там же; *Якобсон Р.* Указ. соч. С. 233–234.

- ³⁰ Выделение синтаксических категорий имеет давнюю традицию, см. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. С. 59–61.
- ³¹ *Поливанова А. К.* Указ. соч. С. 101.
- ³² *Пешковский А. М.* Указ. соч. С. 62–66.
- ³³ *Мей А.* Указ. соч. С. 360; *Nash D.* Op. cit. P. 13, 164.
- ³⁴ *Бенвенист Э.* Указ. соч. С. 138, 139.
- ³⁵ *Diderichsen P.* Elementær Dansk Grammatik. København, 1946.
- ³⁶ *Бенвенист Э.* Указ. соч. С. 139.
- ³⁷ *Щерба Л. В.* О частях речи в русском языке. М., 1928.
- ³⁸ Грамматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н. Шведова. М., 1970. С. 541–595.



Е. М. Чекалина (Москва)

МЕСТОИМЕНΙΑ В ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ

Частеречный статус и внутренняя конфигурация местоимений составляют одно из наиболее общих мест грамматической теории и вместе с тем один из наименее четко прописанных разделов в грамматиках конкретных языков. Основные постулаты общей теории грамматики, касающиеся местоимений, сводятся к следующему:

1. Местоимения выделяются на основании присущей им функции актуализации и представляют собой «серию „пустых“ знаков, свободных от референтной соотнесенности с „реальностью“, всегда готовых к новому употреблению и становящихся „полными“ знаками, как только говорящий принимает их на себя, вводя в протекающий акт речи... Роль этих знаков заключается в том, что они служат инструментом для процесса, который можно назвать обращением языка в речь»¹.

2. Местоимения — «слова ситуационные, и в этом их главное свойство»². Они «не соотносятся ни с понятием, ни с индивидом»³; лишённые материальной референции и обладающие непостоянной сигнификацией, они «являют собой лишь тени номинативных слов»⁴.

3. В отличие от полнозначных частей речи, которые группируются по способу грамматической категоризации денотата, местоимениям свойственна «грамматическая экстерриториальность»⁵. «Местоимения представляют собой такую единственную в языке и совершенно парадоксальную в грамматическом отношении группу слов, в которой неграмматические части слов (корни)... обозначают отношение самого мыслящего к тому, о чем он мыслит»⁶.

4. Уникальность внутреннего семантического устройства предопределяет «функциональные и формальные аномалии»⁷, которые проявляются в «грамматичности лексических значений»⁸: «будучи грамматическими по содержанию, по своему положению и оформлению в языке они являются лексическими»⁹. «Грамматические особенности местоимений сохраняются, удерживаются благодаря их семантическим особенностям. Именно по своей семантике местоимения

настолько обособлены, что они могут, так сказать, „позволить себе роскошь“ иметь свои специфические грамматические формы и даже категории»¹⁰.

К сказанному выше следует добавить, что в морфологическом аспекте местоимения отличаются от полнозначных частей речи тем, что их словоизменительные парадигмы обслуживают только реляционные, синтаксически выявляемые категории: согласования — у адъективных, и управления — у субстантивных местоимений. В синтаксическом аспекте они также проявляют специфические особенности, наиболее полно охарактеризованные на материале английского языка А. И. Смирницким¹¹:

1. Местоимения даже субстантивного характера никогда не определяются прилагательными.

2. Некоторым местоимениям свойственно фиксированное место в определенной синтаксической конструкции.

3. Они редко употребляются предикативно, проявляя при этом формальные особенности.

4. Адъективные местоимения в отличие от прилагательных не определяются наречиями.

В связи с проходившей в 1954 г. дискуссией о частях речи в языках различных типов М. И. Стеблин-Каменский опубликовал в «Вестнике Ленинградского университета» статью, в которой вопрос о частеречном статусе местоимений был поставлен как проблема, требующая нетрадиционного решения. Это объяснялось тем, что основание, по которому местоимения выделяются в особый разряд, предопределено «функцией их значения в речи», а именно «самоориентацией субъекта речи по отношению к предмету речи»¹². Между тем это основание «сходно с основанием, по которому выделяется группировка знаменательных слов, с одной стороны, и группировка служебных слов, с другой»¹³. Отсюда закономерно следовал вывод о том, что «в сущности возможно было бы разделить слова на три группы: местоименные, знаменательные и служебные»¹⁴.

Аналогичная или близкая трактовка местоимений в разные годы предлагалась и другими исследователями. Так, автор опубликованной в 1940 г. статьи «О местоимении» А. И. Зарецкий отмечал, что «...если существительное (прилагательное и пр.) мы называем частью речи, то местоимение должно называться как-нибудь иначе, например семантической категорией... Части речи различаются по тому, что они обозначают (а также по синтаксическим и морфологическим признакам), а семантические категории — по тому, как они обозначают (называя или указывая)»¹⁵. «Если местоимение дается как „часть речи“, то должно быть оговорено, что эта часть речи переименовывается с остальными»¹⁶. В лекциях по морфологии английского языка А. И. Смирницкий также подчеркивал, что «выделение местоимений нельзя рассматривать только как чисто семантическую рубрику внутри различных частей речи»; «если местоимения и могут быть назва-

ны частью речи, то только в том случае, если этот термин понимается более широко, чем обычно... Кроме того, называя местоимения частью речи, следует помнить о том, что выделение местоимений идет в ином плане, чем выделение других частей речи. ..., в другой плоскости, чем классификация по частям речи» — «не в параллель с другими частями речи, а пересекаясь с ними»¹⁷. В. М. Жирмунский в статье «О природе частей речи и их классификации» также отмечал, что целесообразно отнести местоимения к словам «полуформальным»¹⁸.

На конкретном материале специфика местоимений была показана М. И. Стеблин-Каменским в «Грамматике норвежского языка». Там подчеркивалось, что, «в то время как в разделах грамматики, посвященных другим знаменательным частям речи, рассматриваются в основном общие грамматические свойства данной группировки слов, в разделе грамматики, посвященном местоимениям, рассматриваются в основном грамматические свойства отдельных слов данной группировки»¹⁹. В норвежском языке было выделено девять основных функционально-семантических разрядов местоимений: личные, возвратные, взаимные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, отрицательные и неопределенные. Вместе с тем отмечалось, что местоименными являются по своему характеру и некоторые другие слова, которые, однако, «не образуют четких смысловых группировок и поэтому разными авторами классифицируются по-разному»: *selv* «сам», *hver* «каждый», *all* «весь», *mange* «много», *få* «мало», *begge* «оба», *annen* «другой». Так, С. С. Маслова-Лашанская объединила аналогичные или близкие по семантике и употреблению шведские местоимения в три группировки: определительные *själv*, *var*, *varje*, *all*; количественные *mycket*, *många*, *få*, *flera*, *båda*; порядковые *annan*, *varannan*²⁰.

В шведских грамматиках традиционно выделялись три основных логико-семантических разряда местоимений по характеру соотносительности с коррелятом: определенные, неопределенные и вопросительные. В разряд определенных включалось несколько разнородных тематических групп с достаточно четкой внутренней конфигурацией: личные, притяжательные, возвратные, взаимные, указательные и относительные, в то время как неопределенные местоимения представлялись как недискретная совокупность лексически и морфологически разнородных элементов²¹.

Эта традиция была впервые нарушена авторами «Новошведской грамматики», созданной на кафедре скандинавских языков Лундского университета²². Осознавая семантическую «ущербность» и малочисленность вопросительных местоимений, они отказались от их выделения в самостоятельный разряд, включив в состав неопределенных. Тем самым все местоимения оказались поделенными на два обширных логико-семантических класса: определенные и неопределенные, что сделало их классификацию более симметричной. Количество те-

матических группировок внутри каждого разряда было существенно увеличено не только за счет слов, перенесенных из других разрядов, но и за счет новых членов. Так, к разряду определенных местоимений были отнесены наряду с личными (включая притяжательные), возвратными, указательными и относительными еще пять тематических группировок с нетрадиционными названиями (далее в скобках они приводятся нами по-шведски): дистрибутивные (*distributiva*) — *var sin, en var*; интенсивные (*intensiva*) — *själv, egen*; сравнительные (*komparativa*) — *sådan, dylik, slik, likadan, samma*; селективные (*selektiva*) — *den förre, den senare, den först(sist)nämnde, den ene, den andre, siste, senaste, föregående, följande, övriga*; тотальные (*totala*) — *alla, allihop, allting, hel, samtliga, båda, varje, var och en, envar, varenda, ingen, ingenting, ingetdera*²³. У неопределенных местоимений было выделено четыре тематические группировки: количественные (*kvantitativa*) — *många, flera, några, någonting, få, mycket, lite, ett fåtal, en massa, en del* — как «неопределенная параллель тотальным»; ограничительные (*restriktiva*) — *somliga, andra, vissa, en annan, någon* — как «неопределенная параллель селективным»; вопросительные — *vem, vad, vad för en, vilken, hur många, hurdan* и общие — *vem som helst, vad som helst, vilken som helst, man, vad...än, vem...än, vilken...än*.

Уже из перечисления включенных в различные группировки слов хорошо видно, что их отбор осуществлялся исключительно по семантическим основаниям, без учета морфологии. Таким образом к местоимениям оказались причисленными словосочетания, существительные с количественной семантикой (*ett fåtal, en massa, en del*), отпричастные прилагательные (*följande, föregående*), лексикализованные компаративы (*den förre, den senare*) и суперлативы (*siste, senaste*). Кроме того, различные формы одной и той же лексемы *annan* оказались в противоположных семантических разрядах — среди определенных местоимений это селективное *den andre*, а среди неопределенных — ограничительные *andra* и *en annan*.

Более сложная классификация при увеличении общего числа элементов предложена в опубликованной недавно Академической грамматике шведского языка (далее везде SAG)²⁴, где раздел о местоимениях занимает 240 страниц. В интерпретации авторов SAG еще заметнее приоритет функционально-семантического критерия при полном отказе от учета грамматических факторов. Это приводит к дальнейшему «разбуханию» класса местоимений не только за счет словосочетаний; существительных в нетипичных функциях (*en del, ett par, rätt, fel*); прилагательных с нестандартными парадигмами, морфологической структурой и синтаксической дистрибуцией (*nästa, sista, förra, höger, vänster, norra, södra, östra, västra, bortre, bortersta, hitre, hitersta, övre, översta, undre, understa, nedre, nedersta, inre, innersta, yttre, yttersta, främre, främsta, mittre, mittersta, mellersta, aktre, aktersta*); числительных (*första*), но и артиклей — свободностоящего определенного и неопределенного. Как видно из приводимой ниже класси-

фикации, в SAG представлена достаточно пестрая картина с множеством нетрадиционных названий (они даются в скобках); иногда одна и та же лексема в зависимости от грамматического оформления, оканчивается под различными рубриками:

I. Определенные:

1. Личные, включая притяжательные и *denna* в анафорической функции.
2. Определенный свободностоящий артикль.
3. Указательные: *denna*, *den här*, *den där*.
4. Возвратные *sig*, *sin*.
5. Взаимные *varandra*, *varann*.
6. Относительные *vilken*, *vars*, *vad*.

II. Вопросительные: *vilken*, *vilkendera*, *hurdan*, *vem*, *vad*, *vad för* (en), *vad för någon*(ting).

III. Количественные (kvantitativa):

1. Обозначающие совокупность (totalitetspronomen): *all*, *allting*, *alltihop*, *alltsammans*, *allihop(a)*, *allesamman(s)*, *samtlig*, *båda* / *bägge*, *hel*.
2. Дистрибутивные (distributiva): *varje*, *var*, *varenda*, *vardera*, *var och en*, *var sin*.
3. Обобщающие (generaliserande): *man*, *vilken/vem/vad som helst*.
4. Обозначающие множество (myckenhetspronomen): *många*, *få*, *flera*, *mycket*, *lite(t)*, *föga*.
5. Неопределенный артикль.
6. Общеопределенные (allmänt indefinita): *någon*, *någonting*, *någondera*, *åtskillig*, *somlig*, *en del*, *ett par*, *viss*, *en och annan*.
7. Отрицательные: *ingen*, *ingenting*, *ingendera*.

IV. Соотносительные (relationella):

1. Сравнительные (komparativa): *annan*, *övrig*, *samma*, *densamma*, *sådan*, *likadan*.
2. Ординатные (ordinativa): *nästa*, *första*, *förre*, *sista*.
3. Перспективные (perspektiva): *ena*, *höger*, *vänster*, *norra*, *södra*, *östra*, *västra*, *bortre* и подобные.
4. Фокусирующие (fokuserande): *själv*, *egen*, *enda*.

При этом, однако, оговаривается, что граница между местоимениями последнего разряда и прилагательными является расплывчатой.

Следует сказать, что в SAG содержится чрезвычайно обширный и разнообразный иллюстративный материал, наиболее полно отражающий современное состояние шведского языка с учетом не только особенностей разговорной речи, но и региональных вариантов. Вместе с тем множество тонких наблюдений и уникальных языковых фактов «провоцирует» на поиск иных трактовок и решений по сравнению с предложенными авторами Академической грамматики.

Обоснованным представляется отказ авторов SAG от традиционного принятого в шведской грамматике включения *som* в группу отно-

сительных местоимений. Надежными синтаксическими критериями принадлежности *som* к подчинительным союзам являются факультативное опущение в неформальной речи и невозможность употребления с препозитивным предлогом. Аналогичные критерии в отношении изъяснительного союза *that* в английском языке были выделены О. Есперсеном²⁵.

На материале различных языков неоднократно отмечалось, что личные местоимения наряду с притяжательными и указательными занимают центральное место в структуре данной части речи²⁶. В скандинавских языках важнейшую роль в перестройке системы личных местоимений сыграло слияние грамматического мужского и женского рода существительных и включение в область третьего лица предметного местоимения общего рода *den*²⁷, поддержанное предметным местоимением среднего рода *det* и общим для личных и предметных местоимением третьего лица множественного числа *de*. Важно, однако, что этот существенный для истории шведского языка момент²⁸ не просто стал фактом диахронии, но послужил импульсом для дальнейшего расширения области третьего лица, которое выявляется в динамике синхронии. Дело в том, что *den* и (реже) *det* могут употребляться в современном шведском языке не только как предметные, но и как неопределенно-личные местоимения при указании на лицо безотносительно к семантическому полу. Это возможно в следующих случаях:

1. При анафорической соотнесенности с неопределенным местоимением *någon* в субстантивном употреблении: *Om någon vill börja här, så måste den genomgå en intervju och en rad test; Låt oss anta att någon vill öppna en restaurang här i stan; Då måste den först skaffa ett oräkneligt antal intyg och tillstånd* (SAG 281).

2. При соотнесенности с одушевленными существительными как общего, так и среднего рода в контекстах, для которых обозначение пола невозможно или нерелевантно: *En baby blir ofta gnällig, om den inte fått tillräckligt med mat; När det lilla barnet är hungrigt, börjar det nästan alltid skrika; Det fanns visst ett vittne till händelsen, men man lyckades aldrig spåra upp det efteråt; Om ett biträde vägrar ta övertid, blir det inte gammalt i den här affären* (SAG 281).

3. С пейоративным оттенком при наличии конкретного одушевленного коррелята: *Anders? Nej, den vill jag inte ta i med tång; Har du sett på den?* (SAG 282).

4. В лексикализованных сочетаниях *den och den, den eller den*, когда конкретизация названных ранее лиц нерелевантна для говорящего: *När någon i fyllan och villan började berätta skvaller, att den och den hade ihop det med den och dens fru, blev hon arg och hutade åt honom* (SAG 282).

Показательно, что при неопределенно-личном употреблении *den* образуется особая форма генитива *dens* (в отличие от предметного *dess*) по модели *hans*: *Dens sorg som mist en älskad katt är ofta inte*

mindre djup än dens som mist en nära mänsklig vän (SAG 270); Han såg på intet vis ut att vara förkrossad, tvärtom verkade han både stark och stolt, men tonfallet var dens som blivit förkrossad (SAG 281). Отмечается также, что эта форма иногда встречается в устной речи и при соотнесенности с одушевленным коррелятом общего рода вместо *dess*: Varför har du ställt kokboken här? Vet du inte att dens plats är i köket? (SAG 271). Для предметного местоимения среднего рода, напротив, возможна только форма генитива *dess*: Smickra ett barns fåfånga och du är *dess* idol (SAG 281).

Представляется, однако, что наряду с *den* следует включить в область третьего лица и обобщенно-личное местоимение *man* (объектный падеж *en*, генитив *ens*), которое трактуется в SAG как «неопределенное обобщенное соответствие личным местоимениям» (SAG 393); там же по сути дела названы синтаксические критерии, указывающие на их сходство:

1. Аналогичное употребление в конструкциях с *själv* и *egen*: *man* *själv* (*jag/du/han själv*); *ens* *egna* *barn* (*mina/dina/hans egna barn*).

2. Соотнесенность с возвратными местоимениями *sig* и *sin*: *Tillhör man adeln, kan man bygga sig en slottsvagn* (SAG 394); *På det sättet ville man markera sin särart* (SAG 395).

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что в современном шведском языке в области третьего лица сложилась четырехчленная система:

личные *han, hon, de*
обобщенно-личное *man*

предметные *den, det de*
неопределенно-личные *den, det*

Показательно, что общее для *han, hon, den, det* местоимение множественного числа *de* в неформальной речи способно замещать *man*, если в класс референтов не включаются участники коммуникации: *I England kör dom fortfarande till vänster*; *I Stockholm tror dom väl att vi inte är riktigt kloka* (SAG 286); *I Malmö har de visst byggt ett nytt konstmuseum* (SAG 286).

Расширение сферы третьего лица за счет указательных местоимений выявляется также при субстантивном употреблении формы *denne* в анафорической функции для замещения одушевленных существительных, обозначающих лиц мужского пола. Такое употребление чаще встречается в книжной речи в тех случаях, когда рядом оказываются два различных существительных, причем *denne* замещает то, которое не является грамматическим субъектом: *För att en projektledare skall kunna anställa en doktorand inom ett projekt, måste denne kunna uppvisa specialkunskaper på området*; *Berggren har talat med sin chef, men han lyckades inte få ur denne något bestämt besked* (SAG 309).

В 70–80-е гг. XX в. у местоимений *han, hon, de* появилась тенденция к употреблению субъектных форм вместо объектных перед огра-

ничительными постпозитивными определениями. Вначале это явление было отмечено главным образом в языке прессы для местоимения третьего лица множественного числа²⁹: *Han gör affärer med de som kommer till honom; De är bättre du pratar med de(m) i Växjö; Studenterna i Halmstad vann över de(m) i Växjö* (SAG 299). Для объяснением могло бы послужить то, что именно эта форма употребляется в детерминативной функции перед существительными с ограничительными постпозитивными придаточными: *Vi ska diskutera de åtgärder som föreslås*. Показательно, однако, что направленность этой тенденции противоположна слиянию субъектной и объектной форм в пользу последней (*dom*) в устной речи.

Еще более показательно, что аналогичное употребление субъектных форм вместо объектных наблюдается и у местоимений *han* и *hon*: *Du måste tänka på hon som bor där nere; Du brukar ju fiska med han som bor på översta våningen; Jag måste prata med hon i växeln; Jag såg hon och hennes mamma*³⁰.

Один из авторов SAG профессор Стаффан Хельберг в специальной посвященной данному явлению статье, примеры из которой приведены выше, объясняет такое употребление тем, что распространение ограничительным постпозитивным атрибутом, не свойственное местоимениям, приводит к их уподоблению существительным, не имеющим объектной падежной формы. Думается, однако, что при таком употреблении личные местоимения скорее берут на себя функции указательных; не стоит к тому же забывать, что «обословленное положение третьего лица по сравнению с первыми двумя объясняется тем, что третье лицо оказывается не личным, а указательным местоимением, по крайней мере в своем прошлом, а в некоторых аспектах и в своем современном состоянии»³¹. Стоит в связи с этим упомянуть, что М. И. Стеблин-Каменский отмечал данную особенность личных местоимений в норвежском языке; правда, там это не сопровождалось слиянием субъектной и объектной форм: *Hva er det hun der heter?; Den rejsende tænkte ovillkårlig på henne i regnkåpen*³². В шведском языке сближение с указательными местоимениями является не только функционально, но и парадигматически — в утра-те объектной формы.

Адъективные местоимения в шведском языке многочисленны и семантически дробны. Значительный пласт слов, традиционно относимых к местоименным, уподобляется прилагательным, на что указывает ряд синтаксических критериев:

1. Отсутствие закрепленной синтаксической позиции в ряду других определений; ср.: *båda de här/de här båda böckerna; båda de andra/de andra båda/de båda andra böckerna; min brors båda/båda min brors böcker* (SAG 378); *hela hans familj/deras hela liv* (SAG 381); *en sådan tvådörrars/tvådörrars sådan Volvo* (SAG 444); *en röd sådan/sådan röd klänning; en röd likadan/ likadan röd klänning; en annan röd/röd annan klänning* (SAG 438); *hans många andra/andra många barn* (SAG 399).

2. Употребление с неопределенным артиклем: en viss person (SAG 428); en enda elev (SAG 475); ett helt bostadsområde (SAG 476).

3. Употребление с определенным свободностоящим артиклем: de enda breven (SAG 476); de båda böckerna (SAG 378); den egna åskådningen (SAG 473); den övriga regionen; de övriga medlemmarna (SAG 451); de många tidningarna (SAG 368); de flesta kantarellerna (SAG 400); den mesta nederbörden (SAG 396); de likadana flottarna (SAG 444).

4. Параллельное употребление с прилагательными: en enda lång linje; ett sådant överbeskyddat enda barn (SAG 475); den egna nuvarande småborgerliga familjemiljön (SAG 472); hans många groteska uttalanden (SAG 399).

5. Употребление с интенсивами: ett mycket eget utseende (SAG 471); sin alldeles egna silhuett (SAG 471); en precis sådan stol; en nästan exakt likadan kalk (SAG 442); ganska/så/alltför/väldigt/extra/lika många/få/mycket/lite(t) (SAG 397).

Из рассмотренных выше слов *enda* и *många*, по всей вероятности, целесообразно отнести к неизменяемым прилагательным; отметим, что в разговорной речи *enda* имеет лексикализованную форму суперлатива: *en endaste gång*, *ingen endaste stol*, *min endaste vän* (SAG 474). *Många* регулярно образует супплетивные формы степеней сравнения *fler(a)*, *flest*; кроме того, подобно прилагательным, оно может приобретать экспрессивно-усилительные префиксы *jätte-*, *rekord-*, *ur-* (SAG 401), а также употребляться в функции именного предикатива: *Bilarna var mena och stora* (SAG 232); *Partiets turer har varit många och krokiga/krokiga och många* (SAG 404). Аналогичный частеречный статус, по-видимому, имеет и *få*, образующее, правда, только форму сравнительной степени *fägte*; как и *många*, оно может употребляться в функции именного предикатива наряду с прилагательным: *Bilarna var få och små* (SAG 404). Характерно, что в качестве лексико-семантического варианта *få* фразеологический словарь шведского языка дает значение «редкие, недостаточные» (*tunnsådda*, букв. «редко посеянные»)³³.

По способу оформления именной синтагмы и семантике тождественны прилагательным *egen* и *likadan*; *båda*, *sådan*, *viss*, *övrig*, а также *hel* в значении «целый» также явно тяготеют к прилагательным: *Den stolen är inte hel*; *Ta en halv tesked hel kryddepeppar* (SAG 382).

Mycket, *lite(t)* и (книжное) *fåga*, по-видимому, следует отнести к лексико-грамматическому классу наречий: *Det fuskades mycket och skickligt* (SAG 404). В разговорной речи *mycket* и *lite(t)*, подобно *många*, могут употребляться с экспрессивно-усилительным префиксом: *jättemycket*, *jättelite* (SAG 398). Примечательно, что в заключительном разделе главы о наречиях, где рассматриваются области, пограничные с другими частями речи, авторы SAG указывают на возможность двойкой трактовки этих слов — как местоимений и как наречий.

Однако еще более примечательно, что весь класс наречий подразделяется на две большие группировки — описательные и местоименные,

а семантическая классификация последних почти полностью дублирует семантическую классификацию местоимений (SAG 628–629):

1. Определенные (definita): här, där, hit, dit, nu, då, nyss, strax, dock, just, а также многочисленные производные: likväl, tillika, sålunda, dessförinnan, dessutom, hittills, härifrån, därifrån и др.

2. Вопросительные (interrogativa): var, vart, när, hur, varifrån.

3. Количественные (kvantitativa):

а) обозначающие совокупность (totalitetsadverb): överallt, alltid, jämt, alldeles, allestädes, oupphörligen, oavslåtligen, evinnerligen и др.;

б) обобщающие (generaliserande): var som helst и др.;

в) обозначающие множество (myckenhetsangivande): ofta, ibland, sällan, länge, vanligen, vanligtvis mestadels, stundom, tidvis, stundvis, periodvis, ganska, någorlunda, tämligen и др.; особо отметим, что в эту подгруппу включены mycket, lite(t) и föga;

г) общенепределенные (allmänt indefinita): någonstans, någonstädes, någonsin;

д) отрицательные (negerande): ingenstans, ingenstädes.

4. Соотносительные (relationella):

а) сравнительные (komparativa): så, lika, annorlunda, annanstans, annorstädes;

б) ординатные (ordinativa): igen, åter, återigen;

в) перспективные (perspektiva): ut, in, upp, ner/ned, bort, fram, hem и все производные от них; tillbaka, norrut и аналогичные производные;

г) фокусирующие (fokuserande): bara, redan.

Особую проблему составляет определение частеречного статуса en, которое имеет в шведском языке множество функций:

1. Количественное числительное «один».

2. Неопределенный артикль как показатель единственного числа и грамматического рода.

3. Адвербиальная частица со значением не точно определенного множества: en femti sexti stycken «штук пятьдесят-шестьдесят».

4. Объектный падеж обобщенно-личного местоимения man.

5. Изменяемый по роду и числу заместитель субстантивного члена именной синтагмы: samma en(a), vad för en(a), en sådan en(a), en(a) dum(ma) en(a) (SAG 407).

6. Образованный по модели порядкового числительного коррелят к слову «другой» (den ena... den andra) в значении «один из двух»: min ena snälla syster, mitt ena svenska företag, bussens ena framhjul (SAG 465).

7. Так называемый эмотивный артикль в сильной релативной позиции номинативных словосочетаний, у которых обычно неопределенный артикль невозможен (SAG 410), — en при неисчисляемых существительных: Det är en kvalificerad smörja han har skrivit; Det var en

sur ved du har; De visade en påtaglig respekt för oss — и ena при формах множественного числа: Ni betedde er som ena kvalificerade dumbommar; Hon uppfostrade sina barn till ena riktiga snobbar; Du har alltid ena konstiga kompisar med dig; Han har köpt ena äckliga blommor. Как видно из приведенных здесь примеров, неопределенный артикль выступает здесь с пейоративным местоименным значением «какой-то».

В SAG все перечисленные употребления, кроме первого и последнего, «разведены» по различным разрядам местоимений. Напомним, что неопределенный артикль трактуется как одно из неопределенных местоимений, а коррелятивное *den ena* — как одно из «перспективных» местоимений, значительную часть которых, как было показано выше, следовало бы отнести к прилагательным. Вряд ли правомерной является трактовка *den ena* как «определенной словоизменятельной формы неопределенного артикля числительного *en*» (SAG 465). При всей спорности подобной формулировки знаменательно, однако, то, что числительное «один» и неопределенный артикль, несмотря на утверждение о местоименной принадлежности последнего, оказываются в едином семантическом пространстве.

Местоимения в шведском языке образуют закрытый для новых членов класс с размытыми границами, лишь определенная часть которого «сохраняет яркие признаки своего грамматического своеобразия, своей грамматической изолированности»³⁴. Сюда относятся в первую очередь личные, возвратное *sig* и указательные местоимения. Склоняемые по модели прилагательных местоимения — притяжательные, возвратные *sin*, вопросительные *vilken, hurdan* (редкое в современном языке), неопределенные *någon, somlig, åtskillig*, отрицательное *ingen*, обозначающие совокупность *all* и *samtlig* — устойчиво сохраняют формальные особенности употребления в номинативных синтагмах. У многочисленных грамматически неизменяемых слов и небольшой группы слов с внутренним склонением (*varannan, varendan, densamma, vilken-/var-/någon-/ingendera*) отнесенность к местоимениям поддерживается спецификой морфологической структуры и синтаксической дистрибуции. Таковыми являются, например, вопросительные и относительные местоимения, а также слова с общим вторым компонентом *allting, någonting, ingenting*. Характерной особенностью морфологической структуры производных местоимений, которые составляют значительную часть этого класса слов, наряду с внутренним склонением является образование аналитических слов, например *var som helst*. Тенденция к слитному написанию *vemsomhelst, vadsomhelst, vilkensomhelst* (SAG 389) свидетельствует о том, что словообразование осуществляется здесь по той же модели, что и у местоимений с внутренним склонением.

Вместе с тем значительный пласт слов с местоименной семантикой составляют «лексические местоимения»³⁵, синтаксические особенности которых, как было показано выше, аналогичны прилагатель-

ным и наречиям. Особенно много таких слов среди наречий. В случае с *en* и *appaп*, по-видимому, налицо местоименное употребление числительных; характерно, что при этом происходит своеобразный функционально-семантический сдвиг, проявляющийся в том, что в местоименном употреблении коррелятивными становятся слова, принадлежащие двум различным разрядам числительных, — количественное *en* и порядковое *appaп*. Подтверждением того, что в данном случае имеет место функциональная транспозиция, а не лексико-грамматическая омонимия, являются полисемия и полифункциональность местоименных употреблений *appaп* и в особенности *en*. Таким образом, решая вопрос о частеречном статусе местоимений, следует учитывать состав и структуру знаменательных частей речи.

В предисловии к «Грамматике норвежского языка» М. И. Стеблин-Каменский писал, что «действительность, которую приходится исследовать грамматисту, чрезвычайно сложна и противоречива»; поэтому «систематизировать и описать факты этой действительности исключительно трудно»³⁶. Думается, что предложенное в статье описание шведских местоимений полностью подтверждает справедливость этих слов.

¹ Бенвенист Э. Природа местоимений // Общая лингвистика. М., 1974. С. 288.

² Реформатский А. А. Местоимения // Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. М., 1979. С. 93.

³ Бенвенист Э. Указ. соч. С. 295.

⁴ Реформатский А. А. Указ. соч. С. 88.

⁵ Виноградов В. В. Современный русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1938. Вып. 2. С. 151.

⁶ Пешиковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. С. 156.

⁷ Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. С. 92.

⁸ Пешиковский А. М. Указ. соч. С. 156.

⁹ Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959. С. 181.

¹⁰ Там же. С. 194.

¹¹ Там же. С. 192, 193.

¹² Стеблин-Каменский М. И. К вопросу о частях речи // Стеблин-Каменский М. И. Спорное в языкознании. Л., 1974. С. 30.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. С. 31.

¹⁵ Зарецкий А. И. О местоимении // Русский язык в школе. 1940. № 6. С. 17.

¹⁶ Там же. С. 22.

¹⁷ Смирницкий А. И. Указ. соч. С. 195–197.

¹⁸ Жирмунский В. М. О природе частей речи и их классификации // Общее и германское языкознание. М., 1976. С. 63.

¹⁹ Стеблин-Каменский М. И. Грамматика норвежского языка. Л., 1957. С. 83.

²⁰ Маслова-Лашанская С. С. Шведский язык. Л., 1953. Ч. 1.

²¹ Beckman N. Svensk språklära. Stockholm, 1964; Wessen E. Vårt svenska språk. Stockholm, 1968; Thorell O. Svensk grammatik. Stockholm, 1973; Lindberg E. Beskrivande svensk grammatik. Stockholm, 1980.

²¹ Jörgensen N., Svensson J. Nusvensk grammatik. Malmö, 1986.

²³ Ibid. S. 25–26.

- ²⁴ Svenska Akademiens grammatik / Ulf Teleman, Staffan Hellberg, Erik Andersson. Bd 2. Ord. Stockholm, 2000.
- ²⁵ *Есперсен О.* Указ. соч. С. 94.
- ²⁶ *Вольф Е. М.* Грамматика и семантика местоимений (на материале иберо-романских языков). М., 1974. С. 3; *Майтинская К. Е.* Местоимения в языках разных систем. М., 1969. С. 61–62; *Мецианино И. И.* Члены предложения и части речи. Л., 1978. С. 269–271.
- ²⁷ *Стеблин-Каменский М. И.* История скандинавских языков. М., 1954. С. 212; *Он же.* Грамматика норвежского языка. С. 85.
- ²⁸ *Petersson G.* Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande. Lund, 1994. S. 155.
- ²⁹ *Dunås R.* De som, dem som // Sydsvenska Dagbladet Snällposten. 15.10. 1975; *Molde B.* Ingen av de som? // Språkvård. 1980. N 4; *Ewerth St.* Tidningstexter, om dom igen // Språkvård. 1992. N 3.
- ³⁰ *Hellberg St.* Någon av de som, kanske ändå // Språket lever Festskrift till Margareta Westman. Skrifter utgivna av svenska språknämnden, 80. Falun, 1997. S. 99–101.
- ³¹ *Мецианино И. И.* Указ. соч. С. 273.
- ³² *Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. С. 91.
- ³³ Svensk handordbok: Konstruktioner och fraseologi / Under redaktion av Ture Johannisson och K. G. Ljunggren. Stockholm, 1970. S. 211.
- ³⁴ *Виноградов В. В.* Указ. соч. С. 155.
- ³⁵ Там же. С. 153.
- ³⁶ *Стеблин-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. С. 3.



СОДЕРЖАНИЕ

Б. С. Жаров (Санкт-Петербург) Михаил Иванович Стеблин-Каменский	5
Хельги Харальдссон (Осло) Вечера на Крестовском острове	8
В. П. Берков (Санкт-Петербург) Белое пятно скандинавистики (Фарерские острова)	11
Н. Ю. Гвоздецкая (Иваново) Пролегомены к текстоцентрическому описанию семантики древнеанглийского поэтического слова	28
Е. А. Гуревич (Москва) «Прядь о Торстейне Мороз-по-Коже»: проблемы текста и жанра	43
О. С. Ермакова (Санкт-Петербург) «Сага о Сверрире» и трилогия Коре Холта «Король»: интертекстуальные связи	52
Б. С. Жаров (Санкт-Петербург) Сага о людях из Крестового Ручья	60
Б. С. Жаров (Санкт-Петербург) О двух видах модальности в значении датских модальных глаголов	66
В. В. Иваницкий (Великий Новгород) Терминологическая метафора и лингвистическая терминология	70
Ю. А. Клейнер (Санкт-Петербург) Эволюция поэтического языка как диахронический процесс	80
Е. В. Краснова (Санкт-Петербург) О некоторых проблемах словосложения в современном датском языке	90
Ю. К. Кузьменко (Германия, Берлин) О появлении суффигового отрицания в древних скандинавских языках	98
И. П. Куприянова (Санкт-Петербург) Томас Глан в постмодернистском варианте	118
А. С. Либерман (США, Миннеаполис) Эддическая река Ивинг и западногерманское название плюща ...	125

А. Н. Ливанова (Санкт-Петербург)	
О частеречном статусе терминов пространственной ориентации в норвежском языке	134
И. В. Матыцина (Москва)	
Шведский язык сегодня и завтра (по материалам отчета государственной экспертной комиссии)	150
И. М. Михайлова (Санкт-Петербург)	
О судьбе одной нидерландской баллады	162
А. В. Савицкая (Санкт-Петербург)	
Модная лексика современного шведского языка	176
О. А. Смирницкая (Москва)	
Nomina dicendi в названиях эддических песней	183
Albertas Steponavičius (Lithuania, Vilnius)	
The typology of the Middle English sound system	198
А. А. Хлезов (Санкт-Петербург)	
О географии мифологического пространства архаической Скандинавии	217
А. В. Циммерлинг (Москва)	
О специфике синтаксиса	232
Е. М. Чекалина (Москва)	
Местоимения в шведском языке	243

Научное издание

Philologica Scandinavica

Сборник статей к столетию со дня рождения
Михаила Ивановича Стеблин-Каменского

Ответственный за выпуск *О. С. Капполь*

Редактор *М. А. Калинина*

Корректоры *М. К. Одинокова, О. В. Шульгина*

Верстка *А. В. Ухваловой*

Художественное оформление *С. В. Лебединского*

Лицензия ЛП № 000156 от 27.04.99. Подписано в печать
Формат 60×90^{1/8}. Печ. л. 16,1. Тираж 000 экз. Заказ №

Филологический факультет СПбГУ.
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 11.